

Операция "СВАДЬБА"



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Вступление р. Зеева Мешкова
 2. Предисловие к украинскому изданию
 3. ВСТУПЛЕНИЕ
 4. глава первая: ПРЕДЫСТОРИЯ "СВАДЬБЫ"
 5. глава вторая: СЛЕДСТВИЕ И СУД
 6. глава третья: ЛАГЕРЯ
 7. глава четвертая: ЭТАПОМ В СТУДЕННЫЙ ЕГИПЕТ
 8. глава пятая: ПЕРЕД ИСХОДОМ
 9. Биография
 10. ПРИМЕЧАНИЯ
-

Вступление р. Зеева Мешкова

Мидраша Ционит - учебный центр, созданный Еврейским агентством в Киеве. Его задача - возобновить разговор о Земле Израиля, об ее святости, об обязанности любого еврея жить на ней, о наших национальных ценностях и традиции, которые не только не устаревают, но обретают еще большее значение в период возвращения народа в Сион.

Не случайно - в качестве первого издания - была выбрана книга рава Йосефа Менделевича "Операция "Свадьба". Мы надеемся, что она поможет возродить среди русскоязычного еврейства стран изгнания любовь к Земле Израиля, дать возможность правильно увидеть происходящее сегодня и понять, в каком направлении нам следует двигаться, чтобы выйти из тупика и обеспечить будущее страны.

В деле воспитания нет ничего лучше, как привести пример, найти личность, достойную подражания. Сегодня, тридцать с лишним лет после "Самолетного дела", можно смело сказать об авторе предлагаемой книги - "праведник от начала и до конца". В то время, когда железный занавес, отделивший евреев Советского Союза от всего мира и отсекавший им путь возвращения на Родину, казался непробиваемым, Йосеф Менделевич вместе со своими товарищами пошел на крайний риск - попытку угона самолета - чтобы добраться до Израиля. И в этом действии, совершенном не от отчаяния, а сознательно, проявилась беззаветная любовь к Земле Израиля и к своему народу, погибавшему в то время под прессом советской государственной машины и коммунистической идеологии.

Этот поступок всколыхнул весь мир. Он не только пробудил еврейскую общественность и поднял ее на борьбу, но и изменил взгляд многих евреев (независимо от места их проживания) на самих себя: если страна, заставившая трепетать и заискивать перед ней весь мир, не смогла при всем своем желании оторвать евреев от еврейства и вытравить жажду Исхода из горячих сердец, то - вне всякого сомнения - мы вечный народ со своими непреходящими ценностями, которыми нельзя пренебрегать. Об этом вспомнили все. Многим, кто живет за пределами Земли Израиля, стало неловко из-за того, что они, имея все возможности жить на родине, пребывают в добровольном изгнании. Всем стало ясно, что Израиль - наша страна и ее земля принадлежит нам по праву и что беззаветная любовь смельчаков доказывает это лучше любых теоретических аргументов.

Йосеф Менделевич стал не только героем, но и учителем поколения. Попав в заключение, он продолжал борьбу: соблюдение традиции, законов субботы и праздников, изучение иврита и еврейской истории - стало его оружием на протяжении одиннадцати лет пребывания в лагерях и тюрьмах. Это была борьба не только против тех, кто отрезал нас от Родины и хотел уничтожить духовно, но и борьба за тех евреев, которые все еще не видели большой ценности ни в нашем учении, ни в нашей традиции.

В 1981 году Йосеф, прямо из заключения, прибыл в Израиль. Но на этом его борьба не закончилась - "праведникам нет покоя в этом мире". Борьба за евреев, оставшихся по ту сторону железного занавеса, стала делом его жизни. Письма, встречи, поездки за границу, демонстрации протеста, аресты наполнили его биографию "на свободе". Активное участие в политической жизни Израиля, встречи с главами правительства и переписка со многими общественными деятелями, участие в демонстрациях, борьба за сохранение целостности Израиля - это также вехи биографии Йосефа Менделевича, вырвавшегося из советского лагеря.

Борясь за Землю Израиля, за достоинство еврейского народа и за наши национальные ценности, Йосеф не оставляет изучения Торы. Он учился в йешивах Мерказ а-Рав, Махон Меир и Ари Фишер. Несколько лет назад он выдержал экзамен и получил раввинское звание.

"Праведник от начала до конца" - лишь немногие могут удостоиться такой характеристики. И один из них - Йосеф Менделевич.

Операция "СВАДЬБА"

ПРЕДИСЛОВИЕ К "УКРАИНСКОМУ ИЗДАНИЮ"

Книгу "Операция "Свадьба" я написал через месяц после того, как меня лишили советского гражданства.

Таким образом, мои записки можно было бы считать одной из книг, принадлежащих к серии воспоминаний бывших советских зэков. Это довольно обширная литература с рядом великолепных произведений, с которыми мне, конечно, не по силам тягаться.

Да я и не собирался.

Уже находясь в лагере, я обратил внимание, что есть зэки, тянущие срок - вот бы дотянуть, а там... Но есть и другая категория - живущие в полную силу и в тюрьме. Разве можно жить в неволе полной жизнью? - Можно, если это жизнь духовная. Тогда она и на обычное лагерное существование накладывает свою одухотворенность. Жизнь получается наполненная, интересная, в ней отсутствуют рутина и однообразие. Все зависит от человека.

Я в лагере Жил.

Поэтому-то и книга не о советской лагерной системе, ее тупости и подлости, а о жизни. О поиске и становлении молодого еврейского парня. Размышление о том, как воздушный пират набирает воздух другого качества - духовность. На этом необычном срезе пират-раввин раскрываются новые и неожиданные качества души. Новые открытия, откровения. Тайны и чудеса.

Мог ли эту книгу написать нееврей? Может быть. Ведь духовное движение: поиск себя, смысла жизни - присущи каждому человеку и никогда не угасают.. И все-таки, говоря об этом поиске, невозможно абстрагироваться от тех необычных обстоятельств, которые привели автора (то есть меня) к приобщению к тайне.

Эти обстоятельства не внешние, они связаны с сущностной стороной души человека. Может быть, мне было легче, чем другим, ибо вектор движения был задан и известен - к стране Израиля, народу Израиля, к Б-гу Израиля. (Хотя идти по намеченному маршруту тоже непросто, тем более, если этот путь проходит по сильно пересеченной местности ГУЛАГа и человеческих слабостей.)

Я дошел, но я по-прежнему в пути. Жаль, что не удалось опубликовать вторую и третью часть книги, чтобы проследить этот путь до сего дня. Но, наверное, дух риска, поиска и готовности к неожиданным поворотам, присутствующий в первой части, способен передать эту динамику и вам, евреям, все еще остающимся в чужой

стране.

Я верю, что однажды встречу вас в Иерусалиме и Вы покажете мне эту книжку, как путеводитель, с помощью которого вы шли и пришли. И будет в вашем рюкзаке еще много важных и интересных книг. И среди них - главная - Книга Жизни.

Выражаю благодарность Мидраше Ционит, действующей в Киеве, за инициативу переиздания "Операции "Свадьба".

Йосеф Менделевич
Канун 17 Тамуза,
поста по разрушению Храма,
который будет воздвигнут вновь.
Святой Иерусалим

Операция "СВАДЬБА"

ВСТУПЛЕНИЕ

Вчера при жеребьевке мне, как всегда, не повезло - вытащил полспички. Это означало ночь без спального мешка, на холодной земле. Хорошо, Зеэв дал мне шинель, и я уснул. Спал спокойно, глубоко, без сновидений. Засыпая, даже не подумал о том, что, вероятно, заканчивался мой последний день на свободе, а может, и последний день в жизни.

Едва светало... Я проснулся первым, а потом встали все остальные и принялись за дела. Зеэв ушел на станцию - встречать Эдика и Марка с семьей. Израиль, Толя и я занялись рюкзаками, в каждом из которых была дубинка, а в моем еще и кляпы, веревки, топорик и охотничий нож.

Двинулись к аэропорту. Стояло прекрасное утро. Прекрасное, но холодное. Чужое утро на чужой земле. Моя земля, заповеданная Б-гом Аврааму и его потомкам, была от меня за тысячи километров. Я всегда помнил о ней. И теперь был полон решимости либо поселиться на своей земле, либо погибнуть.

На аэродроме - несколько дощатых бараков и вдали от них - маленькие самолеты.

Хотели перекусить в столовой, но передумали - не до еды. Осмотрели друг друга. Ребята сказали, что в очках, берете и польском плаще я подозрительно похож на иностранца. Не стоит выделяться. И я снял плащ, а берет оставил - голова у еврея всегда должна оставаться покрытой.

Однако наши предосторожности были наивны. Похоже, нас выследили. Вчера Юра и Алик с трудом оторвались от "хвоста". Но когда в шесть вечера мы все вышли из электрички на станции "Смольный", Марк заметил двоих, выпрыгнувших за нами из поезда и нырнувших в привокзальные кусты. Что это? Случайность?

Когда мы отрабатывали в лесу детали предстоящей операции, напротив полянки остановилась черная "Волга" - из тех, на каких ездит начальство. Из нее вывалились двое и, поглазев на нас, дружно, словно по команде, помочились. Опять случайность?

Мы словно превратились в персонажей детективного фильма. Забавно. Яснее ясного - мы на крючке. Нам не удастся вырваться. Разумнее было бы отложить операцию.

Почему мы не сделали этого? Сложный вопрос... Нас вела мечта, и было жалко от нее отказаться. Да и выбора не было. Остаться в этой стране мы уже не могли. Сила, овладевшая нами, превышала доводы разума. И все же, редко мне выпадали

такие счастливые дни: я верил, что наконец-то живу в согласии с волей Б-га, был счастлив и готов на все.

Ну, вот и все мы в сборе. Значит, идем до конца. Мы расположились в разных концах аэровокзала. Не подаем виду, что знакомы. Я сижу вместе с Израилем и рассказываю ему о своем десятимесячном племяннике Яшке. К нам подсел какой-то "летчик". Не скрываясь, прислушивается. Ладно. Я громче говорю о Яшке. Человек в форме летчика ухмыляется - не проведешь, мол.

Между тем, у выхода на летное поле столпился народ. Один за другим подходят автобусы. Вот уж не думал, что столько пассажиров может лететь с такого крошечного аэродрома!

Объявили посадку на наш самолет. Восемь тридцать пять утра. Пятнадцатое июня семидесятого года.

Впереди по посадочному полю движется цепочка парней с рюкзаками. Я замыкающий и могу смотреть на всех как бы со стороны. В самом деле, подозрительно: мы точно десантники. Да, когда-то, во время Шестидневной войны, я завидовал бойцам "Голани". Вот наконец и мой черед.

Но что это? Ребята тревожно оглядываются. Почему нет Марка? Где он? Минут десять назад я видел его с семьей около здания аэропорта. Что делать? Нельзя медлить. Замешательство нас погубит. Раздумывать некогда. Бросаюсь назад.

- Нет выхода, - говорит человек, стоящий у дверей.

- Понимаете, товарищ опаздывает. Я его должен разыскать, - возражаю спокойно и вежливо.

- Вам в Бокситогорск? - спрашивает он в недоумении. Но я не отвечаю. Наш маршрут ведь на Приозерск. Бегу туда, где видел Марка. Вот и он со своей семьей. Едят бутерброды.

- Марк! Посадка! Мы опаздываем! Он смотрит на часы:

- По расписанию до посадки еще десять минут. Странно, почему они начали раньше?

Кричу, чтобы он поторопился, и убегаю назад. У входа на летное поле толпа, свалка, крики. Я проталкиваюсь сквозь толпу - "Марк догонит!"

...Мне подставляют ногу. Хватают за руки. Валят на землю. Мгновенно проносится мысль: "Я арестован". Но ни страха, ни слов молитвы - ничего. Как будто я все знал заранее и был готов к этому. Связывают веревкой руки. Больно. Поднимаюсь на ноги. Мои друзья уже в наручниках. За спиной глухой взрыв. Это взорвали патрон с песком, чтобы ослепить Марка. Вот его ведут. Он связан. Лицо в крови. Неподалеку, бледные как мел, его жена и две девочки. Дочери.

На взлетном поле оперативники в штатском. Выезжают мини-автобусы, стоявшие за самолетом. Они набиты гебистами. Справа от нас отряд пограничников с собаками. Ого, сколько сил брошено против нашей маленькой группы! Неужели боятся? А

может, хотя выслужиться перед начальством? Вот, мол, какая крупная операция!

Нас ведут порознь уже с аэродрома. Оперативники переговариваются друг с другом. Некоторые присланы из Москвы. Оказывается, еще в мае они знали обо всем.

Руки затекли. Сломанные дужки очков режут лицо. Прошу поправить на мне очки. Один из гебистов, усмехнувшись, поправляет.

Нас приводят в какое-то помещение. Через час начинается обыск. Раздевают догола. Ощупывают каждую вещь. Просматривают рюкзаки. Находят две полутораметровые веревки, спички. Вот и все. Рюкзаки свалены в кучу. Приказывают каждому взять свой. Напортачили, а теперь не знают, где чей.

- Моего нет.

- Был тут твой рюкзак!

"Ну нет, не признаюсь", - думаю про себя.

Начинается допрос. Следователь в чине майора предъявляет ордер на арест. Меня обвиняют "в преступном сговоре изменить родине путем бегства за границу с целью осуществления намерения в подготовительной и организационной деятельности, направленной на разбойное завладение самолетом и хищение такового".

Позже, на судебном процессе, я узнал, что эти же статьи обвинения предъявлены Сильве и Израилю Залмансонам, Анатолию Альтману и Арье Хноху.

А пока майор угрожает:

- Не признаетесь сразу - приговор будет суровым!

К допросам я готов. Недавно прочел в самиздате брошюру Есенина-Вольпина "Как вести себя на допросах в КГБ". Кое-что запомнил. И Уголовный кодекс читал. Главное - не обольщаться, готовиться к худшему. Обдумывать, как поступать в самом крайнем случае, и верить, что с тобой Б-г.

Отказываюсь отвечать на вопросы. Отказываюсь подписывать протоколы.

Недовольный следователь вызывает конвой, и меня уводят.

Тюрьма при Большом доме - цитадели КГБ - в центре Ленинграда. Тюрьма старая. Ей сто лет. Когда-то здесь сидели революционеры, покушавшиеся на жизнь царя. В 1896 году - Ленин. Его бывшая камера - место священное: туда никого не сажают. В остальных камерах, где во время оно содержались коммунисты, теперь сидят их противники. Советская власть взяла у царской все: идею империи, систему насилия, отношение к своему народу.

У полковника Круглова, начальника тюрьмы, сегодня праздник - много новых арестантов. Он оживлен, шутит, угощает сигаретами.

Опять обыск. Вспомнились некоторые детали из книги Солженицына "В круге первом", которую я за несколько дней до ареста прочел: унижительная процедура обыска - и молодой преуспевающий дипломат превращается в бесправного зэка. Он

готовился к интеллектуальному столкновению со следователем, а его ломает обыденный ужас тюремной приемки: отбирают ремень и шнурки от ботинок, срезают пуговицы, снимают обручальное кольцо...

Все точно так же, как описывается в книге, хотя и происходило лет двадцать пять назад. Отобрали ремень, шнурки, часы. Кольца нет - не женат. "Раздеться! Присесть! Подняться!" Нелепая гимнастика обыска. Находки ничтожны: золота, оружия и антисоветской литературы в складках моего тела не обнаружено. Из кармана извлекают 5 рублей 60 копеек - сдача с тридцатки, одолженной у Сильвы на билет. Полковник удивлен: "Так мало денег?" (Он, очевидно, ожидал, что у жидов карманы набиты золотом.)

Обыск закончен. По тюремному коридору меня ведут в камеру. Железную дверь, закрывшуюся за мной, запирают на замок. Я остаюсь один. Осматриваюсь. В длину - три метра, в ширину - два. Черный асфальтовый пол. Сводчатые стены, как в монастырской келье. До потолка можно достать рукой. У стены железный унитаз и умывальник. "Ну что же, не так-то и плохо!"

Ложусь на мешок, набитый соломой, лицом вниз. Молю Б-га, чтобы послал мне силы выдержать, а отцу - пережить несчастье.

Выдержали ведь в сталинских лагерях рижские сионисты: Цейтлин, Русинек, Янкелевич. Может быть, и я смогу. Как это у Шауля Черниховского:

С грохотом затворились двери...

В одиночестве безнадежном

Дано мне время для размышлений...

Нет, не дано мне времени для размышлений. Надзиратель через глазок предупреждает, что лежать в дневное время на койке запрещено.

Начинается тюремная жизнь. Первое звено в новой цепи событий и встреч, размышлений и открытий.

* * *

Я пишу об этом теперь, одиннадцать лет спустя, в двадцати пяти километрах от Иерусалима, в Иудейских горах. Я должен включиться в новую жизнь. Не оглядываться назад.

...Часто меня просят выступить. Рассказать о прошлом. И мои рассказы начинают меня пугать. Каждый раз повторяешь одно и то же. Иногда кажется, что все это придумал я сам или, еще того хлеще, что все совершалось для того, чтобы теперь было о чем рассказать. Бред! Я жил так потому, что иначе не мог.

Пока еще свежи воспоминания, я попытаюсь, не повторяясь, рассказать обо всем, что со мной произошло. Рассказать об удивительной цепи событий, в которых за случайностью или закономерностью стоит чудо. Этим повествованием я как бы подведу черту под прошлым. Пусть оно перестанет тяготеть надо мной. А я войду в

новую жизнь. И хотя негоже человеку оставаться без прошлого, я хочу, чтобы оно выпустило меня из своих цепких объятий. Новая жизнь требует новых сил, иного опыта и другого видения мира.

Операция "СВАДЬБА"

Глава первая: ПРЕДЫСТОРИЯ "СВАДЬБЫ"

Мой отец был родом из Двинска - небольшого города, входившего в состав Латвии. Жизнь у отца была нелегкая. Он рос сиротой. Учился в хедере, но продолжать учебу в йешиве не мог, так как нужно было работать и поддерживать семью. Интерес к политике проявился у отца рано. Он был членом молодежной сионистской организации, а в шестнадцатилетнем возрасте вступил в коммунистическую партию Латвии. Двадцатидвухлетнего, его выдвинули кандидатом в парламент. Членство в компартии не мешало ему оставаться евреем: он соблюдал еврейские обычаи, постился в Йом Кипур.

Когда в Германии начались преследования евреев, отец в знак протеста бросил бутылку с горючим в окно немецкого консульства в Двинске. За это он мог поплатиться жизнью, и ему пришлось скрываться.

В 1938 году, когда вести о сталинском терроре достигли Латвии, отец вышел из компартии, так как был против массовых репрессий в Советском Союзе. С тех пор он ни в какой партии не состоял и занимался лишь профсоюзной деятельностью.

Немцы вошли в Двинск вскоре после начала войны. Отец достал телегу и пересек бывшую советско-литовскую границу. Тут, на русской земле, он впервые столкнулся с советской жизнью. Потом отец попал в Казахстан, работал в колхозе, а после освобождения Латвии от фашистов переехал с семьей в Ригу. К тому времени в Риге, знаменитой своими многочисленными хедерами и йешивами, не осталось ни одного еврейского учебного заведения, религиозного или светского. Из всех синагог уцелела лишь одна, да и то потому, что немцы во время войны разместили в ней конюшню.

Я родился в 1947 году и был третьим ребенком в семье. Отец чудом нашел старого моэла, который ввел меня в союз нашего праотца Авраама. Маме в роддоме выдали полкило пшена - материальную помощь роженице за третьего ребенка. И я вступил в жизнь. В ней происходило немало чудес. Одно из них заключалось в том, что, родившись в России, я избежал ассимиляции. Я был сыном человека, не забывавшего о своих еврейских корнях. Может быть, поэтому меня не воспитывали в преклонении перед всем русским, советским. Все это меня миновало. Впрочем, отец и не занимался специально моим "воспитанием". Но мою жизнь он направлял в еврейском русле. Сегодня, находясь среди моего народа, я убеждаюсь в том, что еврейское начало, заложенное моим отцом, было во мне неистребимо. Возможно, мы воспринимаем людей, явления и события каким-то особым еврейским образом и этим отличаемся от других.

Наша семья была бедной. Я стыдился заплатанной одежды и рос замкнутым ребенком. С трудом сблизился со сверстниками. Только в раннем детстве я играл во дворе, проказничал и дрался - как все. Я был неистов и яростен в детских драках. Но куда все девалось, когда я стал старше? Удивительно... От того периода у меня осталось ощущение, будто все, происходившее со мной, совершалось не в реальной жизни. Способность отключаться от действительности позволяет решиться на необычные поступки. Я думаю, что эта неполная погруженность в реальное - также черта еврейского национального характера.

Помню, в первом классе учительница попросила каждого ученика ответить, какой он национальности. Среди нас были русские, латыши, украинцы. Я один еврей - из сорока первоклассников. Все они были, вероятно, смыслеными детьми. Они уже отлично знали, что лучше всего быть русским, не так хорошо, но еще "ничего" родиться украинцем или латышом, хуже - "чучмеком" и очень плохо уродиться евреем. Ничто не могло сравниться с позором и несчастьем быть евреем. "Ты совсем не похож на еврея" - высший комплимент, который можно услышать от русского. Но природа была ко мне пристрастна: нос и глаза у меня что ни на есть еврейские. Я сидел притаившись и затравленно ждал, пока "национальный вопрос" доберется до меня.

- Менделевич?

- Еврей, - выдохнул я с трудом.

Класс покотился со смеху. Сейчас, с высоты моего тридцатичетырехлетнего возраста, я рад бы защитить того малыша. Но тогда, перед беснующимся от злорадства классом, я был совершенно беспомощен. Один. Учительница молчала. Может, лучше бы соврать или вовсе промолчать? Но я не мог так поступить. Не мог скрыть или отречься. Правда, на этом моя воля иссякла.

- Где работает твой папа? - был второй вопрос.

- Не знаю... - тихо проговорил я.

Лучше не знать, потому что у других отцы - офицеры и летчики, а мой папа утильсырьевщик. И это совсем не русская работа. Учительница укоризненно качает головой:

- Такой большой, а не знаешь...

Класс опять взрывается приступом смеха.

Невольно станешь замкнутым, и не захочется тебе выходить на улицу. Ну и ладно! Так я рос не патриотом советской страны, а патриотом родительского дома. Это имело свои преимущества: мне не пришлось с болью отрываться от России. Теперь мне не снятся русские березки, а на стенах моей квартиры в Иерусалиме не висят пейзажи постылой чужбины.

Я читал книжки для детей. Попадалась и детская классика - сказки братьев Гримм и Андерсена. На моей книжной полке никогда не стоял "Хумаш"¹, и сокращенного "Шулхан Арух"² не было у меня на столе, как у моих племянников в Израиле.

В 1955 году отец начал обучать нас, детей, еврейской азбуке. Мне тогда было восемь лет. В этом возрасте израильские ребята считаются знатоками Хумаша, а я только начал овладевать еврейскими буквами. Иврит я изучал уже взрослым.

В школе я был старательным и примерным учеником. Моя первая учительница, вероятно, немало поразилась, узнав через пятнадцать лет, что ее бывший ученик оказался "опасным бандитом".

Мои школьные успехи доставляли радость родителям. Они жили дружно, и мы, дети, тоже ладили между собой.

Но как мальчику, воспитанному в любви, жить в злобном и враждебном ему мире? Как, стремясь к добру, научиться ненавидеть врага? Откуда ему знать, что желание "быть хорошим для всех" пагубно для души?

(Позже, в лагере, я познакомился со Львом Ладыгиным. Он хотел быть "хорошим для всех" - для эков и начальства. Но жизнь жестока, и ему пришлось выбирать. Он выбрал тех, кто сильнее, - КГБ. И дал показания против издателя "Хроники", Твердохлебова. Так Лев превратился в сломленного слабовольного человека с нечистой совестью. "Хороший для всех" покоряется воле преследователя в тюрьме и на воле. Я боялся потерять способность к сопротивлению и к каждой встрече со следователем готовил себя как к схватке с врагом. Это было крайне необходимо: ведь через месяц после ареста обычно исчезает первое напряжение, ослабевает чувство враждебности к следователю. Он превращается как бы в твоего хорошего знакомого, кроме которого ты вообще никого не видишь в тюрьме. Кагебисты хорошо знакомы с подобным состоянием заключенного и используют его в своих целях...)

С детства я внутренне отгородился от враждебной среды. Я не стал лицемером, послушно твердящим одно, а думающим другое. Но двойственность существования - в семье и во внешнем мире - сказалась на мне. Это началось рано и с мелочей. Я играл с мальчиками во дворе, когда явились здоровые пьяные парни и, матерясь, принялись бить водочные бутылки. В нашем доме берегли вещи, ничего "просто так" не разбивали и не выкидывали. Пьяный разгул так поразил меня, что я убежал и с тех пор больше во двор - ни ногой.

До войны пьяные в Латвии были редкостью. Сейчас день получки - день всеобщей пьянки. Рабочие толпятся у винных прилавков и умудряются за несколько часов спустить почти всю месячную зарплату.

Однажды мне попался пьяный латыш.

- Дай гривенник на водку! Дай! Хочешь, я, латыш, встану перед тобой на колени?

Я дал монету и быстро ушел. Впрочем, я знал одного еврея, который, выйдя из лагеря, просил на водку, причем, на чистейшем идише, на "маме-лошн".

Вкус коньяка и водки был мне незнаком. Вино в нашем доме пили только по праздникам. Неудивительно, что я сторонился этого пьяного мира. Но он напоминал о себе.

В январские каникулы 1957 года мы с сестрами были на новогоднем спектакле. Когда вернулись домой, там шел обыск. Двое рылись в шкафу. Рядом с заплаканной мамой стоял бледный отец. Оказалось, что в пригородном лесу милиция нашла след браконьеров и отобрала у них самодельные патроны. На допросе они показали, что свинец для патронов купили у какой-то старьевщицы, но у какой и где точно, якобы, не помнят. Разумеется, настоящего продавца они не назвали. Милиция возила их по городу, пока наконец они не указали на ларек, где работал отец. Никакой старьевщицы там не оказалось, но зато был утильщик, мой отец, и его повезли домой, чтобы произвести обыск. Всех поразило наше бедное жилье. Ничего не нашли, но тем не менее отца арестовали и судили. Нас, детей, не пустили в суд. Я молился. Впервые в жизни я сознательно обратился к Б-гу: "Не хочу, чтобы папу посадили в тюрьму!" Так, ничего не зная о Б-ге, я все же молился Ему.

Отца осудили на пять лет за то, что он, якобы продав свинец, получил прибыль в пять рублей и обогатился нечестным путем. Его осуждение было связано с проходившей тогда очередной политической кампанией, на этот раз направленной против "расхитителей социалистической собственности". Это была знаменитая хрущевская агитационная кампания по борьбе со всякого рода преступностью. Хрущев обещал, что к 1980 году он сможет показать по телевидению последнего преступника. К счастью, он не дождался намеченного срока, - иначе ему пришлось бы показывать огромные стройки и предприятия, где было занято около четырех миллионов уголовников. Но так уж повелось: когда хотят свалить с себя вину, всегда принимаются за евреев.

...Итак, отца осудили и отправили в лагерь. Там он работал на кирпичном заводе. Мать осталась одна с детьми. Нам бы не выжить, если бы не еврейская взаимопомощь. Товарищи отца ежемесячно приносили матери деньги. Помню, мы поехали в лагерь к отцу на свидание. Мама сумела выкроить из наших скудных средств деньги не только на поездку, но и на курицу, конфеты и печенье для папы. Лагерь, несмотря на то, что находился в лесу, представлял собой голый пустырь. В колонне грязных оборванцев под конвоем автоматчиков я разглядел своего отца. Мама громко плакала.

Свидание длилось час. Папа мне понравился: худой, наголо остриженный, он показался мне моложе, чем раньше, и бодрее.

От нервного потрясения заболела мама. Ее отправили в больницу. Меня с сестрой отвезли за город, в летний пионерский лагерь. Там впервые я оказался погруженным в стопроцентную советскую жизнь: оскорбления, издевательства, матерщина, гнусные рассказы, которые обычно в ходу у мальчишек. Все это было невыносимо.

Даже теперь я не могу спокойно слышать русский мат, хотя после стольких лет в лагерях вполне мог бы считаться специалистом в этой области. Видно, Б-г берег меня от грязи.

И вот я решил сбежать. Не подчиняться коллективу, не носить общего ярма. На прогулке я спрятался и переждал, пока отряд пройдет. До города - километров сорок. По шпалам дошел до моста, который охранялся как военный объект. Услышав шорох, часовой нацелился в мою сторону. Я упал на землю за насыпью и пополз обратно. Пришлось сесть на поезд, конечно, без билета. Меня задержал контролер. Но вместо того, чтобы сочинить более или менее правдоподобную историю о том, как и почему я оказался в поезде зайцем, я рассказал всю правду. Убежал из пионерлагеря, потому что там плохо. Пассажиры заступились за меня, контролер сжалился и не отвел в милицию, а какой-то еврей, оказавшийся в этом вагоне, отвез меня домой.

Но бегство из пионерского лагеря вовсе не означало, что я с детства был "врагом" советского строя. Неприятие чуждого мне мира еще не оформилось, не определилось; внешне я оставался таким, как все. Учился хорошо: писал грамотно, много читал, примерно вел себя, разбирался в политике. Словом, в школе были вполне довольны моим "морально-политическим обликом". Я вступил в комсомол - ведь без этого не видать университета! Я неплохо декламировал, и меня часто вызывали читать вслух. Однажды мы читали по ролям "Повесть о настоящем человеке" Полевого. Мне досталась роль летчика Мересьева. Тяжело раненого в обе ноги, его нашли советские партизаны. "Кто ты?" - спросили они у него. - "Я русский, я русский", - отвечал он. Едва я произнес эти слова, как все засмеялись. Ну, в самом деле, какой же я русский? Я читал лучше их, русских, и писал грамотнее, чем они, но забыть, что я не принадлежу к их расе, они не могли. Да я и сам не испытывал особой нужды в этом.

Без отца в доме я чувствовал себя почти сиротой. На душе было пусто, тоскливо и холодно. Но внутри все же тлела искра еврейства, и после ареста папы она поддерживалась всем укладом жизни нашей семьи.

Вкус мацы я знал с детства. Отец всегда доставал ее на Песах. Он вел Седер, рассказывал об истории еврейского народа, начиная от сотворения мира и кончая нашими днями. В этом смысле я отличался от своих еврейских сверстников, живших в России и не знавших ничего о своем народе. Я же сознавал, что принадлежу к нации, история которой необычна и миссия велика. Преследовал ли отец особую цель воспитать нас, детей, евреями? Не думаю. Он просто не мог иначе. Это было его душевной потребностью. Оглядываясь сейчас на свое прошлое, оценивая некоторые свои поступки, я вижу, что тоже не мог иначе. Я оставался евреем и никем другим быть не мог.

Еще с мальчишеских лет я любил ханукальные свечи и ладкес. Когда мама собиралась их печь, мы готовы были начистить ей целое ведро картошки. Конечно, пища - не главное в наших праздниках. Но высокое духовное содержание соединяется в них с конкретным восприятием запаха, вкуса, света... Вероятно, поэтому детские воспоминания такие стойкие. Символы, лишённые плоти, легко стираются из памяти, а облаченные в традиционные формы, приобретают реальные очертания. Я любил не только торжественность праздников, но и подготовку к ним. Предпраздничные хлопоты были не менее волнующими, чем сами праздники. Ничего не отталкивало меня от них: ни нудные часовые стояния в очередях за курицей,

рыбой и картошкой, ни необходимость толочь мацу для кнейдлах, давить мак для оменташен, тереть картошку для ладкес. Мы следили за порядком в доме, участвовали наравне со взрослыми во всех приготовлениях к праздникам. Нас воспитывали в строгости, труде и почитании родителей. Сегодняшние израильские дети кажутся мне избалованными и капризными. Я не был таким. Говорят, израильское воспитание делает детей свободными людьми, без комплексов. Может быть, и так. Я ведь получил галутное воспитание. Однако в условиях России оно оказалось - как это ни парадоксально - лучшей подготовкой к тому, что меня ожидало впереди.

Отец вернулся домой до срока. Наши друзья-евреи, среди которых был инженер Абрам Моисеевич Вишневецкий, доказали, что он невиновен. Никто их не обязывал заниматься делом отца. Это просто была помощь еврею, а для меня - первый урок национальной солидарности.

Отец вернулся постаревшим и больным. В день освобождения он заболел. Инфаркт. С тех пор до конца своих дней он страдал болезнью сердца.

Мое совершеннолетие, "бар мицву", я отметил чтением на идише книги Леона Фейхтвангера "Еврей Зюсс". Пожалуй, впервые я сознательно проявил интерес к еврейской тематике. Это был как бы переломный момент в моем внутреннем мире: мною овладело непреодолимое стремление быть с моим народом.

Я нашел "Книгу Судей"³, оставшуюся еще от бабушки, и, не зная ни слова на иврите, а только буквы, каждый день с воодушевлением прочитывал несколько строк. Отец научил меня молитве "Моде ани", которую я произносил, как только просыпался. Так смутные движения мальчишеской души соединялись с первыми шагами по пути, по которому я иду сейчас. Сердце еврейского ребенка было открыто Б-гу, и, сделав первый шаг, я не мог остановиться. Услышав голос души, не мог больше жить лишь по законам человеческого разума.

С моим совершеннолетием был связан и отъезд нашей родственницы, тети Фани, в Израиль. В то время разрешение на выезд из СССР получали считанные единицы. Среди них была и она - пенсионерка, старая и больная женщина. "Лех леха"⁴ звучало в моих ушах, когда тетя Фаня садилась в автобус, уходивший в аэропорт. Смысла этих слов тогда, в 1961 году, я еще не понимал, но они крепко запали в душу.

Тетя Фаня прислала несколько писем и открытку из Израиля, из Кфар-Гилади. Так в моем сознании запечатлелась первая географическая точка. Помню яркую открытку с плавательным бассейном. Словно окно в страну. Я разглядывал в лупу каждое деревцо, пересчитывал людей, попавших в фотообъектив, и поражался тому, что все они евреи и их много. Я уже знал: отныне моя жизнь не будет случайным блужданием, а подчинится единой цели.

Антиизраильская пропаганда в газетах подстегивала антисемитские настроения улицы. В школе на меня набросился Костя Буров, сын офицера. Он орал: "Бей жидов - спасай Россию!" Я дал сдачи. Завязалась драка, и в пылу боя мы чуть не попали под трамвай.

Однажды мне камнем разбили голову. Я ходил забинтованный, как солдат, раненный в бою, и страшно гордился этим. Так укреплялся фундамент моей веры. Почему не со всеми моими сверстниками происходило такое? Думаю, что Б-г каждому уготовил его долю. В жизни ведь нет арифметического равенства. Равенство иное - перед Б-гом.

Вскоре папа на свою двухмесячную зарплату купил приемник, и мы, если не глушили, слушали ежедневно "Кол Исраэль". Я настолько привык к комментариям отца, что даже взрослым остро ощущал, как не хватает их мне.

Отъезд в Израиль - одна из основных тем наших вечерних бесед. Обсуждалось все: и что мы возьмем с собой, и как на первых порах будем там жить, и чем станем заниматься. И хотя в 1961 году разрешение на выезд из СССР получали лишь немногие, эти наши разговоры не прекращались. Они словно уносили нас в мир грез и надежд... Но я верил в отъезд как в неоспоримый факт своего будущего. Может быть, поэтому я часто спорил со своими школьными приятелями о вещах, казалось бы далеких от реальности: что правильнее - сперва получить в России высшее образование, а потом уехать, или покинуть Союз при первой же возможности? Хотя мы были достаточно самостоятельны в своих суждениях, но и на них лежала отметина советской пропаганды. Мы, например, верили в то, что путь к высшему образованию в Израиле труднее, чем в СССР. Однажды мой товарищ на уроке географии назвал израильтян агрессорами. Он получил "отлично", но зато от нас - нагоняй. Уже здесь, в Израиле, я встретил солдата, выходца из Союза, который сказал, что служит на "оккупированных" территориях. Я уверен, что он не считает их таковыми, но здесь сработал привычный речевой шаблон, который он усвоил с детства.

Материально нам жилось тяжело, и в шестнадцать лет мне пришлось пойти на завод учеником токаря. С рабочими я не сблизился: не участвовал ни в их постоянных выпивках, ни в разговорах. Но как-то меня прорвало, и я высказался в том духе, что, мол, считаю Израиль родиной всех евреев. Это высказывание предназначалось отставному офицеру, читавшему нам в перерыве газеты. Он обещал походатайствовать, чтобы меня отправили на мою "родину", в Израиль. В запальчивости я поблагодарил, а он "выполнил" свое обещание - меня отправили, разумеется, не в Израиль, а на трудный и вредный участок работы. Но я не боялся труда. Не прекращал я и учебы, хотя занимался уже не в дневной, а в вечерней школе. Мне повезло. Вообще такое везение, состоявшее из цепи неожиданных удач, впоследствии тоже не покидало меня.

Более половины учеников и преподавателей были евреями. Если бы КГБ могло предположить, что наша двадцать пятая школа рабочей молодежи превратится в "рассадник" сионизма, ее наверняка давно бы закрыли. Да, моя учеба в этой школе оказалась большой удачей, почти чудом. Чудом я считал также появление в нашем доме Менделя Гордина - близкого родственника, человека исключительных душевных качеств. Он остался жить у нас. ореол загадочности, окутывавший его личность, долго занимал мое воображение. Он присматривался ко мне: жизнь в СССР вырабатывает инстинкт предосторожности. А я сразу выбрал его своим наставником и другом. Говорится в "Пиркей Авот"⁵: "Выбери себе наставника и

приобрести себе друга". Воспитанный в еврейских традициях, Мендель считал своим долгом прививать их евреям, не знающим обычаев своих предков. Первые запрещенные материалы я получал от него. Это были перепечатанные на машинке стихи Бялика⁶, статьи Жаботинского⁷ и Ахад Гаама⁸. Машинописные переплетенные листы не могли стоять открыто на книжной полке, и их приходилось прятать даже от отца. Попадись они ему на глаза, он уничтожил бы их, хорошо зная, какую они таят в себе опасность.

Кроме этой сионистской литературы я увлекался и самиздатовской. Ее поставлял мой одноклассник, Лева; он приходил в класс с портфелем, туго набитым книгами сионистского и демократического содержания. Однако юношеский пыл у Левы быстро остыл. Когда года через два я позвал его на еврейский митинг, он отказался. Парень дал мне понять, что в жизни существуют и такие немаловажные вещи, как работа, семья и различные обязанности, с которыми приходится считаться в первую очередь. Но все это произошло потом, а теперь мы были романтиками. Убегали к синагоге, не думая ни об учебе, ни о работе или семье. Иногда оставляли комсorghу записку: "Сегодня не учимся - еврейский праздник". В начале 60-х годов евреи, в основном молодежь, собирались у синагоги. Не молились, а просто толпились у входа, на близлежащих улочках. Знакомились друг с другом, болтали, обменивались новостями. Одно лишь сознание, что здесь одни евреи, вселяло радость и гордость. Часто тут происходили удивительные открытия: человек, которого всегда считали русским, оказывался евреем и, случалось, раскрывал перед тобой свою душу. Каждый праздник приносил двойную радость: и сам по себе, и уже от одного сознания, что ты среди своих, среди евреев. На Симхат Тора, Пурим и Хануку много пели и танцевали. Казалось, что все это веселье возникало непроизвольно, стихийно. Отчасти верно, но только отчасти...

Однажды парень, сидевший со мной на одной парте, предложил поехать с ним в Румбуле. Там, в Румбульском лесу, в ноябре-декабре 1941 года во время операции по уничтожению рижского гетто фашисты при поддержке местного населения расстреляли тридцать восемь тысяч евреев, среди них восемь тысяч детей. Зброшенное пустынное место стало кладбищем. Но законом оно не охранялось и пришло в запустение. Небольшая группа латвийских евреев решила привести его в порядок и на месте, где произошла трагедия, установить памятник. Это оказалось нелегким делом, требовавшим большого мужества. И оно нашлось у таких людей, как Русинек, Гарбер и Цейтлин. Об этом я узнал позже, а пока, не слишком доверяя парню, все же отправился в воскресный день в Румбуле с моим другом Шмуликом, с которым вместе работал на заводе. Мы были настроены скептически и думали, что в конечном счете все обернется обычной выпивкой. Каково же было наше изумление, когда мы увидели молодых и пожилых евреев, копавших землю и переносивших ее в самодельных ящиках туда, где воздвигался могильный холм. Мы тоже включились в работу. Руками - лишних лопат не нашлось - собирали землю и насыпали ее в эти ящики. Когда все разошлись, мы со Шмуликом подобрали сломанные лопаты, надеясь их починить к следующему разу. Но для Шмулика следующий раз никогда больше не наступил: он был убит у станка обломком железа, попавшим ему в голову... Я продолжал ездить в Румбуле один. Каждое воскресенье. Люди туда все прибывали и прибывали.

Беседы с Менделем, чтение самиздата, воскресные работы на кладбище - все это рождало во мне чувство, что есть какая-то организация, направляющая всю эту деятельность, и я мечтал быть ее членом. Мои мечты носили романтический характер: мне представлялись конспирации, пароли, тайные сборы... Но ничего такого не было, хотя организация существовала - может быть, и без устава и четкой структуры.

Сионистское движение моей юности включало в себя людей разных возрастов и судеб. Здесь и бывшие члены "Бейтара" - большой организации, действовавшей в довоенной Латвии. Одним из этих бейтаровцев, возвратившихся из сибирской ссылки в Ригу, был Эзра Русинек, которого я впервые встретил в Румбуле и принял за израильтянина. Здесь и сионисты среднего возраста, на которых огромное влияние оказала Синайская кампания 1956 года. Лея Бринер, Борис Словин, Дов Шперлинг, Йосеф Шнейдер, Мордехай Блюм (Лапид), Йосеф Янкелевич, Цейтлин (дядя Буби) - личности сильные и незаурядные. Они притягивали к себе молодежь, видевшую в них своих лидеров.

На воскресниках в Румбуле царила особая атмосфера. Чувство удовлетворения результатами наших трудов: насыпаны могильные холмы, выложены гравием дорожки, залиты асфальтом площадки. Установлен памятник. Правда, нас огорчила безликая надпись на нем: "Советские граждане разных национальностей", но кому-то удалось дописать на идише "Жертвы фашизма".

Не забыть и возвращения из Румбуле, когда в автобусе звучали израильские песни. Вид задорных еврейских ребят, распевавших нерусские песни, был настолько непривычен, что однажды водитель автобуса воскликнул: "Откуда вы такие взялись?!"

"Такие" означало гордые и независимые, вместо запуганных и покорных, какими он представлял себе евреев. И это благодаря Румбуле. Мы чувствовали себя сильными, сплоченными, способными постоять за себя. Безусловно, большая заслуга в этом принадлежала рижским сионистам.

Шестидесятые годы были насыщены интересными событиями. Мы читали "Экodus" Леона Юриса, пели песни Варшавского гетто и Пальмаха⁹, мечтали встретиться с израильтянами. В 1964 году я случайно увидел машину с израильским флажком. На заднем сиденье лежал журнал "Бамахане". Я даже сумел рассмотреть его название. Вокруг машины собралась большая толпа. Ее разгоняла милиция. В этот день я шел сдавать очередной экзамен в медицинский институт. За сочинение на тему "Образ коммуниста в советской литературе" получил низкий балл. Расстроился. Теперь я думаю, что все было к лучшему. Может, став студентом-медиком, я увлекся бы своей профессией настолько, что не нашел бы времени для сионизма. То, что тогда казалось неудачей, сыграло важную роль в моей жизни. Я не сбился с верного пути.

Годом позже в Ригу приехала израильская женская баскетбольная команда "Хапоэль". Я отправился в Дом спорта. Там уже было полно евреев, пришедших посмотреть на тренировки израильских спортсменок. Когда они садились в автобус, мы запели "Эрец зават халав"... Девушки были растроганы до слез. Конечно, на их

игру мы не попали - билетов не достать. Тогда мы с сестрой решили пойти вечером в гостиницу. Шаг чрезвычайно рискованный. Но желание видеть "живых" израильтян пересилило страх и природную застенчивость. Под пристальным взглядом человека в штатском я поднимался по лестнице гостиницы, в которой остановились израильтяне. Вдруг увидел идущего мне навстречу мужчину, в котором каким-то шестым чувством узнал израильтянина. Подошел к нему. Он что-то сказал и протянул мне два пакетика. Я тут же заглянул в них и остолбенел от радостной неожиданности: маген-Давиды! Я кинулся назад, едва не забыв поблагодарить незнакомца. Дома я надел на шею цепочку с маген-Давидом и не снимал ее, даже идя на работу. Папа просил ее не носить, чтобы не привлекать к себе внимания, но я был неумолим. Кстати, в семидесятые годы ношение маген-Давида стало модой.

В 1965 году (а по еврейскому календарю в 5725) в годовщину создания израильского государства Мендель Гордин подарил мне часы с надписью на иврите: "День Независимости 5725". Этот подарок символичен. "Что будет со мной лет через десять?" - подумал я, и меня охватило предчувствие трудностей и испытаний, через которые мне придется пройти.

В 1965 году Мендель принес мне самоучитель иврита, изданный в Израиле. Я выучил пятьсот слов и все стихотворения, помещенные в учебнике. Однако самостоятельно осилить языка не смог, так как ни от кого не слышал живой ивритской речи и не был уверен в правильности своего произношения. Мендель дал мне и другие книги, но уже на русском: "Шесть миллионов обвиняют" Гидеона Хаузнера, "Встреча с Голиафом" Давида Реми, речь Бен-Гуриона в годовщину Синайской кампании. Я не знал точно, откуда книги, строил различные предположения на этот счет и кое о чем догадывался. Я стремился участвовать в сионистском движении, но чувствовал, что все еще нахожусь на его периферии. Иногда Мендель просил меня спрятать какие-то материалы. Я всякий раз охотно выполнял его просьбы. Устроил даже тайник в печке. Рукописи и фото пленки с переснятым романом "Эксокус" хранил в подвале. Списки желающих выехать в Израиль заложил в патрон электрической лампочки - словом, делал все, о чем просил меня Мендель. Не прекращал и посещения кладбища в Румбуле. Здесь, дважды в год - осенью, в день начала акции по уничтожению евреев Рижского гетто, и весной, в день восстания в Варшавском гетто, - собирались евреи Риги. Эти встречи и митинги у памятника проводились без официального разрешения. Здесь я сблизился с молодыми рижанами, активистами и борцами за выезд в Израиль: Ильей Валком, Рут Александрович, Йосефом Шнейдером и Йосефом Русинеком. На осеннем митинге 1965 года говорили не только о том, что евреям нельзя забывать своего прошлого. Необходимо помнить о долге перед будущим. Действовать. Бороться. Во имя жизни нашего народа.

После митинга несколько человек пришли ко мне. Я чувствовал, что должен что-то сказать. "Во время войны евреи понесли тяжелые потери, - начал я. - Но теперь наша судьба в наших руках. Мы должны противодействовать ассимиляции народа и бороться за выезд в Израиль. Предлагаю создать сионистскую организацию", - закончил я неожиданно для всех и, кажется, для самого себя. Проголосовали единогласно. Все были взволнованы. Еще час назад никто ни о чем подобном не помышлял, и вдруг - организация. Но потом, когда первые волнения улеглись, я смог

трезво оценить ситуацию и понять, что поспешил. Во-первых, я не представлял, чем именно будет заниматься такая организация; во-вторых, многие ее члены - люди неподготовленные и явно неподходящие. Самая надежная - моя сестра Ривка. Вместе с ней мы пришли к выводу о необходимости чистки наших еще неорганизованных рядов и выработки программы и устава организации. Я понимаю, что "чистка", "устав", "программа" - слова сугубо советские, но тогда говорить по-иному мы не умели. Итак, мы произвели отсев (чтобы не употреблять слова "чистка"), и в результате в нашей группе осталось четверо: мы с Ривкой, ее подруга Геня и мой приятель Роман. Каждую неделю мы собирались у Гени, за городом, читали сионистскую литературу. Конечно, ее можно было читать и дома, но мы предпочитали вместе: все-таки организация. Однажды Геня рассказала о нас Йосефу Шнейдеру. Он предложил нам познакомиться с другими группами. И вот мы с Романом пришли на встречу. Ради предосторожности - из разных концов города. Оказалось, что эти "другие" - наши знакомые по Румбуле: Илья Валк и Йосеф Шнейдер. Постепенно круг знакомства расширялся. Иногда группы объединялись, и тогда устраивали совместные вечера, слушали лекции об истории Израиля, о его экономике, политике и культуре. Конечно, не обходилось и без израильских и идишистских песен. Порой соревновались в знании истории Израиля. Мне нравилась обстановка, царившая на таких вечерах, но танцы и развлечения меня не привлекали. Я искал чего-то более серьезного. Мне нужно было действовать.

В 1966 году рижские власти начали принимать заявления о репатриации. Мы попросили тетю Фаню прислать вызов и получили совершенно неожиданный ответ: "Оставайтесь на прежнем месте". Тем не менее я предпринял попытку достать вызов. Примерно к этому же времени в Риге сложилась еще одна сионистская группа, куда вошли Саша Друк, Борис Мафцер и другие, а позже - мы с Ривкой, Геня и Роман. Сюда нас привела уже не вспышка юношеского энтузиазма, а стремление к действию. Организация выработала свою программу, в которой излагалось примерно следующее: "Движимые чувством любви к своему народу и ответственностью перед ним, мы пришли к выводу о необходимости объединения для содействия росту национального самосознания еврейского народа в преддверии грядущей алии - репатриации в Израиль. Основное направление нашей деятельности - распространение знаний о еврейских культурных ценностях".

В свободном мире скептически оценивались возможности алии из СССР, а мы верили в то, что она будет, и считали своим долгом готовиться к ней. Одной из форм подготовки были сборы членских взносов для нужд организации. Денежные взносы были достаточно высокими, а многие из нас учились. Мне, например, пришлось взять дополнительную работу, так как всю свою зарплату я отдавал отцу, не оставляя себе даже на карманные расходы. Однажды, собрав деньги, я возвращался домой. Улица слабо освещалась. Из темноты вынырнули несколько парней и преградили мне путь. Потребовали денег. Я оглянулся назад. Там тоже шпана. Делать нечего, и я отдал им всю мелочь из карманов. Меня заставили попрыгать, очевидно, чтобы проверить, не осталось ли монет. Нет, не осталось. К счастью, в пиджак не полезли. Там были бумажные ассигнации. Меня отпустили. На собранные и сохраненные деньги мы купили пишущую машинку и двенадцать томов Еврейской энциклопедии.

Едва сложилась наша группа, как произошло два важных события. Несколько семей получили разрешение на выезд в Израиль, а к нам на гастроли приехали израильская певица Геула Гиль и мим Яков Аркин. О предстоящих гастролях мы узнали из передач израильского радио. Никаких афиш на рижских улицах, разумеется, не появилось, но когда в пять часов утра я пришел к билетной кассе Дома офицеров, то застал там человек триста. Я занял очередь и отправился в институт сдавать экзамен по физике. Покончив с ним, я возвратился в очередь. Что там творилось! Столько евреев я не видел даже у синагоги в праздники. Настроение у всех радостное, приподнятое, такое, словно уже шел концерт. Чувство единства - редкое чувство оказаться среди своих, затеряться не в чужой, а в своей толпе - само по себе опьяняло и наполняло радостью. Я уверен, что многие, толпившиеся в тот день у касс, надолго запомнили эту очередь за билетами на концерт израильских артистов. В одни руки, как водится, "отпускали" только два билета, и мне пришлось несколько раз становиться в очередь, меняя, насколько это возможно, свой внешний вид. Я появлялся перед кассой то в очках, то без них, то в куртке, то без нее, то надвигал шапку на лоб, то прятал ее в карман. Так я раздобыл билеты для всей нашей семьи. За час до начала концерта все подходы к театру находились под контролем милиции, а автобусную остановку перенесли. Со всех сторон спрашивали "лишнего билетика". Ко мне подошел какой-то летчик и рассказал, что специально прилетел из Киева на этот концерт. Я отдал ему билет. И вот я в зале и не могу поверить своим ушам - звучат ивритские песни! Чудо! Я будто в Израиле. После каждого номера я кричал на иврите "браво", для этого случая заранее отыскав его в русско-ивритском словаре. В этот возглас я вкладывал всю свою страсть, но в нем звучала и недостижимость мечты...

После последнего концерта мы собирались устроить Геуле торжественные проводы. Принесли цветы. К нам с Ривкой подошел капельдинер и потребовал отдать ему букеты. Я отказался, и тогда он вызвал милиционера. Пожаловался, что я толкнул его, хотя на самом деле ничего такого не было. Пока я препирался с обоими, Ривка передала цветы сидящим в зале. Все было в порядке. Программа последнего концерта шла под сплошные овации. Геулу попросили спеть "Песнь Пальмаха". Должно быть, она удивилась, когда половина зала подхватила слова и мелодию этого гимна боевых отрядов.

Провожая Геулу, мы увидели, что все проезды перекрыты милицией, а на улицах, прилегающих к театру, выставлен усиленный патруль. Власти решили помешать проститься с израильской певицей. Но нас было много, и мы прорвали оцепление. Однако в этот момент автобус, в котором сидела Геула, тронулся и быстро стал набирать скорость. Тогда Саша Друк подскочил к окну, и Геула успела протянуть ему пластинку со своими песнями.

В Советском Союзе, как известно, запрещены стихийные демонстрации. Пережитое нами событие было беспрецедентно. Страх перед государством и его аппаратом, поддерживаемый всем советским образом жизни, вдруг покинул нас. Мы настолько осмелели, что по призыву Леи Словиной и Мордехая Лапида отправились в отделение милиции освободить Ноэми Гарбер, дочь юриста Давида Гарбера. Ее задержали за сопротивление милиции во время разгона толпы евреев, пришедших

проводить Геулу. В милиции нас чуть не сбросили с лестницы. Я заявил, что буду жаловаться председателю Совета Министров, но в ответ начальник милиции закричал: "Кучу я наложил на твоего Косыгина!" Да, ничего не скажешь! Органы подавления стоят выше закона и вне его. Однако Ноэми освободили, а нас с Мордехаем Лапидом задержали. С ним КГБ уже давно хотел свести счеты.

Шестидневная война способствовала пробуждению еврейского национального самосознания. Многие евреи утверждают, что стали патриотами Израиля в шестьдесят седьмом году. Всегда, когда слышу подобное, я спрашиваю: "До или после войны?" Ответ на этот вопрос мне представляется весьма знаменательным: одни полюбили страну в опасности, другие - в период ее побед. Но всех без исключения возмущала яростная антиизраильская и антисемитская пропаганда.

Я уже давно жил среди тех, кто отождествлял себя с народом Израиля. За несколько дней до начала Шестидневной войны один мой знакомый сказал: "Эх, сейчас бы не в этой Риге сидеть, а с автоматом в руках патрулировать границу". И он был прав. Мы слушали израильское радио, радовались успехам Цахала, не сомневались в его победе и огорчались, что не воюем вместе со своими израильскими сверстниками. Сослуживцы-латыши с чувством доброжелательности расспрашивали меня о новостях из Израиля. Советские газеты кричали о победах арабских сил, а затем вынуждены были признать, что итог не в пользу арабов. Тем не менее антиизраильская истерия продолжалась, дипломатические отношения с Израилем были разорваны. Антисемитизм усиливался.

Летом 1967 года мы сняли под Ригой, в лесу, маленький домик, и там я перепечатывал на машинке книгу о Войне за независимость - "Давид встречается с Голиафом" Давида Реми. Литературы о современном Израиле у нас не было. Я печатал по четырнадцать часов в сутки, отрываясь от работы лишь для еды и занятий ивритом. Я был молод и не очень заботился об удобствах. Питался всухомятку: собирал дикую малину, иногда ел ее в сыром, иногда в вареном виде. Когда она мне надоедала, ходил в магазин, который находился от меня за три километра, покупал буханку хлеба и тут же сразу ее съедал. Свою работу я рассматривал как личный вклад в войну.

В доме Бориса Мафцера тоже перепечатывали на машинке всевозможную литературу: фельетоны Жаботинского, стихи Бялика и т. п. Однако средств для нашей "печатной" деятельности не хватало, и тогда Ривка с Сашей, собрав дома всякое тряпье, отправились продавать его на толкучке. Выручка небольшая, но все-таки хоть что-то! На эти деньги мы могли размножать литературу фотоспособом. Ривка с Сашей проявляли отснятые пленки стихов Ицхака Каценельсона, погибшего в гетто. Однако сушить фотокопии было негде, а утром все приходилось прятать. Поэтому иногда ночью я раскладывал их под одеялом и высушивал своим телом.

Мы занимались также подготовкой к еврейским праздникам. Перед Пурим усаживали детей резать и клепать жесь для трещоток. Ребята, моложе нас всего лишь на несколько лет, не получили дома почти никакого еврейского воспитания, и мы считали своим долгом восполнить этот пробел. Рассказывали историю того или иного праздника, разучивали еврейские песни. Помню пасхальный Седер в одной

компании, где собралась совсем "зеленая" молодежь. Обычно я не хожу туда, где никого не знаю. Но раз надо - значит надо... Я взял с собой мацу и, конечно, Агаду¹⁰. Хозяйка дома, старая еврейка, приготовила пасхальные кушанья. Все сели за стол. Я правил Седер как полагается. И вдруг почувствовал, что парни и девушки меня не понимают и явно скучают. Тогда я перешел на русский и принялся рассказывать о значении различных моментов пасхального Седера, об исходе наших предков из Египта. Ребята слушали, не перебивали и все же с трудом досидели до конца трапезы. Как только она закончилась, начали танцевать под магнитофон и играть в карты. А я с разбитым сердцем тихо, в одиночестве, дочитал до конца пасхальную Агаду и ушел домой в крайне удрученном состоянии. Через несколько дней мне повстречался парень, который был на этом Седере. Как же я удивился, когда он сказал, что вечер ему понравился и запомнился. Многие даже стали подумывать о репатриации в Израиль. Это было совершенно неожиданно для меня и, конечно, приятно. Я понял: слово, сказанное от чистого сердца, всегда найдет путь к другому сердцу, может быть, и не сразу, но непременно найдет.

Кроме чисто просветительской работы мы искали связи с представителями еврейского движения в других городах Союза. По странной случайности эти наши поиски совпали с серией обысков в Риге. Они начались в Минске и прошли по всем городам Союза. И почти повсюду после обысков следовал вызов в КГБ. Это происходило в 1968 году. Оккупация Чехословакии, повальные обыски в СССР, слежка - все это произвело на меня тяжелое впечатление. Чем пристальнее я вглядывался в происходящее, тем яснее становилась трагичность положения.

Национальные убеждения сделали меня инакомыслящим, диссидентом. Однако некоторые активисты алии проделали другой путь: к национальной идее они пришли через демократическое движение. И по сей день значительная часть его участников - евреи. У каждого свой путь. Для меня последним толчком к вере был, пожалуй, митинг на Румбульском кладбище. Давид Зильберман, многие годы изучавший историю Рижского гетто, написал для этого случая специальный доклад, который мне предложили прочесть: голос у меня был сильный и громкий. Я решил также продекламировать стихи Ицхака Каценельсона. Репетировал предстоящее выступление с Гесей Камайской, преподавательницей русской литературы; очень волновался, боялся забыть слова, хотя все выучил на память. И митинг состоялся. Конечно, без разрешения властей. Несмотря на это, народу собралось много. После поминальной молитвы "Кадиш" я вышел к памятнику. Место было святое. Свята была и тема. Я ловил себя на мысли о том, что постоянно спрашиваю - достоин ли я тех слов, которые произношу и которые вдохновляют меня. Закончив выступление, не оглядываясь, ушел. Взволнованный, я не мог больше произнести ни слова. Возможно, друзья заподозрили меня в заносчивости. На самом же деле это было не так. Я считал, что погибшие требуют от нас верности их памяти и поэтому нужно что-то менять в своей собственной жизни. И я решил быть настоящим евреем, т. е. выполнять заповеди. Этот вывод был выношенным и самостоятельным. Более того, я шел к нему всю мою сознательную жизнь. Мне исполнился тогда двадцать один год. Я отказался работать по субботам, есть трефное. Начал соблюдать посты и отмечать праздники, но я еще не молился и не изучал Тору. Накрепко запомнились мне слова моего наставника Менделя Гордина о том, что ни народа еврейского, ни

государства еврейского не может быть без еврейской веры. Мендель - и я был согласен с ним - не делил людей на верующих и неверующих; не у всех хватает сил выполнять все заповеди. Однако неверующих, практически, нет: к сердцу каждого из нас обращается Б-г, и всем доступны Его требования.

В сентябре 1968 года ОВИР начал вновь принимать заявления о выезде. Я отправил в Израиль своему знакомому телеграмму: "Дорогой дядя, не забыл ли ты нас? Срочно высылай документы". Через два месяца прибыл вызов от Якова Менделевича из Бат-Яма. Мы не верили своим глазам: у нас в руках вызов для всей семьи. Начался сбор документов, а это дело не простое. Чтобы создать специальные трудности, а еще вернее, накалить обстановку, требовалась характеристика с места работы. На некоторых предприятиях намеренно созывались общие собрания, где обычно шельмовали желающих покинуть СССР. Такие собрания унижали человеческое достоинство и обходились каждому дорого. А если объектом обсуждения окажется смелый человек и честно и открыто заявит о своем положительном отношении к Израилю и отрицательном - к советской политике ассимиляции, его сразу осудят за "антисоветскую агитацию", как это случилось в 1969 году в Киеве с Борисом Кочубиевским. Мне же повезло. Мой начальник, латыш, без долгих проволочек выдал характеристику. При этом он попросил рассказать ему об Израиле, что я с удовольствием и сделал. Моей младшей сестре, Мэри, отказали в характеристике. Пришлось обратиться к прокурору, и, невероятно, но факт: выслушав мою жалобу, он снял телефонную трубку и приказал характеристику выдать.

В конце 1968 года несколько сотен рижан получили разрешение на выезд в Израиль. Среди них и известная исполнительница еврейских народных песен Нехама Лифшиц. Она давала прощальный концерт. Вместе с Мордехаем Лапидом, счастливым, тоже получившим разрешение на выезд, я отправился к певице домой, прощаться. Мы пожелали друг другу скорейшей встречи в Израиле. Встреча действительно состоялась - через тринадцать лет, сразу же после моего приезда в страну, в кибуце Явне.

Власти, выдавая первые выездные визы, очевидно рассчитывали, что не найдется много желающих покинуть СССР, и, выпустив самых шумных и беспокойных, они избавятся от сионистов, по крайней мере, в Риге. Однако они просчитались. Со всех сторон посыпались заявления. Получение визы из мечты превратилось в реальность. ОВИР стал своеобразным местом встреч евреев, собиравшихся оставить Союз. Испугавшись такого неожиданного оборота дела, ОВИР предпринял другой маневр - отказы. Всем без исключения. Причем мотивировка могла быть самой нелепой и смехотворной. Нам, например, сформулировали отказ так: "Считаем, что можете жить и здесь". Выходило, им лучше знать, чего нам надо. За ними было последнее слово, а мы - в их руках.

К лету 1969 года из Риги уехали видные активисты сионистского движения: Дов Шперлинг, Леа Словина, Йосеф Янкелевич, Йосеф Шнейдер. На "той", израильской стороне, теперь оказались люди, действительно знавшие, что происходит в России, и они начали действовать: организовывать вызовы, оказывать евреям в России посильную помощь, посылать литературу, поднимать общественное мнение в других

странах.

Вместе с тем ситуация изменилась и в самой Риге. Молодежь теперь уже открыто заявляла о своем желании уехать в Израиль. Таким образом, помощь извне пришла в тот момент, когда мы уже поняли, как можно себе помочь, - прежде всего полагаться только на себя... Этот вывод очень скоро пригодился и мне. Я оставил учебу в Рижском политехническом институте и полностью занялся проблемами репатриации. Однако перестав числиться студентом, я потерял право на отсрочку от действительной службы в армии и получил повестку из военкомата - явиться на призывной пункт. Мама отправилась в военкомат и заявила, что я чем-то серьезно болен, так как неожиданно для всех бросил учиться и потерял всякий интерес к жизни. Меня направили к психиатру. Я не очень четко знал, как следует себя держать, чтобы ввести в заблуждение врачей. Но чувствовал - нельзя переигрывать. На приеме у врача я мямлил что-то не очень вразумительное, и меня направили в психиатрическую больницу на обследование. Своим товарищам я ни о чем не рассказывал - не так уж приятно прослыть психом. Больница, в которой я оказался, ничем не отличалась от других лечебниц. Больные тихие. На всякий случай я ни с кем не вступал в разговоры, а на все вопросы врача отвечал: "Не знаю". Приглядевшись к больным, я понял, что они какие-то странные: беспричинно смеются или плачут, беспричинно ругаются или дерутся. Один объявил себя величайшим грабителем в мире, другой невнятно, но настойчиво стремился обучать какому-то предмету всех, кто лежал с ним в одной палате или с кем встречался в коридоре. Больным полагалось клеить конверты или разматывать веревки. Это называлось "трудотерапией". Она показалась мне унижительной, и я отказался работать. Последовало наказание - лишение книг. Но я предусмотрительно спрятал принесенные из дому "Илиаду" Гомера и учебник английского языка. Кормили, по моим тогдашним понятиям, плохо, и я несколько дней не притрагивался к пище. Пребывание в больнице явилось, по существу, моим первым опытом длительной изоляции, первой попыткой в таких условиях сохранить нормальный образ жизни. Отцу разрешили навестить меня. Он принес с собой маленький радиоприемник, и нам удалось услышать Израиль. На какое-то время я забыл, что нахожусь в мертвом доме.

Промахов я не допускал. Комиссия вынесла решение о моей непригодности к военной службе и в то же время не признала меня умалишенным. Победа! Мне не придется быть солдатом во вражеской армии. Кроме того, положение невоеннообязанного увеличивает шансы на выезд в Израиль.

В этот напряженный для меня период жизни я решил приступить к изучению Торы и начал регулярно молиться в синагоге. В то же время не прекращал своей сионистской деятельности. С отъездом рижских сионистов в Израиль ослабели наши связи с сионистами других городов России. Дов Ригер поехал в Москву, где встретился с Давидом Хавкиным, отсидевшим до этого пять лет за сионизм, и с архитектором Виталием Свечинским. Ригер договорился с москвичами о необходимости собраться всем вместе и обсудить насущные вопросы сионистского движения. Мы колебались, опасность была очевидной. Тесная связь между городами могла погубить всех нас. Единая организационная структура может связать

инициативу отдельных групп и приведет к инертности их участников. Кроме того, мы опасались, что за идеей объединения может скрываться простое стремление некоторых активистов к лидерству. В результате решили поддержать предложение о встрече, ограничиваясь лишь обменом информацией без установления организационных связей между городами. 16-17 августа встреча состоялась. В Москву съехались евреи из Ленинграда, Минска, Тбилиси, Киева; Ригу представляли Илья Валк и Дов Ригер. На совещании обсуждался вопрос об издании сборника материалов о положении евреев в СССР, а также о размножении имеющейся литературы. Для поддержки регулярной связи между городами и координации планов создали Всесоюзный координационный комитет (ВКК).

Из рассказов наших товарищей, побывавших на этом совещании, создалось впечатление, что московские сионисты слабо связаны между собой; в противовес им ленинградские казались образцово организованными. Там, еще в 1966 году, был создан сионистский комитет, куда входили Бутман, Могилевер, Дрейзнер, Черноглаз, Шпильберг, Каминский и другие. Благодаря им в Ленинграде действовала целая сеть ульпанов, являвшихся не только кружками по изучению иврита и еврейской истории, но и, по существу, еврейскими культурными центрами. Ульпаны, кроме того, готовили преподавателей иврита. В 1968 году ленинградец Аарон Шпильберг переехал в Ригу и передал нам свой опыт работы в таких ульпанах. Через год мы создали свою, рижскую сионистскую организацию, которую возглавили Русинек, Цейтлин, Шпильберг и Валк. Однако она не имела четкой структуры: мы полагали, что организационные рамки могут помешать конспирации и представят определенную опасность для участников организации. Мы готовы были к борьбе, но вместе с тем искали и открытых путей выезда - через ОВИР. Так, я пошел на прием к начальнику рижского ОВИРа и попытался ему объяснить, что наша семья никакой ценности для советской власти не представляет и поэтому нам следует выдать разрешение на репатриацию в Израиль.

- Судите сами, - доказывал я ему, - четыре женщины, больной отец, перенесший два инфаркта, и я, невоеннообязанный, да к тому же и без высшего образования.

Мои доводы, конечно, его не убедили. Полковник Кайя, начальник ОВИРа, пожилой седой латыш, задерганный осточертевшими ему евреями, обрушил на меня весь свой чиновный гнев:

- Что вы сюда таскаетесь, - кричал он на меня, - тут вам не базар и не синагога! Забудьте о своем Израиле! Умрете и сгниете здесь, в России!

В этом его высказывании сквозила и личная неприязнь к евреям. Я понял, что единственно реальным путем приближения к цели были активная борьба и вера в Бога. Мендель Гордин достал мне Танах с параллельным русским переводом, и я начал изучать Священное Писание. Конечно, это можно было делать у кого-нибудь дома, но мы решили - открыто, в синагоге. В этом был известный риск. Раввина рижская синагога не имела, но власти приставили к ней еврея, которому, по слухам, за какие-то махинации грозила тюрьма. Чтобы спастись от нее, он согласился руководить синагогой, что включало и доносы. Он вел себя довольно развязно и неуважительно

к верующим. Появлялся в синагоге в субботу в середине молитвы, не стесняясь заявлял, что приехал на машине, мешал молящимся, громко затевал с ними споры. Никто не сомневался в том, что он доносит КГБ обо всем, что происходит в синагоге.

Между тем мы стремились создавать ульпаны по типу ленинградских. Особенно старался Саша Друк. Едва услышав о молодых людях, проявлявших интерес к Израилю, он сразу связывался с ними и подыскивал им учителей иврита из числа тех, кто до 1940 года учился в еврейской гимназии. Если новые знакомые вызывали доверие, он предлагал им поработать в Румбуле, размножить и распространить литературу, принять участие в каком-нибудь вечере.

Однажды Саша познакомил меня с восемнадцатилетним студентом политехнического-института. Парень рассказал о драке между русскими и еврейскими студентами. Причем, в этой драке тяжело пострадал еврей. Это происшествие натолкнуло меня на мысль собрать информацию о положении евреев в Союзе. Тогда-то я и составил вопросник, включавший сто двадцать пунктов, касавшихся многих аспектов жизни советских евреев: антисемитизм, насильственная ассимиляция, антиизраильская пропаганда "сверху", ограничения в приеме на работу, в институты и т. д. На одном из наших совещаний мы обсудили содержание этого вопросника и предложили рассмотреть его на координационном комитете. Потом Саша зачитал текст листовки, в которой мы призывали евреев на предстоящей в 1970 году переписи населения в качестве родного языка указывать еврейский. Но совещание координационного комитета в Киеве, как намечалось ранее, не состоялось. Появились серьезные опасения, что КГБ в связи с делом Бориса Кочубиевского ведет наблюдение за киевскими активистами алии. Поэтому в январе 1970 года ограничились только заседанием издательского совета, в Риге. Предстояло избрать редактора самиздатовского органа. На эту должность рекомендовали рижанина, всеми уважаемого человека, бейтаровца в прошлом. Однако он отказался, и тогда предложили мне. Я тоже пытался отказаться: молод и нет профессионального опыта в издательских делах. Но тем не менее на моей кандидатуре настаивали, и мне пришлось согласиться.

В 1969 и 1970 годах оживилась еврейская жизнь в Риге. Благодаря Рут Александрович в Ригу попали десятки учебников иврита, переснятые в Новосибирске. Эзра Русинек раздобыл пишущие машинки и деньги на перепечатку рукописей. Он устраивал просмотр слайдов, отснятых в Израиле. Однажды я попал на такой просмотр и был поражен тем, что человек, так ярко и живо рассказывавший об Израиле, ни разу там не был. И у меня по-прежнему, как в шестьдесят первом году, тревожно замирало сердце от одной лишь мысли о стране...

А теперь, в 1969 году, снова отмечалась годовщина Рижского гетто. В Румбуле собралось около трех тысяч евреев. И опять я выступал. Говорил о том, что, несмотря на Катастрофу, наш народ жив. Мало лишь оплакивать погибших - могилы в Румбуле обязывают нас извлечь из прошлого урок на будущее. Свое выступление я закончил чтением на иврите стихотворения Альтермана "Серебряное блюдо". Не знаю, многие ли поняли иврит, но одно было ясно: нужна не покорность, а борьба. Когда я кончил читать стихи, наступила тишина - точно все три тысячи евреев, собравшихся здесь, ждали продолжения. Но продолжением могло стать только

действие.

В праздник Ханука мы распределили между собой обязанности зажигания свечей в Румбуле. Мой день был восьмым. Темным выюжным вечером через завалы снега, достигавшие человеческого роста, я добрался к памятнику и окоченевшими от мороза руками зажег свечи. Теперь можно читать благодарственную молитву "За чудеса". - Я не вправе упрекнуть мертвых в том, что они шли на смерть, не сопротивляясь. Я не вправе задать им вопрос "Почему?". Но я должен спросить себя: "Почему я не сопротивляюсь?"

В ноябре 1969 года под Ригой, на заброшенной даче, собралось очередное заседание координационного комитета. Обсуждались текущие дела, направление и тематика самиздата, связь с отдельными группами. Ригу представляли Шпильберг и Ригер. Решили поддерживать открытые коллективные обращения, адресованные в советские официальные инстанции или западным общественным организациям, с требованием предоставления евреям права на репатриацию в Израиль.

К концу этого года мы, пожалуй, впервые столкнулись и с проблемой личных взаимоотношений. Иначе, видно, и быть не могло, так как в условиях советского режима в движении могли участвовать только сильные люди. Когда их много и они разные, столкновения неизбежны. Порой трудно бывает разобраться, где кончаются общественные интересы и начинаются личные.

В Риге централизация сионистского движения была слабой, поэтому крупных конфликтов почти не возникало. Тем не менее приходилось учитывать и условия конспирации. Так, мы не могли от имени организации что-либо поручать тем, кто в ней не состоял, но сочувствовал нашему движению и принимал в нем посильное участие.

В целях предосторожности всех активистов мы условно разделили на две группы - "алеф" и "бет". В группу "алеф" входили те, кто действовал открыто и был уже известен КГБ. В группе "бет" состояли те, кого органы еще не обнаружили. Я попал в "бет". Как член издательского совета я не имел права публичного выступления ни в печати, ни на митингах. Поэтому я не выступил на массовом праздновании Хануки, не подписывал ни письма двадцати двух рижских отказников генеральному секретарю ООН У Тану, ни письма двадцати семи отказников Косыгину. Эти тексты я слышал лишь по израильскому радио и досадовал на то, что среди подписавших не было моего имени.

Появление открытых писем означало явную конфронтацию с советской властью. Такого прежде не было. Новое заключалось в том, что в открытой борьбе, которую мы начали, отступление невозможно.

Встретил Сильву. Волнуясь, она сказала, что если власти не ответят на их письмо, в котором они просят выпустить их в Израиль, они устроят демонстрацию на Красной площади и не уйдут до тех пор, пока не получат ответа. Всею душой я был с ней.

Да, надо идти в открытую. Время конспиративных действий прошло. Меня поддержал Шпильберг, а Ригер не согласился. Так мы и не смогли договориться, и я решил совместить несовместимое: задачи "алеф" и "бет".

Седьмого января семидесятого года я отправился в Ленинград на первое заседание издательского совета. Хорошо зная состояние финансовых дел нашей организации, я поехал туда по студенческому билету, а оставшиеся деньги вернул в кассу. В целях экономии в поезде я не брал на ночь постели.

Первый раз в жизни я выехал за пределы Латвии. В каждом пассажире я подозревал вора и постоянно ощупывал свои карманы, набитые статьями для первого номера будущего издания - "Итон-1". В этот первый номер шли мои статьи: об ассимиляции, о восстании в Варшавском гетто и о праздниках Пурим и Песах.

Говорили, Ленинград - самый красивый город России. Мне он показался чужим и холодным. Позвонил по телефону, номер которого выучил на память, и произнес два слова: "Рома приехал". Это был наш код: имя давалось по первой букве города, из которого прибыл представитель группы. Вскоре на квартире у Виктора Богуславского я уже беседовал с Малкиным, московским математиком, и ленинградцем Львом Львовичем Коренблитом, кандидатом физических наук. Их удивила моя молодость. Мне и самому казалось, что я слишком молод для такой должности. Не выходя из дома, мы проработали сутки. Обсуждался ряд проблем, по одной из них возникли разногласия. Я утверждал, что Израиль должен быть готов принять всех евреев мира. Моим новым знакомым это утверждение казалось чересчур радикальным. Они считали, что надо сохранить влияние еврейских общин в Америке и Европе. Я возражал: если все евреи, собравшись в Израиле, построят сильное государство, то никакая поддержка галута не понадобится. Моя юношеская категоричность им пришлась не по душе, но когда перешли к обсуждению материалов первого номера нашей газеты "Итон", они услышали другое: я высказывался за сдержанный тон статей, полагая, как и мои товарищи рижане, что не следует увлекаться критикой советского строя. В отличие от нас многие "русские" сионисты, вышедшие из демократического движения и поэтому в какой-то степени выражавшие его взгляды, настаивали на критике советского режима. Я считал, что наши статьи должны быть выдержаны в нейтральном духе. Главное в них - актуальная информация о положении евреев в России и о жизни в Израиле.

После окончания работы я поехал в ленинградскую синагогу. Ее здание было когда-то красивым, но теперь пришло в упадок. Я молился: "Как прекрасны шатры твои, Яаков!" Да, вид ленинградской синагоги заставлял думать, что наши шатры могут быть прекрасными только в Израиле.

Вернулся в Ригу с материалами для первого номера "Итона". Для перепечатки статей - а в одну закладку нужно было вложить одиннадцать экземпляров - требовалась тончайшая папиросная бумага. И мы покупали ее с большой осторожностью, боясь вызвать подозрения продавцов. Покупка машинки и перепечатка тоже дело нешуточное. Говорят, что оттиск шрифта каждой машинки, поступающей в продажу, имеется в КГБ. Поэтому выследить по шрифту - пустяковое дело. Работа продвигалась с большим трудом. Машинисткам надо платить, а у нас денег не было.

Да и не каждой можно доверять. Поэтому печатать приходилось самим, т. е. очень медленно. Мне, например, на перепечатку одной страницы требовалось сорок минут. Конечно, качество машинописи оставляло желать много лучшего. Но как бы то ни было, мы печатали сами и отпечатанные экземпляры, а их было немного, переплетали и отдавали знакомым. Однако становилось ясным, что необходима множительная аппаратура. Дов Ригер предложил делать тираж фотоспособом при помощи контактной печати или светокопирования. Для этих целей нужен был сушильный аппарат. Комната Миши Шепшелевича, у которого кроме хорошей головы были еще и золотые руки, превратилась в настоящую мастерскую. С радиозавода, на котором я работал, вынес детали и не без риска принес их к Мише. Он собрал аппарат, но его нужно было перевезти туда, где мы намеревались тиражировать "Итон". В час ночи мы занялись транспортировкой. Мать Миши, глядя на наши приготовления, всплеснула руками: "Вы с ума сошли! Кто же делает такие вещи ночью?" И, правда, ночью, на пустынных улицах, можно вызвать подозрение. Но мы ее не послушались и потащили проклятый ящик в условленное место. И вот, почти у самой цели, отломилась ручка ящика, за которую мы держались. Вдруг из-за угла выезжает милицейская машина - прямо к нам. Останавливаемся. Ждем. На самом дне ящика - широкая пленка с полным текстом отснятого "Итона". Сержант грубо спрашивает, кто мы такие и что несем. Миша отвечает лениво, точно нехотя. Милиционер лезет в ящик. Сейчас достанет пленку - и мы влипши. Но Миша хватается за руку:

- Куда полез? Говорю тебе, там фотоглянцеватель. Сломаешь - заплатишь!

Милиционер умерил свой "сыскной пыл", но потребовал документы. Делать нечего - я достаю удостоверение. Выписывает в книжечку мои данные. Уезжает. У Миши не потребовал документов. Может, обойдется. Наконец мы на месте. Дов уже совсем извелся от ожидания. Сама мысль об аресте приводит его в нервное состояние, но рассказ о нашей встрече с милицией выслушал довольно спокойно.

С утра принимаюсь печатать сорок фотолистов. Они получаются какие-то серые и грязные. Ведь это моя первая работа. Химикалии сам покупал, сам взвешивал, возможно, не совсем точно соблюдая пропорции. От постоянной работы кожа на руках стала темно-коричневой и слезала клочьями.

- Самиздат что ли печатаешь? - шутили знакомые.

Вот так шутки!

Печатали вчетвером. Один сидел в ванной комнате, где находился ящик для контактной печати, второй проявлял и закреплял фотокопии. Двое других занимались сушкой и иногда подменяли уставших. Мы вкалывали как одержимые. Щелкало реле контактного аппарата, в больших посудинах плавали фотостраницы. Сушильный аппарат, стоивший нам таких трудов и риска, не справлялся с нагрузкой. Миша выдвинул передовую идею сушки "половым" методом - на полу. Идею воплотили в жизнь: выстелили полы номерами "Итона". Ноге негде было ступить, но зато к ночи все закончили. Это была поистине халуцианская работа - с полной отдачей сил и

времени. Я вспоминал, как Трумпельдор¹² говорил о своем идеале сиониста: сионист - это человек, из которого можно сделать и солдата, и крестьянина, и врача. Он готов на все в зависимости от того, что прежде всего необходимо народу...

Мы уже почти забыли о нашем ночном приключении, как милиция напомнила о нем. Недели через две я получил повестку: явиться в отделение милиции. Родители встревожились, а я не мог сказать им всей правды. Однако мое объяснение звучало вполне правдоподобно: шел с чемоданом самиздатовской литературы, остановил милиционер и потребовал документы. Чемодан не только не забрали, но даже и не открыли. Вот и все. Папа уже знал, что я занимаюсь самиздатом. Он не представлял лишь, в чем конкретно заключаются мои занятия. Конечно, он понимал, что за это могут посадить. И все же он не мешал. Просил только быть осторожнее. Он беспокоился и за меня, и за всю нашу семью. Ведь мои сестры тоже изучали иврит, печатали материалы самиздата, дружили с активистами алии. Это были Залмансоны, Гринманы, Валки, Русински, Камайские, Хнохи... Попадая в такие семьи, ты как бы оказывался в маленьком Израиле.

Итак, я отправился в милицию. Надел свой лучший костюм - хотел выглядеть уверенным в себе и спокойным. Комната следователя завалена радиодеталями. Я понял, что меня вызвали по поводу хищений с радиозавода. В городе по дешевке можно было купить радиоприемники и всевозможные детали к ним. Рабочие, несмотря на строгий контроль, умудрялись проносить их через проходную. Мы с Мишей попали в число подозреваемых. Не так уж страшно. Я успокоился и изложил свою версию: когда я гулял ночью по городу, меня остановил какой-то парень и попросил помочь донести ящик. Потом нас задержала милиция. Я предъявил документы, а неизвестный - нет. Как только скрылась милицейская машина, я ушел от этого подозрительного типа. Кто он и куда нес ящик - не знаю. Следователь, конечно, не поверил "байкам", - как он назвал мое объяснение, - и потребовал говорить правду. Я заверил его, что это самая правда и есть. Меня трудно было сбить с толку, потому что свою версию я продумал до мельчайших подробностей. Я настаивал на своем, и меня отпустили.

В последнюю весну моей рижской жизни Боря Пэнсон, работавший на заводе художником-оформителем, предложил устроить пуримшпиль¹³ прямо в синагоге. Я написал стихотворный сценарий, а Боря готовил декорации и костюмы. Артистами были ученики ульпана, в котором преподавал Саша Друк. В сюжете пуримшпиля я стремился объединить прошлое и настоящее, не обходя молчанием и нынешних "верноподданных" евреев. В это время в печати публиковались "письма трудящихся граждан еврейской национальности", заверявших, что не Израиль их родина, а Россия... Артисты усердно зубрили свои роли, но вдруг все сорвалось. Наш Ахашверош¹⁴ проболтался своей бабушке о пьесе. Рассказал ей и об обстановке на репетициях, которые проводит Гесья Камайская, и о доме, где собирается молодежь, и о чем там говорят, и как спичкой закрепляют телефонный диск, чтобы избежать подслушивания. Бабушка, старая большевичка, явилась к Гесе с ультиматумом: отменить пуримшпиль, иначе она сообщит, куда следует. Пришлось принять ее условия. Но она все равно донесла.

В день Пурим в синагоге появился наряд милиции во главе с полковником. Он

прервал чтение "Мегилат Эстер"¹⁵ и деловито осведомился: "Здесь никто не хулиганит?" - Никто. Арестовывать было некого, но пуримшпиль не состоялся. К таким вещам мы привыкли. Как-никак живем в Союзе. Малодушие, пугливость, нерешительность тоже не были редкостью. Однажды член нашей группы, Арье Хнох, познакомил меня со старшекласником Мишей. Он был неплохим чтецом и мог бы вместо меня выступить в Румбуле. Мы говорили с Мишей об Израиле, я читал ему Бялика и, уходя, оставил сборник стихов поэта. Но через несколько дней Миша вернул мне книгу - в Румбуле он не поедет. Причины не объяснил. То ли сам испугался, то ли родители запретили - не знаю. Провожая его домой, я нарочно повел его через квартал, где во время войны было еврейское гетто. У здания бывшего "юденрата" я заметил: "Когда одних евреев убивали в Румбуле, другие рассчитывали уцелеть в этом здании, но и они погибли. И ты надеешься отсидеться? Не выйдет!" - В ответ он завел что-то о Ленине и строительстве коммунизма...

Через год после очередного отказа мы вновь подали документы в ОВИР. Надежд, правда, никаких, но все равно подавать надо - власти не должны забывать о нас. После второй подачи в конце февраля 1970 года меня уволили с работы. Я не огорчился - голова была занята совсем другими делами. Я диктовал Сильве Залмансон статьи для второго номера "Итона". Мы подружились с ней и часто обсуждали наши материалы. Конечно, мнение читателей об "Итоне" меня очень интересовало. Я прислушивался к каждому отзыву, из которого черпал убеждение в необходимости этого издания.

В еврейском движении участвовала молодежь. Вполне естественно, что частые встречи и общность интересов способствовали образованию молодых семей. Сам я не только не допускал мысли о женитьбе, но и о простом знакомстве с девушкой, с которой можно было бы проводить свободное время. Я был слишком увлечен своей работой. Она составляла тогда смысл моей жизни. Каждое утро я просыпался с чувством праздника в душе, с сознанием, что живу в счастливое время: у меня есть мечта, цель и смысл жизни.

С Эдиком Кузнецовым я познакомился на ханукальном вечере у Сильвы. От Рут Александрович я знал, что Эдик как политзаключенный семь лет отсидел в лагерях, освободился и теперь хочет перебраться в Ригу. Отсюда он попытается уехать в Израиль. Я уважал этого мужественного человека. Простой в общении, начитанный и умный, он нравился мне, и я старался чаще встречаться с ним. В первую нашу встречу он сказал, что еще в лагере решил уехать в Израиль. В середине февраля Сильва передала мне просьбу Эдика зайти к ним. Я пришел. Он врубил на полную катушку радиоприемник, и после этого началась беседа.

- Ты хочешь бежать отсюда, даже если придется рискнуть жизнью? - спросил он меня. Не раздумывая, я ответил:

- Конечно!

Эдик не ожидал такого быстрого ответа.

- Да ты не спеши, дело серьезное. Обдумай все хорошенько. Скажешь через пару дней!

- Слушай, - возразил я. - Об этом я думаю все время. Несколько дней ничего не изменят в моем решении!

И Эдик раскрыл мне свой замысел: захватить самолет и перелететь на нем через границу. Есть летчик, еврей, бывший майор ВВС. Во время рейса Ленинград-Мурманск этот летчик займет место пилота и поведет самолет в Швецию. Я еще раз подтвердил свое согласие. Наконец-то найден выход - бежать из этой тюрьмы. Ушел я от них окрыленным. Поделился с Ригером. Он, хотя и не собирался присоединиться к нам, принялся подробно обсуждать предстоящий маршрут. Боясь, что друзья могут пострадать из-за связи со мной, я предупредил их о намерении бежать и сдал свои "дела". Думал ли я пожертвовать собой ради тех, кому предстояло впоследствии покинуть Союз? Конечно, я понимал, что такая отчаянная операция, которую мы задумали, привлечет к себе внимание свободного мира. Я понимал также, что шансов на успех немного - могут и арестовать, и убить в самолете или сбить в воздухе. Но ждать сложа руки тоже невозможно - надо действовать.

В конце апреля я зашел к Сильве и застал у нее Эдика. Он беседовал с каким-то незнакомым человеком.

- Это наш шофер, - представил его Эдик.

С первого взгляда пилот, Марк Дымшиц, мне не очень понравился: мрачный, молчаливый и резкий. Эдик попросил показать Марку город. Мы пошли. Стоял жаркий день, а на моей голове берет. Марк подтрунивал надо мной. Пришлось объяснить, что это не прихоть, а соблюдение религиозных обычаев. И тут я почувствовал, что наш "шофер" окончательно засомневался во мне. Очевидно, он считал, что верующий не способен участвовать в боевом деле. Его сомнения, должно быть, усилились, когда я привел его в синагогу. Здесь я понял, что Марк впервые в жизни и крайне неохотно туда идет. Я заставил его надеть кипу. С большой опаской, как если бы вход был заминирован, он вступил в помещение. Не успел я приступить к объяснениям, как подошел старик-шамаш и спросил Марка:

- Вы не здешний?

Марк утвердительно кивнул.

Но старик не отлипал:

- Вы из Ленинграда?

Это было уже слишком. Марк рванулся прочь:

- Водишь тут меня по разным местам, пока КГБ не выследит!

Тогда я повез его за город, в лес, и там, в тишине, мы принялись обсуждать варианты побега. Новый план был такой: на пригородном аэродроме ночью захватить АН-2 - самолеты этого типа не охраняются. Договорились, что в середине мая Эдик с Сильвой отправятся на разведку.

Чем ближе я узнавал Марка, тем больше он мне нравился. Он родился в Харькове, учился в летном училище, потом служил в авиационном полку. По службе продвигался быстро и в тридцать пять лет дослужился до командира полка. Но военная карьера его не прельщала. Он был влюблен в небо. Я читал в книжках о людях, которые не могут жить без неба, но не ожидал, что сам встречу такого человека. В армии развились его природные качества: решительность, смелость, строгость, верность делу и друзьям и неприязнь к болтовне. Он не получил никакого еврейского воспитания, не понимал идиша, но сохранил в памяти еврейские песни, которые пела ему в детстве мать. Его демобилизовали в 1963 году. Навсегда разлучили с небом. Он пытался остаться в авиации - в Бухаре; но не мог жить за тысячи километров от своей семьи и вернулся в Ленинград. Там его не принимали на работу: в авиации для евреев существовала процентная норма. Началась Шестидневная война. Марк читал только "Правду". И все же он почувствовал, как дорог ему Израиль, над которым нависла смертельная опасность. Любой ценой он готов был вырваться из России. И, конечно, летать. Ему всего сорок, он крепок здоровьем, у него большой опыт военного летчика. Так две мечты слились в одну: вернуться в небо и жить в Израиле. Летать в небе Израиля.

Что же отличает деятельную мечту от пассивной мечтательности? Возможно, настойчивость, с которой осуществляется мечта. Марк принялся изучать иврит. Первым его преподавателем был Гилель Бутман, член комитета ленинградской сионистской организации. Марк долго приглядывался к новому знакомому и в конце концов решил поделиться с ним планом угона самолета. Гилель план поддержал, однако ленинградцы выступили против. Они ориентировались преимущественно на легальную просветительскую деятельность и на выезд из СССР официальным путем.

Рижане были настроены иначе. Я предложил участвовать в побеге Менделю Гордину, Алику Соболеву, Леве Эльяшевичу, Борису Пэнсону и Арье Хноху. Этих людей мы хорошо знали. Даже если откажутся, они нас не предадут.

Особенно большое значение я придавал разговору с Менделем Гординым. Он по-прежнему оставался для меня авторитетом. Я рассчитывал на возможность его личного участия в предстоящей операции. Я очень считался с его мнением. В недавнем прошлом врач-терапевт, он теперь работал в лаборатории венерологического диспансера. После неоднократного невыхода на работу в еврейские праздники, а затем и отказа от советского гражданства его уволили с работы и предложили эту должность - другой для него не нашлось. Я позвонил ему, и он сразу же вышел ко мне. Видимо, по голосу понял, что речь идет о чем-то серьезном. Я задал ему три вопроса: Хочет ли он участвовать в угона самолета? Верит ли он в успех операции? Не принесет ли она вреда советским евреям и сионистскому движению? На первый вопрос он ответил отрицательно. Он выбрал для себя свой путь борьбы, когда отказался от советского гражданства. Его ответ на второй вопрос сводился к тому, что слишком много людей посвящено в наши планы и вследствие этого не исключено, что в КГБ все уже известно. На третий вопрос он ответил так: если мы примем меры предосторожности, осуществление нашего замысла в целом не навлечет беды на евреев.

Беседа с Менделем утвердила меня в решении продолжать подготовку к побегу.

Арье Хнох и Борис Пэнсон сразу же согласились с моим предложением. Лева Эльяшевич попросил дать ему время подумать. Все не так просто: он, активист сионистского движения, отказался от советского гражданства. Теперь ему грозил призыв в армию. Надо как следует взвесить. Алик Соболев выдвинул весьма специфическую, если не парадоксальную причину отказа: поскольку все собранное и написанное им в области научной критики марксизма невозможно взять с собой при побеге, то и бежать из Советского Союза он не может. Эти отказы не смутили, хотя и удивили меня.

Мои переговоры с рижанами совпали со знаменитой конференцией "дрессированных" евреев, передававшейся по телевидению и по радио. Видные деятели науки и культуры заверяли граждан СССР, что у них, евреев, нет ничего общего с Израилем и они "гневно" осуждают международный сионизм. В ответ на такое заявление появились коллективные письма еврейских активистов Москвы, Ленинграда и Риги. Моя подпись тоже стояла под этими письмами, хотя я как член группы "бет" не имел права подписываться под подобными обращениями. Но я не думал о риске. Все это было пустяком по сравнению с тем, что предстояло осуществить. Кроме того, я решил предпринять еще одну полулегальную меру для получения визы на выезд из СССР: обратился с просьбой к израильскому представителю в ООН, чтобы он добился для меня права на репатриацию в Израиль. Правда, Илья Валк считал, что эта моя "просьба" слишком резкая, надо бы осторожнее. Он не знал, что я решился на более опасный шаг. Но я не представлял собой исключения. Многие евреи вели себя подобным "безрассудным" образом. Однажды мы с Аароном Шпильбергом, собирая подписи под письмом с требованием разрешить выезд из СССР, попали к одному пожилому еврею. Аарон объяснил ему причину нашего прихода. Тот молча, не читая, подписал, а потом попросил: "Покажи-ка, что там написано". Такой тогда был настрой.

Между тем, несмотря на отрицательное отношение ленинградцев к самолетной операции, ее обсуждение продолжалось. Я и понятия не имел, как усложнились отношения между ленинградскими сионистами. Давид Черноглаз, возмущенный тем, что Бутман без ведома организации вел переговоры о побеге, в знак протеста вышел из комитета. Владик Могилеввер, несмотря на неодобрение операции, счел возможным выделить Дымшицу пятьдесят рублей для пробного шага: выяснить возможность осуществления плана. На эти деньги Марк купил билет на ТУ-124 и во время рейса вошел в кабину летчика, прихватив с собой бутылку коньяка. Так он убедился, что к пилоту можно пройти, не применяя насилия, - двери кабины открыты. Могилеввер предложил и компромиссное решение: запросить одобрение официальных израильских органов. Бутман написал подробное шифрованное письмо Ашеру Бланку, который уехал из Ленинграда в 1969 году. Могилеввер передал его двум туристам, израильским гражданам, приехавшим в СССР с паспортами стран, в которых жили до репатриации в Израиль, - Норвегии и Швеции. Письмо обнаружили во время таможенного досмотра, изъяли, сфотографировали и вернули туристам. Так оно попало в Израиль. Конечно, трудно было предположить, что в Израиле найдется государственный чиновник, который возьмет на себя ответственность и одобрит план угона самолета. Действительно, 10 апреля Ашер Бланк сообщил по телефону Бутману, что "лекарство может принести вред". Стало ясно, что истеблишмент

относится отрицательно к нашей затее. 20 апреля Бутман и Паша Корен отказались участвовать в плане Дымшица. Бутман, выходя из "игры", посоветовал Дымшицу привлечь к самолетному побегу нескольких неевреев, "чтобы не торчали еврейские уши". Я не был согласен с ним: операция должна носить подчеркнуто еврейский характер. Поэтому я возражал против участия в ней диссидентов Юрия Федорова и Алексея Мурженко, бывших политзаключенных, друзей Эдика. Тем не менее они вошли в группу побега. Таким образом, в предстоящей операции "Свадьба" из ленинградцев никто кроме Дымшица и его семьи не участвовал. Из рижан - Толя Альтман, Мендель Бодня, Вульф, Израиль и Сильва Залмансоны, Борис Пэнсон, Арье Хнох и его жена, а моя сестра, Мэри, Эдик Кузнецов и я. Из москвичей - Мурженко и Федоров.

Между тем, жизнь шла своим чередом. Приближался Песах, праздник Исхода, который мог стать преддверием моего собственного исхода из Союза. Первый день праздника совпал со столетним юбилеем Ленина.

До революции, в 1903 году, в доме, где мы жили, происходил съезд латвийских социал-демократов, на котором присутствовал Ленин. Поэтому теперь наш дом объявили "ленинским" и с "ленинской помощью" его подремонтировали, покрасили, провели теплую воду. Для восстановления исторической обстановки прорубили второй выход во двор. Для меня это было очень удобно: я проходил через три двора и выходил на другую улицу. Теперь никто не смог бы меня выследить. В свой "ленинский" дом я притащил свежую порцию самиздата - книгу Солженицына "В круге первом", переснятую на толстую фотобумагу. Она весила несколько килограммов. Благодаря этой книге я узнал для себя много полезного о следствии, следователях и лагерной жизни. Все это могло пригодиться - ведь я вполне серьезно готовил себя к худшему. Да, готовил. Я даже заучивал даты еврейского календаря, чтобы в тюрьме знать, на какие числа приходятся еврейские праздники.

А пока я дома. Отец вел первый седер¹⁶, мой последний седер в отцовском доме.

В синагоге я познакомился с двумя молодыми евреями, приехавшими из Америки, где они преподавали в еврейской школе. Мы с Гординым показывали им Ригу. Во время прогулки они тревожно озирались по сторонам, подозревая в каждом прохожем и пьяном агента КГБ. По-видимому, их предупредили, что возможна слежка. Но тем не менее прогулка по Риге состоялась. Мы показали им Рижское гетто, где теперь в покосившихся домиках жили русские. Нигде не было ни одной мемориальной доски, напоминавшей о страданиях и гибели евреев. Мы проходили через городской сад, разбитый на месте синагоги. Фашисты сожгли ее вместе с находившимися там евреями. Я показал гостям и дом, в котором мой дядя прятал когда-то фамильные ценности. Его жена погибла в Освенциме, а он чудом выжил и после войны сумел перебраться в Штаты. Мой отец не нашел спрятанные в печи ценности - в доме давным-давно жили чужие люди. Прощаясь с американскими парнями, Менахем спросил их, почему они не переселяются в Израиль. В ответ мы услышали что-то неопределенно туманное, вроде: "Когда тяжело - легко, когда легко - тяжело". Один из них и по сей день живет в Америке. Мне это трудно понять. А тогда мы обменялись подарками: я подарил им фото Румбуле, а они мне - чеканный брелок с изображением колен Израилевых. Лет пять назад я был бы счастлив, получив такой

сувенир. Но теперь я нуждался в другом - в учебниках иврита и еврейской истории.

Второй седер я вел у Шпильберга. Собралось около пятидесяти человек из разных городов Советского Союза. Соорудили столы из досок. Израиль Залмансон унес их с военного склада и едва не попался, но все обошлось благополучно. Ева, моя сестра, принесла цимес и гефилте фиш, которые она готовила всю ночь. Увы, только еда и удалась. Многие на седере присутствовали впервые. Чтение Агады казалось им ненужной и скучной процедурой. Не дождавшись окончания, они навалились на еду и завели посторонние разговоры. И это участники национального движения!

Я продолжал заниматься делами организации, хотя весь был нацелен на побег. В Ригу приехали из Ленинграда Коренблит и Богуславский, а из Москвы - Малкин. Предстояло обсудить третий номер "Итона". Он начинал наполняться необходимым содержанием: актуальной информацией о положении евреев в СССР и различными документальными материалами, письмами и заявлениями, обращенными в советские партийные и государственные органы и на Запад. В Москве приступили к выпуску аналогичного издания - "Исход". Его основатели пришли в сионистское движение из правозащитного и поэтому писали в принятой у "демократов" манере балансирования на грани дозволенного. Однако мы называли вещи своими именами, открыто выступая за право выезда. Советская власть, с одной стороны, и Запад, с другой, должны наконец услышать и понять, что еврейство в Советском Союзе живо и оно борется.

Второго мая в Румбуле состоялся митинг, посвященный восстанию в Варшавском гетто. Я не выступал, чтобы не привлекать к себе внимания гебешников. По предложению Бори Пэнсона мы из желтой бумаги вырезали несколько сотен маген-Давидов для раздачи собравшимся. Но их не решались брать. Тогда мы первые прикрепили к своей одежде шестиконечные звезды, и вскоре их все разобрали, многим даже не хватило. Так же обстояло дело и со сбором подписей под требованием разрешить еврейскую театральную самодеятельность. В начале пятидесятых годов в Риге было несколько еврейских ансамблей. Потом их закрыли. И вот теперь мы начали кампанию за их открытие. Но евреи боялись подписывать обращение к властям города. Тогда наша семья подписалась первой, а после этого моя сестра Мэри собрала несколько сотен подписей. Не обошлось и без курьезов. В самый разгар сбора подписей к нам прибежал еврей и умолял вычеркнуть его фамилию. Он не спал всю ночь. Мало ли что может случиться - лучше не надо! Так запуган советский человек. Чтобы просить разрешения петть на идише, тоже нужно мужество.

Судьба Мэри меня тревожила. Ее жених, Арье Хнох, участник предстоящего побега, хотел взять ее с собой. Я был против. Слишком велика опасность. Решили, что он женится и, если все пройдет удачно, пошлет ей вызов.

В Лаг баомер¹⁷ справили свадьбу. Все собрались за праздничным столом. На этой свадьбе я в последний раз сидел в кругу семьи. Поднял тост за свадьбу, за новобрачных и за благополучное прибытие в страну. Веселился я на свадьбе от души, даже пел, хотя начисто лишен музыкального слуха.

На торжестве присутствовали почти все участники предстоящей операции "Свадьба". Не было только Эдика с Сильвой - они отправились в Ленинград на разведку. Результаты неутешительны: самолеты привязаны друг к другу цепями, а ночью аэродром охраняется часовыми с собаками. Да... Шансов на успех мало. Я включил магнитофон и под песни Шестидневной войны крепко задумался. Точно меня за ноги вытащили из самолета, который держал курс на Израиль. Неужели оставаться здесь, в Союзе?

Через несколько дней приехал Дымшиц. Мы вновь принялись искать новые возможности побега. Пока мы их не видели. Между тем Арье Хнох заявил, что теперь, как муж Мэри, он берет ее с собой. Его поддержал Эдик: ведь с Марком летят жена и дочери. Но я представил себе горе родителей, если с Мэри что-нибудь случится. Поэтому, когда речь зашла об участии в побеге моих двух других сестер, Ривки и Евы, я категорически высказался против. Я готов рисковать собой, но ими - никогда.

В начале июня Марк сообщил, что появился новый шанс на угон самолета. Из маленького аэропорта "Смольный" под Ленинградом вновь открылись полеты АН-2 в Приозерск - пограничный с Финляндией город. Сразу же созрел план действий: скупаем все билеты на самолет. Двенадцать мест - двенадцать билетов. После посадки в Приозерске, когда пилот откроет кабину, чтобы выйти, двое наших будут стоять по обе стороны двери и свяжут ему руки. Второй пилот, сидящий спиной к выходу, не успеет вынуть револьвер - его тоже свяжут. Обоих летчиков мы вытащим из самолета, уложим в спальные мешки и оставим в лесу, укрепив над ними брезент с надписью: "Груз военно-воздушных сил". После этого мы возьмем на борт тех, кому не хватило мест в самолете. Дымшиц сядет за штурвал и на высоте, вне досягаемости радаров, направится к финской границе, пересечет Финляндию, Ботнический залив и приземлится в Бодене, в Швеции. Самолет полетит со скоростью 180 километров в час. Продолжительность полета - шесть часов. От Приозерска до границы всего десять минут. Значит, советские истребители не успеют подняться в воздух. Если начнется погоня, то мы сядем прямо на шоссе в Финляндии, а потом сразу же поднимемся в воздух, чтобы сбить преследователей с толку. Если погони не будет, а просто запросят по радио, мы ответим, что самолет захватила группа террористов, пилот вынужден подчиниться их требованиям, так как на его борту женщины и дети. Это, кстати, было бы чистой правдой.

Ребята поверили в успех операции. Фантастический план, разработанный в деталях, казался реальным. Я настоял на том, чтобы Дымшиц на случай схватки с пилотами взял с собой самодельный револьвер, а мы - дубинки и кастет. Летчики на пограничных трассах имеют при себе оружие. И мы, следовательно, имеем право с оружием в руках отстаивать свою свободу. Тем более, что в самолете окажутся только свои, не будет посторонних, которые могли бы невинно пострадать. Нас поставили перед необходимостью на насилие ответить насилием. Поэтому свои действия мы не рассматривали как акт воздушного пиратства.

Восьмого июня в лесу Шмерли мы в последний раз обсудили план побега. По моему предложению Мэри с мужем не вошли в группу захвата, а ждали нас в Приозерске. Вместе с ними туда направлялись Сильва и Боря Пэнсон. Остальные входили в

группу захвата. Моя задача: помочь Менделю Бодне, спортсмену-борцу, связать первого пилота. Израиль Залмансон и Эдик Кузнецов должны справиться со вторым пилотом. Я написал текст "Завещания" (Обращения) о причинах, толкнувших нас на этот отчаянный шаг. Если мы погибнем или нас арестуют, "Завещание" нужно предать гласности.

В лесу вокруг нас слонялись посторонние. Мы смеялись, что за нами, должно быть, следят. Почему-то слежку мы тогда не воспринимали серьезно. Было смешно, что Мэри с Арье ехали на попутной милицейской машине. Все это игра, но игра с огнем. Когда мы возвращались домой, Цви, друг детства Арье Хноха, спросил:

- Тебе не кажется, что не все у вас продумано до конца?

- Оно и хорошо, - беспечно ответил я, считая, что на смелый шаг толкает не разум, а вера.

Цви как-то странно посмотрел на меня, очевидно, подумав, что не стоит связываться с такими легкомысленными людьми. И, действительно, после нашего "совещания" в лесу он уехал на Балхаш и в Ригу так и не вернулся.

Я попросил Дова Ригера предупредить всех членов комитета о предстоящей операции и о необходимости спрятать в надежных местах документы и самиздат. Дату побега я не имел права сообщать. 13 июня первая группа в составе Сильвы, Мэри, Пэнсона и Хноха должна была выехать в Приозерск. Предвидя в дальнейшем обыск, я выносил из дома компрометирующие документы, материалы самиздата, а детали усилителя, которым мы пользовались в Румбуле, выбрасывал на помойку. Однако они немедленно исчезали, и я заподозрил что-то неладное. Очевидно, за мной следили. Спрятавшись за забором, я решил выяснить, кто это был, но никого не заметил и успокоился. Потом мы с Друком пошли к Арье Хноху проверить, все ли чисто у него в доме. Он уверял, что основательно вычистил все. Мы устроили "обыск", в результате которого одной золы выгребли несколько ведер: обнаруженный самиздат пришлось тут же на полу сжечь. Не лучше обстояли дела и у Сильвы. В ящиках стола валялись листовки, обрывки заявлений, черновики писем, самиздат. Я был обескуражен. Ведь каждая такая "находка" давала в руки следствия новые нити, открывала новые связи. Беспечность, видимо, объяснялась полной уверенностью в предстоящем успехе. Я был осторожнее, может быть, в силу своей недоверчивости. Я вынес из дома два чемодана литературы и надежно спрятал все на конспиративной квартире. Через Эльяшевича передал Эзре Русинеку "Завещание" в двух экземплярах и письмо, содержащее подробности плана угона самолета и нашего бегства на нем. Кроме того, в письме перечислялись лица, посвященные в наш план. О последнем документе знал только я, чтобы в случае провала можно было установить его причину.

Я размышлял о мотивах такого отчаянного поступка, как тот, на который мы отважились. Один из них заключался в чувстве принадлежности к еврейству и в вере в Б-га, другой - в свойствах характера, приводящих человека к расторжению связей с обществом, которое ему чуждо и враждебно. Какой мотив преобладал в моем

случае? Я хорошо учился, работал, имел верных друзей... Пожалуй, решающей была для меня первая причина. Я действовал прежде всего как еврей. А остальные? У каждого своя причина, у некоторых сочетались обе.

Утром 14 июня я встал рано. Все было в последний раз: и домашний завтрак - хлеб с творогом, и стол, за которым спокойно сидел отец... Ни словом, ни жестом я не смел выдать себя, дать понять, что, может быть, мы больше никогда не увидимся. Я ушел, не оглядываясь...

Был день выборов в местные советы, когда по условиям советской игры в демократию одна-единственная кандидатура проходит непременно, при любом числе голосов. Голосовать обязаны все. Агитатор, общественный дежурный, не может уйти домой, пока на его участке не проголосуют все избиратели. К вечеру он обегает квартиры еще не проголосовавших и умоляет сходить на избирательный участок, проголосовать. Чтобы избавить отца от посещений агитаторов, я заранее взял так называемый открепительный талон, дающий право голосовать в другом месте. Чаще всего им пользуются, чтобы не ходить на выборы вообще. Так я и сделал. Объяснил, что уезжаю к другу на свадьбу. Это было почти правдой. Ведь нашу операцию мы назвали "Свадьба".

В магазине я купил сухари, шоколад и бутылку кефира. Если самолет приземлится в Финляндии, которая имеет договор с СССР о выдаче перебежчиков, то нам придется идти лесом в Швецию. Пришел к Залмансонам. Вульф и Израиль посмеялись над моим "продуктом", кефиром. "Коньяк и водка для такого случая подошли бы больше", - шутили они, но я защищал свой любимый напиток. Вульф Залмансон внутрь радиоприемника спрятал свое прощальное письмо к отцу: будет менять батарейки - найдет. Однако на следующий день письмо нашли сотрудники КГБ, производившие обыск.

Время шло. Мы вызвали такси - в аэропорт. Из окна машины я вел наблюдение за улицей. Играл детектива. Но игра вдруг приняла серьезный оборот. За нами неотступно следовала "Волга". В ней сидел начальственного вида мужчина в синем костюме. На железнодорожном переезде наше такси задержалось у шлагбаума - проходил поезд. Мужчина в синем вышел из машины, направился в диспетчерскую будку, а затем, когда шлагбаум подняли, сел в свою "Волгу" и поехал вслед за нами. Так мы и доехали вместе. Я поделился своими подозрениями с ребятами. Они посмеялись над моей шпиономанией. Но войдя в салон самолета, я обнаружил "синий костюм" впереди себя. При посадке в Приозерске с нашим самолетом что-то случилось. Моторы работали вовсю, а пассажиров не выпускали. Примерно через час из кабины вышел пилот и объяснил, что не может остановить моторы. Странно: ведь достаточно отключить подачу бензина. Не слишком ли много странностей для одного дня?

Наконец подали трап. Я бегу за такси. Наша встреча с остальными членами группы назначена на пять часов. Мы опаздываем. У входа в зал ожидания сталкиваюсь с Ригером. Он возвращается из Ленинграда в Ригу после очередного заседания координационного комитета. На ходу бросаю ему "леитраот"18, надеюсь, что он

поймет, зачем я здесь и куда собираюсь. Но он не догадывается. На стоянке такси огромная очередь. Снова задержка! Вот и "синий костюм"! К нему подруливает "Волга", и он отчаливает на ней с видом человека, исполнившего свой долг.

Мы едем в такси по городу. Высокое серое здание. "Управление КГБ", - поясняет шофер. "Надо как-нибудь сюда заглянуть", - шучу я в ответ, не предполагая, что эта моя шутка окажется роковой. Назавтра я действительно попаду в этот дом и пробуду в нем довольно долго.

Замкнулось первое звено. Впереди целая жизнь, полная невероятных, с точки зрения моего прошлого, событий. Впереди мир тюрем, лагерей, этапов, незабываемых встреч и необычайных судеб. Но главным для меня станет встреча с самим собой, познание себя и постижение воли Б-га.

Операция "СВАДЬБА"

Глава вторая: СЛЕДСТВИЕ И СУД

Я вздрогнул от неожиданности: на противоположной стороне аллеи Герцля, в центре Иерусалима, 20 октября 1981 года стоял и озирался по сторонам мой старый знакомый Леша Сафронов. По всем моим подсчетам получалось, что место ему сейчас за тысячи километров отсюда, в уральских лагерях для политических. Но за Лешей водилась давно уже мне известная способность перевоплощаться - быть одновременно везде и нигде. Тогда, около двух лет назад, возвращаясь тайком с утренней молитвы, я прямо перед собой у лагерного забора увидел Лешу в его линялой майке. Но в тот раз оказалось, что это был вовсе не Леша, а лагерный сварщик, Василий, который по неясной причине позволил Леше принять свое обличье. Можно, конечно, допустить, что в ранних сумерках, да еще без очков я просто обознался. Но теперь, в Иерусалиме?.. Опять видения прошлого? Леша - мой сокамерник. За все десять с лишним лет наших совместных скитаний по лагерям и тюрьмам я так и не мог привыкнуть к загадочности его русско-татарской природы. Томил он меня ею. Отец наш небесный не случайно поместил Лешу рядом со мной: мне предстояло смотреть и поражаться, как подделка трудно отличима от подлинника, и приложить столько усилий для того, чтобы самому не стать подделкой. Ведь мало решить "быть хорошим" и даже недостаточно иметь силы, чтобы выполнить это решение. Надо еще точно представить себе, каким именно ты хочешь быть. Иными словами, нужно в деталях "вычертить" и "построить" себя. Нужно иметь план храма, который предстоит воздвигнуть в душе.

...Конечно, оказавшись в камере, я первым делом вспомнил о тех, кто сидел в сталинских лагерях до меня. Ведь если они выдержали, то и я смогу!.. Бросившись плашмя на койку, перебирал в памяти всех своих знакомых и забылся в полусне.

Очнулся к полудню. Лежу на сыром соломенном матраце, покрытом грязными пятнами. Солнечные блики на черном асфальтированном полу. И снова мысли - как вести себя в непривычных условиях.

В школе мы проходили о революционерах, томившихся в царских тюрьмах. Их виновность была доказана. Желябова, например, повесили за покушение на жизнь царя; великого вождя пролетариата Ленина посадили за антиправительственную деятельность. В соседней с моей камере, в которой он содержался, - письменный стол, книги и шахматы. Ленин имел право выходить в коридор и беседовать с

товарищами по заключению. Но при социализме в тюремном деле произошел большой прогресс. Письменного стола и книг у меня, конечно, нет. Зато в камеру втиснута тумбочка для хранения продуктов, а для удобства, рядом с тумбочкой - металлический унитаз. В тюрьме, как и во всей стране, жилплощади не хватает. Поэтому в бывшую одиночку ставят две, а то и три койки. Времена не царские. Выйти из камеры нельзя. Она весь день заперта. А как хотелось бы понабраться опыта у арестантов!

Пока меня специально держат одного. В первые дни это особенно тяжело угнетает. Но как в классических романах общаются друг с другом заключенные? Перестукиваются через стенку. Подхожу к стене и стучу. Сквозь откинутый глазок двери раздается:

- Отойди от стены. Перестукиваться запрещено. Все равно там никого нет.

- Да я не стучал, так только...

- Стучал, стучал. Хоть лоб разбей - пользы не будет. Сиди тихо. Скоро обед принесут.

И я сижу тихо, потом вскакиваю и начинаю ходить взад и вперед по камере. Пусто, голо, тоскливо. Под самым потолком - маленькое оконце, закрытое тремя рядами решеток. Первый ряд - царские; второй - сталинские; третий - хрущевские. От каждой эпохи по одному. Через них видны клочок неба, угол крыши соседнего дома и воркующие голуби. Сколько можно на все это смотреть? Мне, должно быть, чужда созерцательность. Постоял, посмотрел - и отошел. Не то, что другие, - те часами могут наблюдать за игрой молодых голубей. Мне же нужна пища для мозга, а не для глаз. Интересно, сколько сейчас времени? Часов нет. Их при обыске отобрал начальник тюрьмы: "Курские? Давно не видел этой марки!" - Вернулись они ко мне только через одиннадцать лет. Определять время по солнцу? Но солнце в камере только с утра. Ставлю кружку под кран и считаю до шестидесяти. Это минута. Повторяю так шестьдесят раз и отмечаю сколько набралось в кружке воды. Теперь каждый час выливать воду - и можно знать время. Но это только в теории. А на практике - кран неисправный, и вода вытекает из него неравномерно. Да и утомительно следить. Поленился - и остался без часов. Пусто и тихо в огромной тюрьме. Все притаились - и заключенные, и тюремщики. Все перевернулось в моей жизни. Тишина - это только обман, попытка следствия создать для меня другое пространство и время, мир с другими понятиями чести, верности и веры. Коварная тактика. По сути дела - настоящая лаборатория, где ставится грандиозный эксперимент модификации человеческого сознания. Я - объект опыта. Меня не пытаются и не бьют, меня просто переместили в иное измерение и в иной мир, не похожий на мой и не приспособленный к человеческой природе. Да, это тишина опытной камеры, в которой каждая деталь тщательно продумана. Желтый цвет стен и потолка, конструкция тюремной двери с ее маленьким оконцем; полная изоляция. Можно сойти с ума, если внутри тебя нет мира, который ты можешь противопоставить этому искусственному и нечеловеческому.

Беда в том, что я еще не знаю своих сил. Поэтому и спрашиваю себя: как выдержать? Как?.. Но нельзя задавать таких вопросов! Это ошибка! Нельзя сомневаться в себе! Нужно сказать: выдержу! Иначе быть не может!

Этот нехитрый секрет открылся мне не сразу. Понадобились долгие годы тюрьмы. Постоянно взвешивать свои возможности и сомневаться в себе - значит уменьшать свои силы. Знать, что выдержишь, значит выдержать. Не бояться по-настоящему можно лишь тогда, когда знаешь, что Б-г - твой спаситель и твоя надежда. Как я жалел тогда, что не взял с собой маленький Танах¹ и Сидур²! Боялся: если найдут при обыске, будет лишняя улика. Кипу я положил в рюкзак. Но ведь я не признался, что рюкзак мой, и теперь я никак не мог ее получить. Старую карту Иерусалима отобрали сразу же при обыске. И вот я остался без всего. Да, совсем забыл! В мешке у меня было еще полкило шоколада и две пачки ванильных сухарей. Ребята, наверно, уже получили свои вещевые мешки и теперь делятся продуктами с товарищами. А я голоден и одинок. Да что они в этой тюрьме, вымерли, что ли?!

Колочу в дверь. Через кормушку с трудом просовывается голова надзирателя. Высота кормушки - сантиметров двадцать, не больше.

- Стучать запрещено. Что надо - нажми кнопку!

И, действительно, смотрю - есть кнопка. Нажимаю. Не звонит. Из стены выпадает металлический штифт. Надзиратель шепотом:

- Чего хочешь?

- Книги!

- Какие?

- Талмуд, Танах, Сидур...

Он впервые слышит такие диковинные названия и молчит.

- Может, у вас есть учебник еврейского языка?

- Ничего такого нет. И вообще, через два дня придет библиотекарь - даст что-нибудь.

Приносят еду: суп, вареный картофель, кусочек рыбы, граммов в пятьдесят. Суп подозрительный. Свинина? А картошку, видно, приготовили без всяких жиров. Поел. Немного полегчало. Хожу по камере, размышляю. Ох, лучше бы не думать!

Представляю, что творится сейчас в Риге, дома... Что мой обыск по сравнению с ужасом домашнего кошмара? Пустяки! Раздели, обшарили, а там...

...Рано утром звонок в дверь. Папа открывает. Входят двое в штатском, предъявляют удостоверения сотрудников КГБ и ордер на обыск. - "Ваш сын арестован по обвинению в совершении особо опасного государственного преступления: измена родине посредством бегства за границу..."

Нет, не уберег я отца, его больное сердце, от этого несчастья. Вот чужие руки лапают наши домашние, согретые семейным теплом, вещи. Как хотел бы я, чтобы отец не так сильно любил меня, чтобы потеря была не так тяжела для него! Знал бы я тогда, какие силы Б-г пошлет моему отцу в эти часы испытаний, мне было бы легче. Мой папа после тюрем и инфарктов вдруг как бы помолодел в горе. Он встал на мое место. Вера в Б-га и любовь ко мне сделали его сильным. А я отчаивался в неведении, не в силах проникнуть в Б-жий замысел... Я поклялся иметь много сыновей и не проявить отцовской слабости, если им придется идти в бой. Я весь был в мыслях о доме.

Но вот захлопали кормушки. Слышу: "Отбой!" Ночью свет в тюрьме не гасят. Ложусь на койку, закутавшись с головой в одеяло - так привык с детства. Надзиратель через кормушку, словно только того и ждал:

- Накрывать с головой запрещено!

- Тогда потушите свет, бьет в глаза!

- Нельзя, а вдруг ты ночью сбежишь?

Свет бьет в глаза, от него не спрятаться. Настоящая пытка. Но усталость берет свое, я проваливаюсь в сон.

Утром возвращают очки. Приносят фунт хлеба и сахар - с наперсток. Затем прогулка. Впервые гуляю в тюрьме. Прогулочный дворик - узкая камера с решеткой вместо потолка. Я один. Каждый заключенный гуляет в своем дворике. Наверху расхаживает охранник. Следит за тем, чтобы не переговаривались и не передавали записок. Нарушителей лишают прогулок. Заниматься гимнастикой можно. Раздеваюсь до пояса. Начинаю бегать: двадцать шагов вперед, двадцать назад. Так бессмысленно мечется зверь, запертый в клетке. Прошибить бы стены головой. Вырваться бы в Израиль! Темп моего бега нарастает. Мечусь как загнанный зверь, и вдруг окрик: "Прекратите бегать! Ходите спокойно!" Валюсь на скамейку. Где ребята? Как связаться с ними? Прислушиваюсь. Ни звука. Начинаю тихонько напевать: "Хевену шалом алейхем..." Самый популярный мотив в Риге. Никто не откликается. И я решаю: пока я здесь, в ленинградской тюрьме, нужно добиться ответа. Безрезультатно! Лишь один раз мне почудился женский голос. Сильва! Я запел громче. Надзиратель немедленно лишил меня прогулки. Четыре стены окружают огромную тюрьму, и ни к одной не прислонишься! Нет ни души, чтобы согреться! Как все уныло и однообразно!

Но вот и разнообразие! Конвой ведет меня длинными извилистыми коридорами в кабинет следователя. Тот сидит за большим столом под неизменным портретом Дзержинского. Меня сажают за маленький стол в углу комнаты. Столик вместе со стулом привинчен к полу, чтобы никто не мог во время допроса запустить эту "мебель" в следователя. Представляется:

- Майор Попов. Следователь по особо важным делам.

Разглядываю его: немолод, внешность невыразительная. Держится сдержанно, сухо. Голос негромкий. Словом, не производит отталкивающего впечатления. Отличается от первого, молодого и напористого, с которым на аэродроме я отказался разговаривать. Тот верил в затверженные догмы, а этот какой-то усталый скептик. Но все это на первый взгляд. Довольно скоро я уловил злое выражение его тонких губ и жесткий блеск глаз за толстыми линзами очков. Одна дужка была сломана - не хватало времени починить. Может, специально носил очки со сломанной дужкой, чтобы этой житейской деталью расположить к себе подследственного? Не знаю! При мне он договаривался с приятелем съездить на охоту. Охота в Союзе - дорогое развлечение, и позволить себе его может не всякий. Следовательно в ранге Попова, конечно, человек не бедный: и зарплата высокая, и закрытые магазины, и особые привилегии.

Говорят, что капитан Мамалыга, занимавшийся делом Якова Сусленского, в рабочее время называл знакомым евреям: "Наум, я пришлю человека за колбасой..." "Мойше, у тебя есть икорка?.." Естественно, что все он получал бесплатно. Не стоил денег и отдых на курорте, где он жил у еврея, которого спас от суда за спекуляцию валютой. Этот проныра и жулик во время допросов любил поучать Якова: "Вот ты всю жизнь мучаешься, справедливость какую-то ищешь. И чего добился? А я высокую должность имею и живу..."

Подобные рассуждения выводили Якова из себя, а следователю это доставляло двойное удовольствие: показать свое умение жить, превосходство над заключенным и психологически травмировать человека, высмеивая моральные ценности, из-за которых того посадили за решетку.

Майор Попов заявил мне на первом допросе:

- Вы скрываете имена своих сообщников потому, что боитесь ответственности.

Конечно, на воле, до ареста, мы подробно обсуждали, как следует вести себя на допросах. Мы знали от Эдика Кузнецова, что сейчас пыток к политическим не применяют. Самое простое, как мне тогда представлялось, - отказаться от показаний вообще. Не называть имен, чтобы не повредить никому. Незадолго до моего ареста в Риге по рукам ходила машинописная памятка "Как вести себя на допросах". Ее написал Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина. Автор, математик по специальности, со скрупулезными подробностями описал все, что может произойти на допросах, и дал массу ценных советов, почерпнутых из собственного опыта.

...Итак, мой первый допрос. Кроме Попова присутствует начальник следственного отдела в чине полковника и прокурор. В любом правовом государстве, в том числе и в советском, существует "презумпция невиновности" подозреваемого. Это значит, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Помимо того, обвиняемый имеет право не давать показаний. Однако не все советские граждане знают об этом. Поскольку адвокат не имеет доступа к подследственному, а последний не знает советских законов, он нередко оказывается игрушкой в руках следователя. Тот обычно требует признание у заключенного, внушая ему, что его первейшая обязанность говорить все, что знает по делу, даже если это ему во вред. За отказ

сотрудничать со следствием или, как говорится в таких случаях, "помогать" следствию, угрожают еще более суровым наказанием, чем полагается по предъявленной статье обвинения.

- Менделевич! Почему отказываетесь давать показания?

- Насколько мне известно, мое право не давать показаний согласно "презумпции невиновности".

- Так! Начитались юридической литературы. Это лишь подтверждает предъявляемое вам обвинение в преступной деятельности. Вы готовились к аресту, значит понимали, что ваши действия преступны. По-видимому, вам знакома запрещенная книжица Есенина-Волыгина "Как вести себя на допросах". А это свидетельствует о ваших преступных интересах. Ваш отказ чистосердечно рассказать следствию правду может лишь увеличить меру наказания, так как доказывает вашу нелояльность к советским органам власти.

- Учтите, Менделевич, что по статье, которая вам предъявлена, предусматривается самое суровое наказание - вплоть до смертной казни. Поймите, что отказываясь от дачи показаний, вы рискуете жизнью.

Быть расстрелянным за неосуществленный побег из России! Такая перспектива не слишком радует. Следователь нарочно давит на меня своей извращенной логикой и волчьей кровожадностью. Возможно, так сломали членов ленинградского сионистского комитета, которые обвинялись в подготовке побега за границу, хотя на самом деле никто из них не был посвящен в последний, рижский вариант.

- Если вы утверждаете, что мне грозит расстрел, тем более нет смысла давать показаний!

Но задача следствия - заставить тебя говорить. Более того, тебе дают возможность начать с явной лжи и при этом делают вид, что верят, - лишь бы ты заговорил, завяз поглубже. Сначала ты просто отделиваешься от назойливых вопросов. Потом, чтобы ложь выглядела убедительно, добавляешь к ней несколько правдивых фактов. Приходит день, когда следователь с обычной официальной улыбкой обращается к тебе:

- Иосиф Мозусович, есть некоторые несообразности в ваших показаниях. Давайте разберемся!

Таким образом, он оставляет вам надежду, что игра может быть продолжена, - стоит только чуть сдвинуть показания, приблизить их к тем, которые нужны следствию. И игра, действительно, может продолжаться, только всегда в пользу следвателя. Счастлив тот, кому Б-г дает силы остановиться и сказать: "Нет, в вашу игру играть не стану! Делайте со мной, что хотите!"

Во время следствия часто происходят странные вещи: мужественные и замкнутые люди вдруг становятся робкими и разговорчивыми, даже тогда, когда без особого труда можно было бы промолчать.

В лагере часто обсуждают этот "феномен податливости". Предполагают даже, что в пищу заключенных добавляют химические препараты, ослабляющие волю подследственных. Но, по-моему, все обстоит проще. Страх перед КГБ, вселяемый в советского человека с детства, ломает его еще до допроса. А впереди у заключенного не героическая открытая схватка, а прозаическая ежедневная рутина следствия, требующая от него упорства и сопротивления.

Все это происходит на фоне полного отрыва от привычной жизни. И надо не сдаться, не забыть, во имя чего ты шел по такому опасному пути. Без веры в справедливость своего дела теряется чувство реальности....Ты без газет, без писем, без вестей из дому. И, может быть, все о тебе давным-давно забыли. Ты один. Один на один со следствием.

Утром просыпаешься от окрика: "Подъем!" Быстро вскакиваешь. Чуть замешкаешься - наказание. В каменной камере холодно даже в июле. Раздают очки, отобранные на ночь. Какой-то бедолага ночью покончил с собой - проглотил стекла от очков. И теперь у нас их отбирают на ночь. Запрещается также укрываться с головой во время сна: а вдруг ты под одеялом перережешь себе горло или удавишься полотенцем. Оттого и лампочка всю ночь брызжет на тебя светом - может, тебе вздумается в темноте наложить на себя руки каким-то другим способом!

...Итак, раздают очки. Мне по ошибке выдали очки соседа. Это новость для меня. Очевидно, тот, кто рядом, носит очки. Пытаюсь вспомнить, у кого я видел похожие на эти. Не могу. Ведь у всех у нас одинаковые очки унылого советского производства. Надо торопиться. Еще минута - и надзиратель заберет их. Потом раздача сахара, хлеба, черного как уголь, и кипятка. Эта пища напоминает заключенному, что он еще числится в списках живых. О нем не забыли: вот вода, хлеб, сахар!

Вызов к следователю и приход надзирателя тоже говорят зэку о том, что о нем помнят. И зэк может даже обрадоваться: на какое-то время исчезает могильная непроницаемость тюремного бытия. Эти твои враги - живые люди, явившиеся из отнятой у тебя жизни... Еще совсем недавно я ненавидел стены своей камеры. Они были для меня символом несчастья. Теперь я превратил их в своих друзей. Я заключил союз с железной дверью и асфальтированным полом, с подоконником и стеной. Отковыряв кусок кирпича, я написал на стене: "шекет" - спокойствие. И теперь три буквы родного языка обязывают меня молчать. Они поддерживают меня.

В чем еще я могу найти поддержку? В размышлениях о еврейской истории. В молитве. Молитвенника нет. Но я составляю свою молитву - за весь еврейский народ, а в конце - за здоровье отца и мое избавление из плена. Я не знал, в какой стороне Иерусалим, и молился у окна, глядя в небо. Боль заточения, всю силу своей веры изливал я в молитве. И чем горячее молился, тем сильнее укреплялась надежда на ее исполнение. Перед всемогущим Отцом я был прост, как ребенок, и разговор мой с Ним был без посредников.

На воле я не изучал Тору. Если бы я с детства занимался Учением, мне было бы легче в тюрьме: я жил бы в духовном мире, недоступном для посторонних, и мой образ мысли был бы еврейским. Я молился, желая избавиться от всего наносного и

чужого. Недаром и теперь мне вспоминается Леха - пример российского непосредственного, не политического, а нутряного протеста. История его ареста столь же трагична, сколь и нелепа. Два молодых солдата советского гарнизона в Восточной Германии ограбили буфет, закрылись и никого туда не впускали. Такую странную форму приняла их попытка бежать на Запад. Им, очевидно, так захотелось вольготной жизни, что начали они ее тут же, в буфете, держа на прицеле насмерть перепуганную буфетчицу. Расплата за сиюминутное желание пришла по крупному счету. Советско-немецкий военный патруль оцепил здание буфета и потребовал сдаться. Ответом был огонь из двух "Калашниковых" - выпито было достаточно. В ходе перестрелки убили Лехиного напарника. Сам Леха в ужасе бросил автомат и сдался. Так четверть века спустя после окончания войны немцы взяли в плен сына русского полковника. Звание отца, я думаю, спасло Леху от расстрела. И теперь он ждал суда. Парень он симпатичный, веселый и добродушный. Но дурные наклонности давали себя знать на просторах его опустошенной души. Он растрачивал ее глупейшим образом. Этот мужественный и вместе с тем жалкий человек служил для меня как бы предупреждением.

Хорошо или плохо это - с детства понимать язык врага? Из-за двери до меня доносится разговор двух надзирателей:

- Как дела, Ваня? Опять неприятности?

- Да, ходил вот вчера в горисполком. Может, наконец дадут квартиру.

- А сейчас где живешь?

- В общежитии, в одной комнате с женой и двумя детьми. Уже пять лет, как из села приехал.

В большинстве своем надзиратели - деревенские парни, сбежавшие из колхоза. Работа в тюрьме дает им неплохой заработок, питание по льготным ценам, бесплатное обмундирование, а в будущем сулит городскую квартиру. Но есть и другие работники тюрьмы - сыновья советских чиновников, студенты вечерних юридических институтов, отрабатывающие днем свой обязательный стаж "по специальности". Впереди у них дипломы и карьера в органах. Их узнаешь по заплывшим от ночной выпивки глазам, дорогим костюмам, по язвительному тону и дотошной въедливости при обысках.

Надзиратели бывают разные: молчаливые, подавляющие тебя своей угрюмостью, разговорчивые и даже приветливые. Этим последним и следует опасаться больше всего, чтобы не сболтнуть лишнего, не поддаваться искушению передать письмо на волю. Я-то, положим, не боюсь, и не только потому, что осторожен. Просто я думаю, что все мои друзья арестованы. Вчера в кабинете следователя я видел полуоткрытые чемоданы. (Нарочно их выставили, что ли?) Может, там был и мой с недопечатанной на машинке книгой о Шестидневной войне "Быстрый меч" - последняя работа нашей группы. А может, "Эксокус" Юриса? Чемодан, в котором хранился этот роман, еще в 1969 году закопал под Ригой друг Менделя Гордина,

Борис Шперлинг. А может, обнаружен тайник, которым пользовались члены ленинградского сионистского комитета? Нет, наверняка какой-то командировочный следователь оставил здесь до вечера свое барахло!

Следователей понаехало видимо-невидимо. Даже из Сибири, за пять тысяч километров от Ленинграда! Погуляли за наше здоровье спецы из КГБ. Не будь нашего дела, его стоило выдумать, чтобы напомнить о своей полезности. Все за наш счет поживились - от генералов до сержантов. Каждую неделю охрана менялась. Охранники приезжали из Киева, Казани, Ярославля. Рижская тюрьма наконец-то получила деньги на ремонт, а ленинградской отпустили средства на покупку сотен метров ковровой дорожки. Она заглушала шаги надзирателей и позволяла им подслушивать разговоры в камерах. Дела идут хорошо, и надзиратель добрее. Почему же не пошутить с заключенным - источником его теперешних благ!

Воскресное утро. Нерабочий день. Надзиратель приказывает мне выйти. Сердце сжалось - куда? Заметив, что я побледнел, он, довольный собой, спрашивает:

- Что, испугался? Думаешь, небось, на пытки? Начитался всяких книжек! А у нас никого не пытаются!

Он привел меня в фотолабораторию, где меня засняли анфас и в профиль и сняли отпечатки пальцев, как у настоящего преступника.

Каждую ночь снится дом. Постоянно о нем думаю. Нервы напряжены. Бегаю взад-вперед по камере. Какой-то шум в коридоре. Хлопают двери. Вот открывают и мою.

- Покупать что-нибудь будете?

- Денег почти нет.

- Закажите на сколько есть.

От денег, одолженных у Сильвы, осталось пять рублей шестьдесят копеек. Это "на воле" на один день. Мне же предстоит довольствоваться этой суммой целый месяц, пока не сообщат родным, где я. Заказываю полкило хлеба и сто граммов сыра. Надзиратель смеется: "Что так мало?"

Ем хлеб с сыром, запиваю кипятком - блаженство! Как дома!

Вдруг открывается дверь - сам начальник тюрьмы, майор Круглов со свитой. Блестят погоны и медали - власти посетили мое скромное жилище.

- Вопросы есть?

Эти ничего не значащие слова я слышал потом не один год. Но тогда, впервые, разволновался: с чего это начальство явилось ко мне? Может быть, что-то изменилось в моей судьбе? Может, братья-евреи вспомнили о заточенном Йосефе и выкупили его из рабства? Нет, братья-евреи еще не знали толком о нашем деле и тратили драгоценное время на споры о том, как лучше помочь советским евреям: открытым давлением или тихой дипломатией.

Во всяком случае приход Круглова был для меня неожиданностью и поводом задать вопросы.

- Когда поведут в баню?

- Только через несколько дней.

- Можно писать письма?

- Запрещается.

- Когда мои родные узнают обо мне?

- Узнают...

- Можно ли получать газеты?

- Если будете хорошо себя вести на допросах и давать показания, следователь может разрешить.

- Можно работать? У меня нет денег на ларек.

- Работать не положено.

- Можно получать книги из тюремной библиотеки?

- Книги выдаются раз в десять дней. И вообще учтите: ваше положение в тюрьме зависит от того, как вы будете сотрудничать со следствием. Дадите показания - получите все, что надо.

Начальство удаляется. Взволнованный, я остаюсь в камере один. Нет, этот приход не зря. Что-то происходит там, события как-то развиваются. Но как? Как узнать? Выудить хитростью у следователя? Для этого надо заговорить с ним.

Словно разгадав мои намерения, на следующий день меня вызывают на допрос. Тот же майор Попов.

- Ладно. В сущности, мне ваши показания не нужны. Не хотите говорить о деле - давайте поговорим просто так. Я ведь зарплату получаю, обязан работать. А моя работа - допросы. Беседовать можем о чем угодно. Вот слышал, что вы знаток еврейской истории. Недавно я прочел книгу о восстании Иудеи против Рима. Очень интересно. Как это случилось, что Рим захватил Иудею?

- Ну что ж, на эту тему поговорить можно. Римляне впервые появились в Иудее в роли союзников, чтобы посредничать в споре между двумя наследниками царского престола...

Так начинается "непринужденная" беседа. Мой следователь уверяет, что он сам полукровка, а жена - еврейка. Я смеюсь над его наивными уловками добиться моего расположения. Он не настаивает, тоже смеется и переводит разговор на другую тему... Он прост в общении, далеко не глуп, пытается философствовать. Недаром он следователь по особо важным делам. Вдруг, внезапно, посреди беседы:

- А это где вы читали? Кто вам дал книгу? Шпильберг?

- Этого я вам не скажу.

- Хорошо, хорошо, продолжим разговор, - успокаивающе говорит он, и беседа продолжается.

Наконец он печатает протокол допроса, а потом дает мне его прочитать. Приучает подписывать. Я внимательно читаю. В тексте - детали, сведения, почерпнутые из нашей с ним беседы. Вдруг выплывает пара строк, которые он вписал от себя: что-то о подпольной сионистской организации, в которой я изучал иврит и историю. Отказываюсь подписывать - я такого не говорил.

- Но ведь это же правда. Зачем вы отрицаете?

- Вы сами сказали, что все равно мне расстрел. Что же вам еще от меня надо?

- Войдите в мое положение: мы провели с вами несколько часов. Начальство спросит, о чем мы с вами разговаривали? Что я скажу?

- Меня это не касается.

В общем это был сильный прием: следователь не стучал кулаком по столу, не кричал на меня, а вел "простую" дружескую беседу. Никого не надо было предавать - просто войти в его положение, и все. Ведь он такой же советский служащий, каким я был совсем недавно, и, кроме того, зачем отрицать очевидное? Надо лишь подтвердить то, что уже и так известно следствию, и то, что уже показали мои друзья... "Все они показания дают" - это капля яда на прощание. Есть над чем задуматься.

С допроса ведут в другую камеру. Она насквозь провоняла табаком. С койки навстречу поднимается высоченный тип, мускулистый и крепкий, лет шестидесяти. Крупное, костистое, словно волчье лицо. Седые волосы над низким лбом. - Иван Васильевич Морозов. Нельзя не оценить тюремного садизма: посадить в одну камеру молодого набожного еврейчика и бывшего фашистского полиция, обвиняемого в убийстве сотен евреев. Следствие по его делу закончено. Он ждет суда. Ждет уже многие месяцы и тоскливо воет: "Неужели расстреляют? Неужели расстреляют?"

Обо мне он наслышан давно: в первые дни после нашего ареста к нему в камеру посадили Алексея Мурженко. Тот не скрывал от него причины ареста. Ну, стало быть, и мне незачем прятаться. Теоретически известно, что надо остерегаться соседей по камере: могут подсадить "наседку", осведомителя. Но Морозов? Явный фашистский преступник сотрудничает с КГБ? Быть не может! "Дуралей ты, Йосеф, - сказал бы я теперь тому, новенькому. - А почему бы и нет? Ведь он до смерти напуган и мечтает выслужиться любой ценой, тем более - еврейской". Впрочем, он и не допытывался у меня подробностей. Целиком погруженный в свои воспоминания, он искал во мне не столько рассказчика, сколько слушателя. Его отца раскулачили в тридцатые годы и сослали вместе с малыми детьми на Печору, на Крайний Север. С детства на Иване клеймо: сын врага народа. Тут война, забрали в армию. Ну, ясное дело, окружение, плен, голодуха - даже кору с деревьев обгладывали. И вдруг немецкая комендатура

объявляет: кто пойдет служить в спецполицию по борьбе с ворами и разбойниками, будет получать в день кило сала и два кило хлеба. Это ведь не просто служба, это спасение, сама жизнь - постоянный паек, шинель, теплая постель. Кто думал тогда о возмездии, небесном или земном?.. Красные в панике отступали. Тех, кто попал в плен, а потом чудом спасся от немцев и добрался до своих, объявляли изменниками родины. Казалось, Гитлер надолго, и, стало быть, надо устраиваться при новой власти. Вот и воевал с местными партизанами, которых немцы называли разбойниками. И вдруг все изменилось. Красная армия наступает, советские самолеты бомбят немцев. И снова нужно спасти свою шкуру. Полицаи перебили начальников и подались к партизанам. Да, видно, рано поменяли хозяина. После нового немецкого наступления Иван Васильевич попал в Маутхаузен. Когда лагерь освободили, предложили на выбор: Запад или Восток. И Морозов выбрал Восток, дом. Пусть даже наказание за службу у немцев... Не дураки ведь, поймут, что выхода не было. Главное - домой, на родину.

А дома, на родине, ждал суд и приговор - двадцать пять лет. Срок отбывал в Сибири. Там пригодилась наука военных лет - умение ладить с начальством. Он стал бригадиром, жил в тепле и в достатке. Умер Сталин. Пошла реабилитация. Спецкомиссия освободила его досрочно в 1958 году. Теперь вроде бы очистился от старых грехов. Но не тут-то было: через семь лет вспомнили старое. В 1965 году началась политическая кампания по выявлению скрывающихся нацистских преступников. Это напоминало пародию на истинный поиск преступников. Ее цель - дискредитировать Западную Германию, где почти каждый политический деятель, не исключая и социалистов, в той или иной мере был запятнан нацистским прошлым. Заодно это давало возможность напомнить миру о заслугах Советской России в войне и тем самым пресечь разговоры о нарушении ею прав человека.

- К тому времени, - рассказывал Морозов, - я работал на почте. Доставлял письма и посылки. Со всем начальством водился. Уважали меня сильно. Ежели бы до пенсии дотянул, большая была бы. Жена в магазине продавщицей работала, так что недостатка у нас ни в чем не было. Когда из лагеря вернулся, решил: все детям отдам, чтобы горя не знали. Старший сын у меня - член партии, инженер, в Ленинграде живет. Дочь за полковником замужем. Телевизор своей старухе купил, да жаль - перед самым арестом сломался. Без меня кто ей по дому пособлять станет? Неужели расстреляют?

Так он рассказывал днем, а ночью ему снились сны, от которых он вскакивал, бегал по камере и кричал: "Да открой же ты дверь! Открой, тебе говорю! Сейчас, сейчас... А ты хватай топор, там, в углу... Бей его, бей его по голове... Черт возьми, сколько крови... Ну, тащи его, тащи сюда..." Нет, я в отличие от Йосефа не брался разгадывать его сны³. Не мог. До того они были черные и жуткие. Что его мучило? Пролитая кровь евреев? Совесть? И его ли надо судить? А может, тех, кто истреблял свой народ и протащил Ивана Морозова через все перипетии его нелепой жизни? Тех, кто в одну камеру загнал еврея и антиеврея. Правда, он клялся мне, что не участвовал в расстреле евреев. Но поразительно: за долгие годы лагерных скитаний я не встретил ни одного полицая, который признался бы, что истреблял евреев. Кто же их тогда убивал? Кто?

Я молился. Морозов мне не мешал. Даже напоминал, если, по его мнению, я пропускал нужное время. Однако о нашем деле твердил одно: "Всех вас надо расстрелять! И летчика, и тебя, и всех!" А какую злобу испытывал он к Израилю! - "Вот придут арабы, они там всех перережут!" - нередко говорил он мне. Этот его бытовой антисемитизм поддерживался государственным и прежде всего прессой: "Израиль - агрессор, оккупант! Бегин - фашист и убийца!" Однажды, измотанный, я возвратился с допроса. Иван Васильевич оторвался от домино:

- Ну, что, не расстреляли еще?

- Пока нет.

- Расстреляют, расстреляют вас всех. И Израиль ваш разгромят. Жиды воевать не умеют. Вот придет русский солдат, и всем вам будет крышка!

"Хочет вызвать меня на драку, выслужиться перед начальством", - думаю я и на всякий случай отхожу к стене. Если потребуется, буду обороняться, но первым лезть в драку не собираюсь. А он продолжает как заведенный:

- Долго не просуществует ваш Израиль, увидишь!

Тут я взорвался:

- Не по зубам вам Израиль! Если бы Союз мог, давно бы его уничтожил. Но никогда он не сможет уничтожить еврейское государство! Никогда! Все вы передохнете, а наш народ будет существовать вечно!

На следующий день я заявил следователю, что не пойду на допросы, если этого провокатора не уберут из моей камеры. Попов был заинтересован в продолжении следствия, и поэтому, вернувшись вечером с допроса, я обнаружил в камере другого человека. Сеню Барбакова. Не то цыган, не то еврей. Настоящий уголовник, растлитель малолетних, вор, валютчик. Трудно понять, почему он попал к политическим. Он утверждал, что его посадили за переправку в Россию из ГДР крупной суммы валюты. Думаю, что этот веселый рецидивист был специально посажен ко мне в качестве "наседки". Так началось мое знакомство с уголовным миром. По советским законам "особо опасных государственных преступников", каковым я являлся, запрещается держать вместе с уголовниками. Закон этот нередко нарушают во имя "высших интересов". (В 1979 году начальник Чистопольской тюрьмы приказал посадить к Анатолию Щаранскому опасного рецидивиста Виктора Пяткуса. На протесты Щаранского ответили, что на совместное содержание в одной камере политического и уголовного преступников получено разрешение непосредственно из Москвы.)

Я выплескивал моему новому сокамернику Сене кое-что из моих допросных впечатлений. Измотанный дневным единоборством со следователем, я съедал оставленные мне на ужин тушеные овощи и садился играть в домино. Сеня рассказывал о своем детстве, о том, как во время войны жил в цыганском таборе, о степях, по которым скакали вольные цыганские кони. Но больше всего он увлекался рассказами о женщинах и пьянках - излюбленная тема разговоров в тюрьме. Я

попросил его не говорить об этом. Он с трудом согласился, страдал от наложенного "табу", но по-прежнему хорошо относился ко мне. Однажды посоветовал: "Поменьше болтай в других камерах - там могут оказаться доносчики". Ни разу он не спугнул меня неосторожным вопросом или повышенным интересом.

Следователю тоже захотелось поговорить со мной о женщинах. На одном из допросов он огорченно заметил:

- Менделевич, мы искали ваших знакомых женщин, но не нашли ни одной.

- Плохо искали.

- Дайте нам их адреса! Возможно, они захотят дать показания в вашу пользу.

Я засмеялся:

- Зачем вы печетесь о моем благе? Огорчу вас: у меня просто не было времени на знакомство с девушками.

Выигрышный, но довольно банальный момент в оперативной работе следователя: добиваться показаний, шантажируя оглаской подробностей личной жизни заключенного. Многим со стыдом и страхом приходилось умолять следователя не предавать огласке их "побочные связи". Меня волновало другое. Кто арестован? Что известно следствию? Как ведут себя товарищи? Что нас ожидает?

16 июня 1970 года "Ленинградская правда" сообщила: "15 июня с. г. в аэропорту "Смольное" задержана группа преступников, пытавшихся захватить рейсовый самолет. Ведется следствие".

В еврейских кругах Запада эта короткая заметка вызвала панику. Большинство придерживалось мнения, что попытка побега спровоцирована КГБ для начала новых гонений на евреев. Лишь тот, кто хорошо знал советскую действительность, допускал мысль о том, что такая попытка могла иметь место.

После первого допроса в Риге мои родные узнали, что со мной. О сестре Мэри вестей не было. Боялись даже спросить о ней: вдруг Мэри удалось скрыться. Письмо, оставленное мной Эзре Русиньку, а в нем план побега и фамилии участников, все еще находилось у него. Однажды вместе с передачей для меня в Ленинградскую тюрьму принесли посылку и на имя Мэри. Дежурный-вертухай проверил списки и принял посылку. Так узнали, что Мэри жива и находится рядом со мной.

Посылка из дома была важным событием в моей тюремной жизни. Все, конечно, раскрошено и раздавлено в поисках запрещенного. И тем не менее, разложив растерзанные дары, я почувствовал тепло родных рук, собиравших мне эту передачу. Ничего там не было трюфного - как я был благодарен! Вспомнил, с каким трудом в 1959 году мама на последние гроши собирала посылку отцу. Теперь собирают сыну и дочери. Письмо, разумеется, мне не передали. Нельзя до окончания следствия. Посылка же для меня - весточка любви и прощения.

Я не знал тогда, что наше дело предано огласке и наши судьбы тревожат многих. Ашер Бланк отчаянно названивал из Тель-Авива в Ленинград. Он звонил подряд

всем членам сионистского комитета - ответа не было. Стало ясно, что все арестованы. Вдруг, когда он совсем уже было отчаялся, откликнулся Виктор Богуславский, редактор "Итона". Он перечислил Бланку имена почти всех арестованных. Гебисты прервали телефонный разговор только на букве "ша". Из "самолетчиков" он назвал Кузнецова, Дымшица, Федорова, Мурженко. Меня забыл.

В Ленинграде, Москве, Риге, Кишиневе шли допросы. Ленинградец Паша Корен целые дни проводил в кабинете у следователя. Гилель Шур, член ленинградского комитета, тоже еще оставшийся на свободе, как-то сумел подкараулить его, когда он ночью возвращался с допроса из Большого дома.

- Паша, я к тебе от комитета. Конечно, ты в отчаянном положении. Тебя обвиняют в организации побега, но показания, которые топят других, не спасут тебя. Поверь: спасение только в молчании. Мы верим, что ты найдешь в себе силы молчать. Я подаю тебе руку сейчас, но это рукопожатие авансом.

Корен, не отвечая, подозвал такси и уехал. Наутро Шура вызвали в Большой дом: "Гражданин Шур, вы оказываете отрицательное влияние на свидетелей. Вы их запугиваете. Прекратите, иначе арестуем!"

Гилелю мужества не занимать: вместо того, чтобы уйти в тень, он встретился с молодыми ребятами, изучавшими иврит в кружках, руководители которых были арестованы. Его и Виктора Богуславского арестовали через несколько дней. Они могли бы затаиться, а потом уехать в Израиль - и дело с концом. Но верность и стойкость требовали от ребят другого, и они предпочли разделить нашу нелегкую судьбу. Арестовали и Пашу Корена - его не спасли признания.

В Риге после первой волны арестов и обысков наступило относительное затишье. Друзья составили сообщение с подробным изложением событий и сумели передать его на Запад. Теперь КГБ уже не могло расправиться с нами втихую.

Между тем, многие не выдержали даже первых испытаний. Когда-то мы привлекли к размножению "Итона" рижского биолога, интересовавшегося ивритом, еврейской историей и постоянно посещавшего наши занятия. Несмотря на мягкость и неустойчивость его характера, решено было обратиться к нему: надо вывезти за город чемодан с литературой. Все было четко спланировано и осуществлено. Но через несколько дней его вызвали на допрос в КГБ. Ни про какой чемодан там, разумеется, не знали. Однако на всякий случай попробовали его запугать, надеясь, что он расколется. Так и случилось. Стандартной фразы - "Мы все о вас знаем, мы вели за вами постоянное наблюдение!" - оказалось достаточно, чтобы допрашиваемый выложил все, что знал: кто организовывал митинги в Румбуле, кто участвовал в праздничных встречах у синагоги и, конечно, про злополучный чемодан.

- Кто просил вас перевезти чемодан?

- Ригер.

- Кому вы его передали?

- Я не знаю его, но хорошо запомнил: высокий такой, блондин.

- Что было в чемодане?

- Я его не открывал.

- Вы скрываете от следствия важные данные. В ваших же интересах давать правдивые показания.

На самом деле следствие не знает ничего, или почти ничего, но страх берет. Назавтра уже "чистосердечно" признался, что чемодан он передал Друку, который вовсе не высокий и не блондин. Он объяснил, что жена потребовала от него рассказать правду и отказаться от намерения ехать в Израиль. Так наш биолог спасся от ареста. Но в Израиль он все-таки уехал. Через полтора года.

Сашу Друка вызвали в КГБ. Он наотрез отказался давать показания. Его продержали там сутки и отпустили. Мужество оказалось лучшей защитой. Потеряв концы, следствие провело дополнительные обыски у Ригера, Шпильберга и Александрович. Нашли множительную технику и литературу. Все трое были арестованы. С Рут Александрович давно хотели расправиться. Смелая девушка досаждала властям: участвовала во всех еврейских праздниках и сходках, передавала информацию иностранным туристам и снабжала всю Ригу учебниками иврита.

Я ничего не знал об этих арестах. Продолжал напряженную борьбу со следователем. Требовалось постоянно держать в памяти все то, что было сказано вчера и позавчера и еще раньше. Из вопросов следователя я старался уяснить себе, о чем рассказывали другие, чтобы потом, добавляя к их показаниям "правдоподобные" детали, сбить следствие со следа. Так проходили недели.

- Нам известно, что вы через Сильву Залмансон передали письмо в Ленинград. Что там было написано?

Неясно, от кого исходят эти сведения и что могли сообщить о письме. Поэтому отвечаю:

- Это был запрос о возможности получения учебников иврита из Ленинграда.

Через несколько дней:

- Вы сказали неправду. В письме запрашивали ленинградский комитет о его отношении к побегу.

Теперь понятно: рассказал либо тот, кто читал это письмо, либо тот, кто его передал. Мне очень не хотелось, чтобы они вышли на Ригера. По моей просьбе он написал это письмо, так как поддерживал контакты с ленинградцами. Кроме того, он был единственным из всех, кроме меня, кто знал поименно всех членов рижского руководства. Следствие может обвинить его в содействии побегу и усилить давление на него. Из показаний арестованных следствие уже знало подробности, касающиеся побега и подготовки к нему. Но мне казалось, что все же есть возможность скрыть отдельные факты и, главное, убереечь людей, о которых еще ничего не было известно.

- Ваш осведомитель ошибается. Письма о плане побега я не передавал.

Следователь делает вид, что озадачен:

- Ну что ж, придется искать дальше. Может, все-таки вспомните, кто писал это письмо?

Через несколько недель, когда и автор письма, и его получатель сами рассказали о содержании и о путях передачи информации, Попов понял, что я водил его за нос. Он был взбешен:

- Я сошью такую шубу из вашей лжи, что она долгие годы будет вас согревать в Сибири. Следствие узнает все, кроме, может, каких-то мелочей. Зарубите себе это на носу! В ваших интересах давать чистосердечные показания, если, конечно, вам не безразлична судьба родных. Несколько дней назад я говорил с вашим отцом. Он чувствует себя неважно. Если будете хорошо себя вести, может быть, увидите его. - При этом он загадочно улыбнулся.

Я не знал, что и думать. Я в Ленинграде, больной отец - в Риге. Между нами сотни километров, тюрьма, следствие. Что могли означать эти слова? Ведь здесь зря ничего не говорится. Мы с Сеней принялись гадать, куда могут перевести и почему переведут? В воскресенье загадка разъяснилась. В коридоре хлопали двери. Значит, я не один. Привели в пустую камеру, обыскали и выдали обед, который я выбросил, - суп отдавал свиным жиром. Я ходил взад и вперед по камере и строил самые радужные планы. Самолетом в Вену, а оттуда в Израиль?! Когда десять с лишним лет спустя уже точно знал, что через несколько часов буду свободен, я не испытал и сотой доли подобной радости, - так меня измучила тюрьма. Но об этом позже. А теперь мои самые смелые предположения только укрепились, когда в тюремной приемной, заваленной вещами, отнятыми при обысках, двое в штатском наставительно поучали:

- Повезем на аэродром. Любое движение будет истолковано как попытка к бегству, и вас убьют на месте. Советуем не делать глупостей. В самолете ни с кем не разговаривать, не кричать, не подавать знаков руками.

Итак, все правильно! На самолет! Следствию все ясно: ничего серьезного не было. Мы только хотели жить в Израиле! Нас и судить-то не за что! А может, это срочный обмен на каких-то советских шпионов?

Не прошло еще месяца со дня ареста, но от волнения и слабости меня так укачало, что рвало до самого аэродрома. Самолет был еще пуст. Гебешники разрешили перепуганной стюардессе принести мне стакан воды. Когда немного пришел в себя, мне дали газету. Я с жадностью на нее набросился. Напрасно! Ее подобрали специально для меня - ни слова о Ближнем Востоке. Постепенно самолет заполнялся пассажирами. Полет был недолгим. Становилось ясно, что речь идет не об освобождении. После приземления меня повели по трапу последним и сунули в милицейский воронок. Я понял, что оказался в Риге, которую я оставил всего двадцать три дня назад. Так я познакомился с рижской тюрьмой за фасадом бывшей гостиницы "Метрополь", отданной под Комитет Государственной Безопасности.

Порядки здесь, хоть и похожи на ленинградские, но все же другие. Тут я впервые свел знакомство с парашей - десятилитровой бочкой для нечистот, которую должен был сам в сопровождении дежурного надзирателя выносить в туалет. От этой парашаи весь день немилосердно воняло. По утрам параша заливалась хлоркой - и тогда вообще уж нечем было дышать. В туалет выстраивалась очередь. Нередко за этим "заведением" надзирала женщина, не позволявшая закрывать двери. Сперва было неудобно и стыдно, а потом привык - что поделаешь? Ведь для тюремщиков ты бесполое существо.

На допросы долго не вызывали. Я сидел в камере вместе с молодым латвийским националистом. Он обвинялся в шпионаже. Дело обстояло так: к нему из Швеции в качестве туриста приехал дядя. Тот не любил русских, считая их оккупантами. Без особого труда уговорил Андреса передавать ему необходимые сведения. Андрес раздобыл у своего брата чертежи какой-то северной военной базы ядерных подводных лодок. Кто-то выдал парня. Так он оказался в тюрьме. Мы говорили с ним по-латышски. Отношения между нами установились самые хорошие. Я был согласен с ним в оценке русских. Андрес ждал суда. Дома у него остались жена и сын. До ареста он собирался учиться в лютеранской духовной семинарии. Естественно, мы касались и религиозных тем. Тогда мне еще трудно было провести грань между его христианскими воззрениями и моими еврейскими понятиями. Однако, размышляя о различиях между нашими взглядами, я лучше понимал самого себя. За беседами и шахматами время шло быстро. Когда я молился, Андрес был начеку. Тем не менее однажды надзиратель увидел и пригрозил, что в следующий раз накажет.

Кормили нас в основном рыбным супом - дежурное меню всех российских тюрем. Часто я отдавал Андресу еду, которую не мог есть сам, а он мне - селедку и хлеб. Андрес научил меня перестукиваться через стенку, приставив к ней дно кружки, и слушать ответ, перевернув кружку. Мне повезло. Едва я начал: "Говорит Йосеф. А кто ты?" - как услышал:

- Я Толик. Какие новости?

- Спрашивали, знаком ли я с Рут Александрович, но я не признался. Что у тебя?

- Нашли доказательства, что мы с тобой фотоспособом изготавливали запрещенные материалы.

- Не знаешь, наши письма получили родные?

- Менделевич! Прекратите переговариваться! Отправлю в карцер! - раздался окрик надзирателя.

Андрес надежно заслонял меня, так что надзиратель мог только догадываться, что я стою с кружкой у стены. Но я не боялся наказания. Вообще во время следствия начальство не очень-то стремится держать заключенного в карцере - времени для этого хватит и после суда.

Свидания с отцом мне, конечно, не дали. На допросах интересовались рижской сионистской организацией. Кто ее возглавляет? Кто финансирует? Какова ее структура?.. Наше движение не носило закрытого характера. Это было его сильной стороной. Но отсюда вытекали и слабые стороны: доступ к нам имели все; кагебисты легко могли подослать и своих агентов.

Меня допрашивали трое следователей. Когда мои увертки надоели майору Заславскому, он закричал:

- Назовите руководителей организации!

- Нет никакой организации!

- Ваш ответ показывает, что вы не раскаиваетесь в своей преступной деятельности. Вы и ваш Хнох - фанатики!

Так я впервые, а потом неоднократно в применении к себе слышал это слово - "фанатик". Прокурор Соловьев на судебном процессе назвал меня "сионистским фанатиком". Так меня величало и лагерное начальство. Видно, в моем личном деле была соответствующая запись. Что ж, фанатик - так фанатик! Это ведь человек, страстно преданный своей идее. Не так уж и плохо! Иногда такое качество не является лишним!

Всякий раз, готовя себя к очередному допросу, я не только обдумывал всевозможные варианты ходов в беседе со следователем, но и занимался самовнушением: "Помни, следователь, на встречу с которым ты идешь, - твой враг, ты должен ненавидеть и перехитрить его. Это мицва, твой долг перед Б-гом". - Жить в соответствии с Торой меня никто не учил. До всего приходилось доходить самому. А это требовало напряжения всех душевных сил. По пути на допрос в коридоре я старался задержаться у зеркала: молодой, бородатый, с лицом, пожелтевшим от сперттого тюремного воздуха.

- Менделевич! Из показаний арестованных нам известно, что в распоряжении Эзры Русиника находилось большое количество пишущих машинок и что он руководил перепечаткой всех материалов. Что вы можете добавить по этому поводу?

Как сжалось сердце! Они на верном пути. Не хватало еще, чтобы Эзру вновь арестовали! Он столько лет провел в Сибири!..

- Я никогда Русиника не видел и не знаком с ним!

- Свидетели показывают, что вы передали ему для перепечатки второй номер "Итона" в марте 1970 года, а также получили от него фотокопии книги Маршала "Быстрый меч". Сейчас мы предъявим вам для опознания десять фотографий. На одной из них - Русинек.

Как полагается, явились двое понятых, вроде бы посторонние свидетели, - хотя откуда в здании КГБ посторонние? - и два следователя. На официальной бумаге с печатями и подписями составили акт. Разложили фотографии. С одной из них на

меня смотрел Эзра Русинек. Все остальные вообще не были похожи на евреев. Я обратился к Попову:

- Оpozнание производится незаконно, потому что здесь только одна фотография человека с ярко выраженными еврейскими чертами лица. Поскольку меня спрашивали о еврее, логично предположить, что это он и есть. В любом случае я мог бы указать на него и угадал бы. Следовательно, вы провоцируете меня на опознание незнакомого человека.

Опознание провалилось. Следовательно, измученный моим упрямством, в поисках ключа ко мне кинулся к Достоевскому. Он сам мне рассказывал, что стал читать "Преступление и наказание". Я только смеялся: чем поможет ему великий роман о "загадочной русской душе" при столкновении с душой еврейской?!

Меня перестали вызывать на допросы. Андреса увезли в Лиепаяу, где находилась военная база. И вот, накануне моего двадцатитрехлетия, я остался один. Шел второй месяц моего заключения, но, казалось, прошли годы - так я повзрослел и изменился. Подвел итоги. Больше всего мучила мысль о разгроме еврейского движения. Это значительно подрывало силы здесь, в тюрьме. Я не знал тогда, что нас поддерживает Запад и ворота в Израиль начинают приоткрываться. Как бы то ни было, необходимо выработать стратегию поведения на будущее.

Главным орудием деморализации, которое использовали следователи, стали показания моих содельников. Этим следователи оказывали на меня психологическое давление: ты упираешься, а мы все уже знаем про тебя. Ты веришь своим друзьям, а они ведут себя не так, как ты себе представляешь. И нельзя сказать, что такая тактика не производила впечатления. Иногда сведения, которые следователи получали, были такого рода, что не оставляли никаких сомнений: только близкий мне человек знал об этом и только он мог рассказать. Иногда мне предъявляли страницы показаний, исписанные знакомыми почерками. Их оружие било больно, но не смертельно. Я твердо решил: какими бы ни были показания моих товарищей, как явно они ни свидетельствовали бы о том, что мои друзья признаются в содеянном, я не имею права поддаваться. Не должен верить - и все.

Хорошо сидеть одному в камере. Ходишь взад и вперед, думаешь о своем и не нужно отвечать на вопросы или слушать соседа. Андрес оставил папиросы. Я подумал: "Все-таки мне двадцать три года. Теперь я взрослый человек, политзаключенный - почему бы не закурить?" Я ни разу не курил, но "Беломорканал" и спички ввели меня в соблазн. Я взял папиросу, зажег и поднес ко рту. В тяжелых тюремных сапогах, куришь - настоящий мужчина! Но после нескольких дней курения мне стало плохо. Появилось устойчивое отвращение к куреву. Довольно глупо курить в камере рижской тюрьмы: окна вообще не открывались, а воздух проходил лишь через щели в дверях. Неудивительно, что к вечеру появлялось сильное головокружение. Хлеб, находящийся в камере двое суток, покрывался зеленой коркой плесени. Только сильный голод заставлял очистить его и есть. Как-то я пожаловался следователю на тяжелые условия в камерах. Он оправдывался:

- Это от нас не зависит. Во время войны немцы переоборудовали гостиницу под гестапо. Народ называл тогда гостиницу "зеленым чудовищем". Вы ведь знаете, как гитлеровцы относились к заключенным! - закончил он, ничтоже сумняшеся.

Весьма логичное объяснение. Неясно только, почему советские власти продолжали развивать эту фашистскую традицию!

Заучивая накануне ареста даты еврейского календаря, я запомнил 9 Ава, день разрушения Храма, день поста и скорби. И теперь, сидя в камере, я молился. Как назло, именно тогда решили устроить баню. Я, конечно, отказался идти. Забегали надзиратели:

- Менделевич, почему отказываешься? Не хочешь? Силой помоем. Мы тебя научим культуре!

Нас повели под конвоем в баню и заперли там. Я разделся и терпеливо ждал, пока мой напарник помоемся. Небеса, видя мое желание не нарушать святости этого дня, уберегли меня от наказания.

Затем опять началась горячка многодневных допросов по двенадцать часов подряд. Они не прерывались даже в воскресенье. Видно, из Москвы пришло указание закрывать следствие. Поэтому давление на меня усилилось:

- Ваше поведение ненормально. Вы не даете честных показаний. Мы вас отправим на психиатрическую экспертизу.

5 сентября 1970 года в кабинете начальника следственного отдела, полковника Неизвестного, мне сообщили, что отец обратился с просьбой освободить из заключения мою сестру Мэри, так как она беременна.

- Мы готовы удовлетворить просьбу вашего отца, - заверили меня, - теперь все зависит от вашего поведения. Вы должны назвать имена руководителей рижской сионистской организации! Я молчал.

- Так что же ответить вашему отцу? - прервав молчание, спросил меня следователь.

Мне не хотелось в сумасшедший дом. Жаль было сестру и мать. Действительно, серьезное искушение. Я думал и наблюдал за их напряженным ожиданием. Наконец произнес:

- Нет никакой организации! Полковник нажал кнопку звонка:

- Уведите заключенного!

Меня направили на экспертизу в Москву, в Институт психиатрии им. Сербского, лечебное заведение, пользующееся зловецей репутацией. Заведовал институтом еврей Даниил Романович Лунц. Ходили страшные слухи о том, как по его диагнозам психически здоровых и полноценных людей отправляли в спецбольницы для политзаключенных.

Институт Сербского - старинное здание в глубине парка. В приемном покое заполняют анкету и производят дезинфекцию одежды. Меня вталкивают в грязную ванну с пузырями мыла и жира. Затем санитарка ржавыми ножницами состригает волосы со всего тела. Неужели нельзя было поручить мужчине? Санитарка недоумеваает: "Сумасшедший, а стесняется!" Выдают старую пижаму и ведут в отделение для политических. Перед входом последняя проверка. Старшая сестра Полина, полная, средних лет женщина, через лупу ищет лобковых вшей. Делает она это не спеша и, видимо, с удовольствием.

Камера состоит из трех палат, охраняемых кагебистами в белых халатах поверх формы. Дополнительный внутренний надзор осуществляет "няня". В платочке и домашних тапочках, сидя в углу, она то дремлет, то вяжет, то чем-то еще занята. Скорее всего наблюдением за нами. Она докладывает начальству обо всем, что видит. Этот неусыпный страж в платочке и домашних тапочках напоминал сказки о злых феях. Вместе с духами дворян, изгнанных большевиками из этой усадьбы, они создавали атмосферу какой-то тревожной загадочности. По ночам чудилось, что вдруг в этом пустынном замке хлопнет дверь и ровно в полночь прокричит сова. Сов не было. Кричали сумасшедшие, настоящие и мнимые.

В моей палате находился Валид, полуграмотный крымский татарин, работавший на советско-иранской стройке в Туркмении. Его обвиняли, как это ни смешно, в шпионаже в пользу Америки. Однажды за кружкой пива у него развязался язык, и он признался приятелю, что неохота ему жить в России. Зол он на Советы за то, что они изгнали татар из Крыма. Другок донес, и арестовать Валида явился сам генерал... Другим соседом по палате был профессор Московского университета. Проникшись идеями толстовства, он бросил профессуру, "опростился", пошел в народ - поселился в деревне. Его сочли сумасшедшим.

Первый консилиум проходил в кабинете, где собралось шесть врачей. У большинства явно еврейская внешность. Во главе стола, на высоком резном кресле, восседал сам Даниил Романович Лунц. Маленький седой человек с репутацией советского Менгеле. Я стоял перед ним и думал лишь об одном: как бы не сползли с меня штаны. Они были без пуговиц и ремня, и мне приходилось все время придерживать их обеими руками. Тон беседы задавал Лунц. Говорил он так, словно претендовал на пост президента и видел во мне соперника.

- Что, молодой человек, в Израиль убежать захотели?
- Я хотел уехать вместе со своей семьей, но нам не разрешили.
- Думали стать там президентом?
- Я вообще-то хотел учиться.
- А что вы знаете об Израиле?
- Это страна, где живут евреи.
- Что вы знаете о сионизме? Читали Герцля⁴? Пинскера⁵? Борохова⁶?

- Да, читал.

После этой первой встречи со "специалистами" мною занималась мой лечащий врач, Маргарита Абрамовна. Время от времени она вызывала меня к себе, держа в руках протоколы допросов, которые вел Попов. Впрочем, ее собственные мало отличались от его. Больше всего врача интересовали факты, отсутствовавшие в протоколах. Мое нежелание говорить огорчало ее:

- Почему вы не хотите рассказывать о своем прошлом? У вас бывали ночные страхи? А сильные испуги в детстве были? - настойчиво спрашивала она, пытаясь вывести у меня то, что я до сих пор скрывал.

Моя неразговорчивость могла стать причиной принудительного лечения. Уклоняясь от показаний, я тем не менее старался не выпасть из роли нормального советского человека. Требовалось огромное напряжение и внимание: быть постоянно настороже и в камере, и в коридорах, и в кабинете врача - везде. Оказалось, не зря. Если во время послеобеденного отдыха заключенному случалось проспать больше получаса, в его истории болезни сразу же появлялась запись: "Состояние депрессии". Такой диагноз грозил спецлечением. Я решил не попадаться в расставленные сети.

Однажды в полусне я услышал громовой голос: "Иосиф, вставай, время твое пришло!" Вскочил, оглянулся - никого. Неужели действительно схожу с ума? До сих пор так и не знаю, кому принадлежал тот голос. В самом деле страшно: в этом дурдоме то неясное, неосознанное, подспудное истораживающее, что дремлет в каждом человеке, может внезапно пробудиться и сожрать живьем. Такие мысли невольно приходили в голову, когда я смотрел на больных. Трудно было на первый взгляд определить, кто из них на самом деле болен, а кто здоров. Должно быть, поэтому я старался общаться с теми, кто казался мне более или менее здоровым.

Иван Степанович Сук, молодой доктор биологических наук из Донецка, имел хобби: история Октябрьской революции. Он изучал ее по первоисточникам, издававшимся в первые послереволюционные годы. Тогда еще власти не стеснялись своей жестокости и в печати появлялась масса интересных, а главное, откровенных заявлений. Зато теперь постоянно подчищается прошлое, чтобы придать ему большую романтичность и гуманность.

Иван Степанович делился своими впечатлениями о прочитанном с друзьями, некоторые из них работали в ЦК украинской компартии. Закончилось тем, что жена, приревновав его к любовнице, донесла в КГБ. Высокопоставленные друзья, дрожа за свою шкуру, подтвердили ее сообщение, добавив, что Сук занимался и распространением антисоветской литературы. Теперь впереди у него либо три года лагерей, либо принудительное лечение в спецбольнице. Он был очень взвинчен и раздражен. Однажды, играя со мной в шахматы, запустил в меня шахматной доской. И все-таки, несмотря на его стремление докопаться до правды, по своему мировоззрению он был советским человеком и представлял собой именно тот тип испуганного интеллигента, который в лагере становится легкой добычей уголовников. Здесь тоже нашелся такой малый, постоянно терроризировавший его.

- Гляньте-ка, снова отправился в сортир. Видно, у него женская болезнь! Эй,

антелигент, ты мужик али баба?

Это был шумный и наглый водитель такси, сидевший за распространение антисоветских листовок и стихов. Чего только в жизни ни случается!.. Его отец в сталинские времена работал надзирателем в лагерях. А сын, таксист, почему-то невзлюбил советскую власть и сочинял нескладные вирши примерно такого содержания: "Крутишь ручку телеглаза - а кругом одна зараза" или: "Видишь агитатора, а на деле провокатора". Либо вот эти: "Только знаю, верю я - кончится ненастье. Коммунизму нет пути - вот в чем наше счастье".

Прибыл этот Коля Иванов в дурдом с криком, шумом и скандалом - явно перебирал. Требовал перевода в другую камеру - здесь, дескать, угрожают его жизни. Чтобы добиться своего, объявил голодовку. Санитарки уговаривали его:

- Коля, может, поешь? Ну поешь, Коля!

А он лежал на койке и плаксивым голосом нудил:

- Нет, не буду. Тут меня убить хотят. Пусть переведут в другую палату!

Часа через четыре после начала голодовки он подозвал санитарку:

- Нянечка, а что сегодня на обед?

- Каша манная.

- Ну, принесите мне, что ли, - милостиво согласился он и съел в два раза больше, чем обычно.

Парадоксально! Нормальных людей объявляли сумасшедшими, а больных - нормальными. При этом больных не лечили, но зато наказывали, как здоровых.

Гриня Соболев лежал в специальном отсеке для буйных. Он давал о себе знать дикими воплями, а его готовили к выписке из больницы. Девять лет назад его арестовали по доносу сослуживца, претендовавшего на Гринину должность в каком-то министерстве. Беспочвенный арест потряс его настолько, что у него появилась мания преследования. Ему казалось, что его преследует сам Хрущев, с которым он когда-то работал. Кагэбисты не знали, что с ним делать, и уперли его в спецбольницу, в Казань. Там за эти годы он окончательно "дозрел". От принудительно вводимых лекарств у него началась атрофия ног. Он лежал на койке и с утра до ночи сочинял стихи примитивной формы и дикого содержания. В одном из таких "стихотворений" рассказывалось о дочери. Она убеждала его в том, что ему никто зла не желает. Он осыпал ее грязными ругательствами, клеймил как агента КГБ и вообще сомневался, его ли она дочь. Отвратительно расписывал ее женские прелести. За этими своими литературными занятиями он проводил все время, а потом, устав писать, читал написанное санитаркам. Те только головами качали: "Гриня, Гриня, такой способный человек! Мог бы стать министром, а занимаешься такими глупостями!" Обидевшись на них, он хватал полотенце и пытался им себя задушить. Нянечки бросались к нему, вырывали из рук полотенце, а он, выпучив покрасневшие глазница, закатывался в безумном смехе.

Как-то раз ему захотелось потолковать со мной, как еврей с евреем. Вполне советский человек, он проявление антисемитизма видел только в том, что его не сделали министром. Наша с ним беседа была короткой. После его совершенно бессвязной речи я поспешил ретироваться. Да, девять лет назад он был вполне нормальным человеком. Это понимали даже санитарки. Как-то ему принесли газету:

- Соболь, вот газета! Почитайте! Некролог на смерть Хрущева. Больше вам некого бояться.

- Вы не знаете Никиту! Нельзя верить ни одному его слову. Меня он не обманет! Я требую, чтобы нас обоих вызвали на международный Гаагский суд. Там разберутся, кто прав.

Иногда Гриня Соболь, лежа на койке, пел, кричал, произносил бессмысленные речи. Как-то раз врачи попытались силой заставить его ходить, считая, что он симулирует атрофию конечностей. Его стащили с постели и, голого, волокли по полу. Он истошно матерился и орал:

- Все равно я буду бороться за свои политические права! Я никогда не сдавался и не сдамся - сколько бы меня ваши надзиратели ни били и ни травили лекарствами и уколами!

Так среди настоящих и ненастоящих психов проходило время. Для установления диагноза мне назначили какое-то исследование. Повели в лабораторию "высшей нервной деятельности". Большой зал, в котором я очутился, был весь уставлен электронной французской аппаратурой. Из одного прибора медленно выползала лента, испещренная какими-то кривыми. Двое в белом, несомненно евреи, увлеченно обсуждали какую-то научную проблему. Санитарки завели меня в маленькую комнатку и усадили в кресло, похоже на зубокабинное, с той лишь разницей, что оно каким-то неизвестным мне образом фиксировало мое малейшее движение. К голове, рукам и ногам прикрепили специальные датчики. Вошел молодой парень и объяснил:

- На стене будут зажигаться и гаснуть картинки, а вы должны говорить, что на них изображено. Необходимо установить предельную скорость, при которой ваш мозг способен регистрировать смену картинок.

На меня надели наушники, погасили свет и оставили одного в темноте и полной тишине. "Очевидно, - подумал я, - эксперимент послужит основанием для окончательного ответа на вопрос - болен я или психически здоров". Я не знал, что лучше для меня: быстрая или замедленная реакция. И вдруг запрыгали картинки. Я напрягся и стал их называть. Мелькание порой становилось столь частым, что я не мог ничего разобрать. Сеанс продолжался пятнадцать минут и повторился на следующий день. От колоссального нервного напряжения меня била дрожь. Я пытался скрыть ее, но от этого становилось еще хуже. А молодой еврейский парень, руководивший экспериментом, не обращая на меня никакого внимания, любезничал с девушками, подшучивал над их покупками и вообще вел себя так, будто меня вовсе не существовало. Неужели он не понимает, что мучает своего же брата? Будь он гой, мне было бы легче. Но еврей?!

Вновь замелькали картинки... Стыскивая зубы, я внушал себе, что это вовсе не картинки на стене, а огни автомобилей на улицах Иерусалима. От этого становилось вроде легче. И вдруг я понял, что, в сущности, все равно: укут ли меня в психушку или сведут с ума экспериментами. Я заявил Маргарите Абрамовне:

- Больше на эксперименты не пойду. Я не подопытный кролик!

- Что, испугались? Ведь это не страшно!

- Все равно не пойду! Хватит с меня! - наотрез отказался я.

Как ни странно, она приняла мой отказ спокойно. Возможно, решение о моей судьбе было уже принято, и, конечно, не в Институте Сербского. Вопрос стоял так: стать безумным или остаться среди нормальных.

Однажды ко мне на койку подсел заключенный из соседней камеры - калмык Ермак Сергеевич.

- А вы, молодой человек, чего хотите? - спросил он. - Избежать суда и на принудительное лечение или все-таки в лагерь?

- Конечно, в лагерь, какой бы срок ни дали.

- Совершенно верно. Вы даже не представляете себе, как психиатрическая тюрьма корезит человека!

Он знал это по собственному опыту. Ермак Сергеевич два года провел в Казани на принудлении. В Москву его привезли для установления окончательного диагноза. В 1941 году, имея высокое воинское звание, он перешел к немцам. После войны жил в Бельгии, работал на шахте, вступил в социалистическую партию, был членом общества бельгийско-советской дружбы. В 1968 году он решил повидаться с семьей и в качестве туриста приехал в СССР. Вышел прогуляться, его схватили и увезли в неизвестном направлении. Ни новая семья в Бельгии, где у него было одиннадцать детей, ни старая в России не знали, где он находится. Его ожидал расстрел за измену родине, и поэтому он пошел на рискованный шаг: симулировал, и довольно успешно, безумие. Иногда, впрочем, казалось, что он заигрывается до того, что и впрямь начинает терять рассудок. По ночам он кричал во сне:

- Прекратите эту пытку! Я знаю, у вас есть препарат. Вы вводите его прямо в мозг. Но я честный человек! Я вам все рассказал! Не надо! Не надо! Ой, ой, ой!

А когда утром приходил врач и спрашивал:

- Что это с вами ночью было?

Он отвечал:

- А что? Ничего!

- Говорят, вы кричали.

- Да нет! Не помню! Может, зубы болели - вот и стонал немного.

Врачи озадачены: врет или действительно болен? Так или иначе, но спать рядом с ним не очень приятно. Мне хотелось как можно больше разузнать о Бельгии, о бельгийских евреях, об отношении к Израилю. Он обладал отличной памятью и интересно рассказывал о жизни на Западе, экономических и политических проблемах:

- У нас в каждом учреждении, - говорил он, - висит Декларация прав человека, и если начальник ведет себя неправильно, мы ему говорим, что он нарушил такой-то пункт. А в России даже не знают, что у человека есть какие-то права...

Тут он спохватывался, что "няня" может услышать, и говорил примерно так:

- Но в России у рабочего класса гораздо больше прав, чем на Западе. Здесь все равны! Вдруг взрывается Коля Иванов:

- Да заткнись ты, черт побери! Ничего себе, подобрались политические: один - коммунистический проповедник, другой подхватил женскую болезнь, третий (это, очевидно, я) нагребил чемодан золота и хотел бежать в Израиль! Тут Россия гибнет, а они в шахматы играют!

Вбежали санитары, утихомирили разбушевавшегося таксиста, и каждый отправился на свою койку.

Вечер накануне Рош га-Шана, Новолетия. Настроение совсем не праздничное. Вдруг сообщили: умер Абдель Насер. Его смерть предвещала большие перемены на Ближнем Востоке. Я воспринял это как предзнаменование: даже во мраке нельзя терять надежды. Я немного повеселел, да к тому же и нянечка принесла из дома сливовые косточки, оставшиеся у нее после варки варенья. Это был настоящий пир.

Через несколько дней состоялась заключительная экспертиза. За пару часов до нее я прочел в газете, что мой сокамерник по ленинградской тюрьме, Морозов, приговорен к расстрелу. Это вывело меня из равновесия.

Экспертиза проходила в форме личной беседы. Одна врачиха весьма заинтересованно попросила меня рассказать ей о жизни в Израиле: о ценах на продукты и вещи, о возможности приобретения квартир и т. п. Я уже знал эту тактику по допросам Попова, но все равно меня тянуло поговорить с ней по душам. Затем предстояла беседа с самим Лунцем. Обычно он беседовал с заключенными без свидетелей, но тут, наверное, опасался, что его могут заподозрить в симпатиях ко мне как к еврею, и поэтому наша беседа протекала в присутствии других врачей.

- Почему вы не даете показаний?

- Я вовсе не отказываюсь их давать. Просто я мало знаю.

- Почему вы хотели жить в Израиле?

- В таком духе я воспитан.

- Что вы предпочитаете: попасть на лечение или быть судимым?

- Предпочитаю то, что лучше.

- У вас есть ко мне какие-нибудь просьбы? Может, я могу вам чем-нибудь помочь? - это прозвучало даже как-то тепло.

Не исключено, что он впервые имел дело с молодым сионистом. Но я также знал, что на его совести много грехов и больные называют его палачом. Я посмотрел ему в глаза и сказал ровным спокойным голосом:

- Прошу вас только об одном - не причинять мне зла.

Казалось, он смутился.

- Желаю вам удачи, молодой человек! И ни о чем не беспокойтесь!

На следующий день меня перевели из Института Сербского в специальную тюрьму КГБ, в Лефортово.

Я много читал об этой московской тюрьме. Она построена лет двести назад в честь императрицы Екатерины, поэтому имеет форму буквы "Е", причем каждая перекладина этой буквы - пятиэтажный дом, в котором находятся камеры. Между зданиями - открытое пространство, затянутое сеткой для предупреждения самоубийств. В центре скрещения перекладин - пульт регулировки движения. Там стоят часовые. В руках у них белые и красные флажки. Взмах флажком - и путь открыт. Это значит: навстречу не ведут другого заключенного. Зэки не имеют права видеть друг друга.

Очутившись теперь в этой тюрьме, я почувствовал себя настоящим арестантом, да и выглядел таким: дырявые башмаки, грязное пальто, узелок с майкой, парой белья и еще какой-то мелочью - вот и все мое имущество!

Я уже без смущения раздеваюсь догола при надзирателе, могу часами стоять в тесном "пенале", ожидая своей очереди на санобработку: вещи кладут в печь для "прожарки" вшей, а тебе самому выдают кусок черного мыла и отправляют мыться. В душевой с отвращением ступаешь по грязному полу, перепрыгивая через кучи мусора, окровавленных бинтов и мокрых бумаг. Затем меня, "санобработанного", ведут в камеру номер тридцать семь. Она у верхней перекладины буквы. Так каждый раз привыкай к новому месту. Надолго ли? Вокруг камень, окрашенный в черный и красный цвет. Пока не установишь связи с другими камерами, чувствуешь себя одиноким и покинутым всеми. Впрочем, я знаю, что не один: Кто-то наверху, вокруг меня, рядом и направляет меня. Необычайное чувство. Не знаю, насколько оно присуще другим. Меня оно погружало в состояние покоя и уверенности. Это вера.

Отбой. За окном темная холодная ночь. Что будет со мной? Куда отправят отсюда? На принудительное лечение, которое превратит меня в идиота, или в тюрьму на долгие годы? Всю ночь беззвучно молюсь. Тихо... Изредка луч прожектора, обегая стены тюрьмы, упирается в мое окно и заливают камеру светом мертвой луны. А на завтра с утра:

- На выход! С вещами! Быстро! Быстро!

Капитан КГБ зачитывает постановление о "продолжении следствия". Спасен от мира безумия. Но ни радости, ни надежды...

За день до Йом-Кипур меня привезли на вокзал и посадили в пассажирский вагон. У троих сопровождающих оттопырены карманы пальто. Оружие. Конвоир в чине капитана предлагает мне яблоко. "Случайно" при нем оказывается и книга о Йосефе Бен-Матитьягу (Иосифе Флавии). Неужели он по долгу службы изучает такую литературу? Погружаюсь в восстание 68 года, заново осмысливаю историю восхождения и падения Иосифа. Очевидно, мало быть мудрым, решительным и уметь повести за собой народ... Надо еще мужество для того, чтобы спокойно умереть, понимая, что и это - от Творца. Сидя в пещере без воды и хлеба, не сдать врагу и держаться не ради славы, а потому, что иначе просто не можешь...

За час до наступления Йом-Кипур приехали в Ленинград. Ведут по знакомым уже коридорам в камеру-одиночку. Приносят ужин. Но пост начался, и я отказываюсь от еды. Я лишен возможности молиться - нет молитвенника. Зато весь погружаюсь в воспоминания. Думаю, думаю о многом. Ведь корень наших неудач - не в тактических ошибках, а в собственных нравственных изъянах. Наибольший грех - забывая о своих реальных возможностях, вести себя так, будто определяешь волю Творца. В наших силах лишь способствовать исполнению Его воли. Каждый верующий знает, когда он преступает грань и когда он уклоняется от исполнения этой воли. Надо быть честным перед самим собой.

Несколько дней не вызывали на допросы. Пока я находился в Институте Сербского, следствие подошло к концу. Теперь дело закрывали. Предложили адвоката. Лучше бы отказаться от него. Все равно ни один советский адвокат не может сказать в суде: "Мой подзащитный невиновен, ибо каждый человек имеет право жить на своей родине, а у моего подзащитного это право отобрали". Конечно же, ничего подобного адвокаты не могли себе позволить без риска самим оказаться в тюрьме. Попов сообщил мне, что так как латвийская коллегия адвокатов отказалась прислать на процесс своего члена, для меня пришлось пригласить защитника из Ленинграда. Стоило только посмотреть на этого "защитника", чтобы понять, что он такой же кагебешник, как и Попов. Меня начали знакомить с материалами следствия. Всего дали томов двадцать. Целая библиотека лжи, подтасовок и вынужденных признаний. Первая страница первого тома открывалась донесением оперативного отдела КГБ Ленинграда от 14 июня 1970 года. Оно гласило примерно так: группа преступников в составе М. Дымшица, Э. Кузнецова, Ю. Федорова и других собирается совершить изменнический акт - бегство за границу путем угона самолета.

Узнать бы, откуда такое донесение? Но ведь оно не первое, а последнее. Когда же поступило первое? И почему КГБ не отреагировало на эти "сигналы" нормально, по-человечески: ну, не хотят жить в России, пусть уезжают в свой Израиль! Зачем понадобилось доводить до опасного и рискованного решения, которое грозило смертью? Очевидно, все делалось КГБ сознательно. В сущности кагебешники спровоцировали наш акт отчаяния и решимости. По существу, главным обвиняемым на суде должно быть КГБ.

Все остальные тома нашего "дела" позволяли проследить, как вымогались показания - ложью, шантажом, игрой на человеческих слабостях. Я перелистывал страницу за страницей и мне казалось, что я вижу слезы подследственных. Любопытны протоколы допросов моих сослуживцев. Русские, как правило, враждебно настроены ко мне: "Парень способный. Однако себе на уме. В общественной жизни участия не принимал. Думал только о том, как бы уехать в Израиль". Зато начальник, латыш, всю хвалил меня: "Трудолюбив, быстро продвигался по службе. Выполнял работу инженера, но не настаивал на получении соответствующей должности, ибо считал нескромным претендовать на большее, не имея на то формальных оснований". Я был благодарен ему за то, что не предал меня, не рассказал, как мы с ним обсуждали сводки Шестидневной войны и радиопередачи "Голоса Америки". Рассмешили меня показания моего товарища по работе, еврея. Он рассказал следователю, что я был предан идеям сионизма, хорошо знал историю еврейского народа и изучал иврит. Такая характеристика вполне могла пригодиться для рекомендации на работу в Израиле, а не в СССР, да еще для КГБ! Неужели, расхваливая меня перед КГБ, он не понимал, что это послужит поводом добавить мне еще пару лет срока? А вот и очные ставки с Виктором Богуславским и Лейбом Кореном. У них нашли книги, которые я передал им 7 марта 1970 года. Они должны были объяснить, чьи эти книги и как они попали к ним. Назвали меня. Я, естественно, не собирался признавать этот факт. Ввели Корена... Чувствовалось, что ему, так же как и мне, неприятна эта ситуация. От нас потребовали, чтобы мы "в дискуссии" установили истину. Мы отказались: каждый из нас остается при своем мнении.

- А следователь, значит, пусть сам разбирается, кто врёт, а кто говорит правду? Так, что ли, по-вашему?

- Да уж придется, ничего не поделаешь!

Обычно на очной ставке каждая сторона пытается доказать свою правоту. Возникает спор и тут-то всплывают детали, которые раньше скрывали от следствия. При этом каждый невольно старается себя выгородить. А мы сидим, смотрим друг на друга и улыбаемся. Следователь взбешен - не получилось.

Вошел Виктор Богуславский. Я обрадовался ему. Он держал себя уверенно, с чувством собственного достоинства. Заспорил со следователем об истинной сути ленинизма. Следователь сказал с уважением:

- Вы, Виктор Ноевич, хоть и наш враг, но о коммунизме знаете больше, чем я. У вас было больше времени для чтения.

Адвокат, приставленный ко мне КГБ, читая дело Залмансона, ехидно заметил: "Отец Залмансона воевал всю войну и не получил ни одной медали. Интересно, где он воевал?"

Это был обычный, ходовой антисемитский намек на то, что евреи воевали, мол, в Ташкенте, а на фронтах гибли русские. На самом же деле Иосиф Залмансон на фронте был ранен и потерял руку. Столь откровенный антисемитизм "защитника" вызвал мое решение немедленно отказаться от его услуг. Положение осложнялось: по советским законам суд, рассматривающий дела, предполагающие смертную казнь,

должен проходить в присутствии адвоката.

Заккрытие дела дает повод выхлопотать себе различные "блага", например, продукты из дома или даже обмен письмами с родными. Мне хотелось получить назад ермолку и некоторые книги, изъятые при обыске.

- Не подпишу дела, пока не вернете ермолку!

- Ермолку в тюрьме носить не положено!

- Тогда ничего подписывать не стану.

Ермолку принесли. Я ее тотчас надел. До этого покрывал голову носовым платком. Это вызывало насмешки. Теперь больше не потешались надо мной, а только смотрели на меня ненавидящими глазами и придирались при каждом удобном случае. Кроме кипы ничего не вернули. Я спросил, где шоколад, отобранный при аресте.

- Уничтожен. Думали, отравленный.

- Так ведь я его ел! Кроме того, могли и на собаке проверить!

- Станем мы ради вас собак травить!

Конечно, я думал о том, какие приговоры нас ждут. Однажды в кабинет, где меня допрашивали, зашел следователь Эдика Кузнецова. Я спросил, как Эдик себя чувствует.

- Неплохо. Но вы ведь знаете, его ожидает смертная казнь, - добавил следователь.

Итак, впереди ничего хорошего. Приговоры им известны еще до суда. Все заранее решено.

В начале ноября мой следователь, читая при мне газету, заметил:

- Ну, теперь вам всем вообще жарко придется!

- Почему?

- Вчера два литовца, отец и сын Бразинкас, приказали советскому пилоту менять курс и лететь в Турцию. Когда стюардесса, Надя Курченко, заслонила собою вход в кабину летчика, старший убил ее из самодельного ружья и ранил двух пилотов.

Он знал, что говорил. Чтобы отучить других угонять самолеты, нужно сурово покарать нас - для острастки. В связи с убийством стюардессы наш суд был отложен на месяц. Теперь он намечался на 15 декабря.

Я отказался от казенного адвоката, и поэтому мне надо было получить хоть какую-нибудь юридическую литературу, чтобы самому подготовиться к защите на суде. Однако ничего я не получил.

За две недели до суда меня вызвали в комнату свиданий. Там меня ожидал незнакомый черноволосый мужчина среднего роста.

- Моя фамилия Ария. Меня просили ваши родители быть вашим защитником на суде. Нужно получить ваше согласие. Я слышал, вы хотите обойтись без адвоката?

- Сначала поговорим немного, а потом я окончательно решу. Как чувствуют себя отец и мать?

От напряжения меня била дрожь. Подумать только! Вчера он видел моих родных, о которых я уже полгода ничего не знаю.

- Ваши родители здоровы. Просили передать, чтобы вы не волновались. Они вас любят и беспокоятся о вас.

- Кто обратился к вам с просьбой защищать меня?

- Ваш брат Мендель. Перед выездом за границу он был в Москве и встретился со мной, - ответил он, сверля меня своим умным пронизательным взглядом.

От радости я едва не потерял дар речи.

- Мендель!.. За границу?..

- Да, теперь многие уезжают в Израиль!

Вот это новость! Могли бы арестовать, а выпустили в Израиль. Значит, не все потеряно. Напротив, это похоже на победу.

- Как вы расцениваете возможности защиты?

- Видите ли, я, как правило, отказываюсь от таких дел. Практически все заранее решено. Кроме того, если адвокат не будет достаточно осторожен, он может потерять работу. С вашим делом я ознакомился лишь поверхностно. Кое-что слышал о нем раньше. Евреи очень встревожены вашим поступком: боятся, что теперь их всех снимут с ответственных постов и вообще перестанут доверять.

- Ну и нечего им здесь делать! Пусть уезжают домой, в Израиль!

- Не все думают так, как вы. Скажите, - он открыл папку с моим делом, - вот тут вы подтверждаете, что отдавали себе отчет в том, что наносите ущерб государственному суверенитету СССР. Вы действительно так сказали?

- Да. Когда прокурор Катуква спросила, понимал ли я, что, совершая подобный поступок, нарушаю суверенитет СССР, я ответил: если переход границы является нарушением суверенитета, то я, конечно, отдавал себе в этом отчет.

- Но поймите: нарушение государственного суверенитета ничего общего не имеет с нарушением границы. Они просто воспользовались вашим незнанием юридических терминов и вынудили у вас показание, направленное против вас. Фактически это означает, что вы признаете себя виновным в измене родине.

- Я не признаю себя в этом виновным!

- Вот видите, не признаете, а в протоколе допроса записано наоборот. Не знаю, как удастся опровергнуть это утверждение. Ну, как вы решили? Согласны, чтобы я вас защищал?

Я согласился: этот умный и цепкий армянин располагал к себе. Позднее я узнал, что Ария - один из крупнейших юристов, автор известных трудов по советскому уголовному праву. Гонорар он брал немалый - годичный заработок рабочего за одну защиту. Если бы не помощь из-за границы, моей семье было бы не под силу заплатить ему.

Прошли лето и осень. Наступила сырая ленинградская зима с долгими ночами, тусклыми днями и пронизывающими холодными ветрами. Впрочем, погода не играла существенной роли для заключенного. Утренняя прогулка начиналась тогда, когда солнце еще и не показывалось на небе. От этой тьмы, дождя и каменных стен прогулочного дворика отдавало какой-то безнадежной тоской. Тюремный распорядок я уже знал досконально, тюремное меню заучил наизусть - благо там и учить нечего. В промежутках между едой и прогулкой мы много спали, читали и разговаривали.

У меня опять новый сосед по камере. Как и прежде, не случайный. Без сомнения, КГБ подсадило ко мне этого развитого и занятого человека. Он должен был доносить обо мне. Конечно, свои обязанности он выполнял исправно, хотя это не мешало ему относиться ко мне с искренним дружелюбием. История его небезынтересна и проливает свет на некоторые стороны советской действительности.

Дмитрий сидел за незаконную торговлю дрожжами. Работал шофером на дрожжевом комбинате, развозил готовую продукцию по магазинам. На комбинате, как и на других предприятиях, из "сэкономленных", то есть попросту украденных продуктов, изготавливали дрожжи сверх плана. Директор предприятия имел как бы свое частное "дело" внутри государственного. "Подпольные" дрожжи привозили в магазины, где их продавали наравне с "легальными", а дополнительный доход магазин и завод делили между собой. Дмитрий участвовал в дележе прибыли. Но, кроме того, он просто крал ящики с дрожжами и продавал их втайне от начальства. Итак, у него имелись две статьи дохода: одна - за счет частного предпринимательства директора, а другая - за счет собственной воровской инициативы. Подъехав к магазину, Дмитрий спрашивал продавщицу:

- Дрожжи возьмешь?

- Сколько?

- Два ящика.

- Давай. Почему?

- Двести за ящик и бутылку водки.

- Держи!

И так от магазина к магазину. Жители огромного четырехмиллионного города, где дрожжи были дефицитным товаром, довольны - дрожжи всегда на прилавках. Дмитрия считали порядочным человеком. Крали все, и кража у государства не считается в Союзе безнравственной. Однако когда он попался, обозленный директор комбината не только не взял его под защиту, но и попросту продал - отдал под суд. Дмитрий получил три года. Хотя он не имел высшего образования, парень он был не темный. Его отец - известный советский кинорежиссер. Сам он вращался среди киношников, иногда даже снимался в массовых сценах. Из лагеря, где он отбывал свой срок, в тюрьму КГБ попал из-за своей природной склонности к авантюрам. Однажды замначальника по политчасти спросил его:

- Дмитрий, ты вот бригадир, хорошо знаешь заключенных из своей бригады. Есть ли у тебя такие, которые хотят досрочно освободиться?

- Конечно, есть, - ответил не задумываясь. - Но поведение у них плохое, и поэтому мало шансов.

- Неважно. Назови несколько надежных. Я дам им хорошие характеристики, а из личных дел мы вырвем справки о наказаниях. Это будет стоить 500 рублей.

И завертелось. В игру были втянуты высокие чины. Поэтому, когда дело раскрылось, к нему в камеру стали приходить работники лагеря и умолять ничего не рассказывать. КГБ перевело его в свою собственную тюрьму: хотели избежать возможного давления на него со стороны и досадить своим конкурентам - сотрудникам Министерства внутренних дел, в ведении которого находится ГУЛАГ. Не сомневаюсь, что Дмитрия в тюрьме завербовали и он стучал на меня. При этом он испытывал ко мне добрые чувства. Однажды утром он даже прочел стихотворение в мою честь, которое он написал ночью. По-видимому, прощался со мной. Накануне его предупредили, что переведут в другое место.

Да, мои первые спутники по тюремной жизни были весьма далеки от совершенства: валютчик, нацистский полицай, вор-авантюрист. Не у кого искать моральной поддержки.

Борьба со следователями осталась позади. Время тянулось тошнотворно долго и однообразно.

За неделю до суда от сестры Евы пришло письмо: "Почему не пишешь? Все знакомые рижане уже давно прислали письма. Что с тобой? Папа чувствует себя неплохо. Пиши. Мы все тебя очень любим". Это было первое письмо, полученное в тюрьме. Я хранил его все лагерные годы, но перед выездом из России его у меня отобрали. Читая письмо, я плакал от любви к родным и от боли за них. И от досады: в отместку за упрямство на следствии мне не передали письма вовремя.

Предстоял суд, и я обдумывал тактику поведения. Суд не казался мне важным событием, я видел в нем лишь пустую формальность. Я считал, что должен вести себя с достоинством, ограничиться ответами на вопросы, не допускать излишнего пафоса. Возможно, я ошибался. Я не знал, что каждое произнесенное слово будет записано и передано на Запад. Я не знал, что за процессом будут следить миллионы

людей. Я решил не стараться произвести эффект - ведь в зале суда, кроме родных, будет заранее подобранная публика. Мне не хотелось участвовать в чужом спектакле. Я не политический деятель, использующий суд как трибуну. Я есть я, и я - это частица моего народа. Я стремился к одному: быть верным самому себе, своему народу, Б-гу, Который слышит и больших и малых одинаково. Главный суд и истинное действие совершаются не здесь. Мое слово должно быть кратким и емким, как "Шма Исраэль"⁷.

Тем не менее я обдумал, как одеться: и чтобы не простудиться, и чтобы неплохо выглядеть - ведь в зале будут родные. На мне была безрукавка, сшитая мамой, и свитер Менделя. Так что меня согревало тепло близких.

С утра тюрьма наполнилась шумом. Настроение праздничное. Всех повели бриться, выдали новое нижнее белье. Потом по одному заводили в комнату, где ждал спецконвой. Высокий полковник в шинели до пят - ни дать ни взять "сталинский сокол" - строго спросил:

- Оружие, золото, антисоветская литература имеется?

- Золото в Израиль отправил, - бодро ответил я.

Обыск. Потом вниз по лестнице к машинам. На каждого из наших - отдельный фургон "воронок". Обычно в нем перевозят по тридцати арестантов. Кортёж из десяти крытых машин в сопровождении синих милицейских "квакушек" мчится в сторону суда мимо усиленных нарядов постовых милиционеров. Жутко, таинственно и торжественно! Недавно один бывший ленинградец рассказал, что наблюдал из своего окна эту черную процессию. Она навела на него такой ужас и такую тоску, что он не выдержал и задернул шторы.

У входа в суд нас ждали родные и друзья. Едва из первого "воронка" выскочил бодрый и подтянутый Марк Дымшиц, как раздался радостный шум приветствий. Толпу немедленно оттеснили, а "воронки" подогнали к самому входу. По команде: "Наверх бегом!" - вдоль коридоров, наполненных милиционерами. Да, влетело им это представление в копеечку!

В зал вводили, когда публики там еще не было. Рассаживали по строгому плану, продиктованному государственными соображениями. Рядом не должны были сидеть близкие друзья - не то договорятся и совершат какой-нибудь политический выпад! Первой ввели Сильву, последним - Эдика. Его и Марка посадили на первую скамью, между ними - "нейтрального" Мурженко, на вторую - меня и Федорова.

Когда меня ввели, я огляделся и впервые после долгой разлуки увидел всех ребят вместе:

- Шаломчик!

Сильва засмеялась, ребята закивали головами. Разговаривать запрещено. За спиной и с боков вооруженные солдаты-конвой. Следят за каждым поворотом головы. Как же, судят "врагов народа"! Сидим за барьером, на четырех длинных скамьях, на

которых уместилось бы человек тридцать. Зал, где нас судят, большой. Вот запустили публику.

Не описать нашу молчаливую встречу с родными. Они не плачут. Стараются улыбаться. Вот папа со знакомой авоськой в руках. Хочет передать мне яблоки, но ему не разрешают. Машет мне рукой. Я стараюсь показать, что спокоен и уверен в себе.

Из серой волокиты суда с трудом можно выделить какие-то запавшие в память подробности: микрофон в руках прокурора Соловьева похож на настольную лампочку, а стакан, из которого он пьет, на абажур. Смешно. А еще: адвокаты почему-то пили из его недопитого стакана.

Полгода запрещали писать. А тут - чудо: на время суда выдали карандаши и бумагу. Все формальности растянуты, ибо длительность судебной процедуры должна свидетельствовать о важности процесса и о тщательности рассмотрения дела. В действительности, все это можно было повернуть за несколько часов: исход был заранее предрешен и ясен прокурору и судьям. Это даже и не спектакль, а так, одна форма.

Два народных заседателя - в подражание царскому суду присяжных - люди простые, с трудом улавливающие суть дела.

Первым допрашивали Марка. Он говорил гордо, упрямо и с какой-то внутренней обидой. Его речь звучала очень убедительно, и я подумал, что даже коммунисты-комсомольцы, запущенные в зал по спецразрешениям, не могли не чувствовать правоты и искренности его слов. Казалось, он все сказал - остальным и выступать-то не стоит. Потом дали слово Сильве, а затем неожиданно для меня наступил мой черед. Я думал, что буду выступать завтра, и поэтому даже не подготовил тезисов. Но моя позиция была ясна: никаких претензий к СССР у меня нет. Я хочу одного: попасть на мою Родину... Меня перебил прокурор:

- Русский народ выделил вам Биробиджан и поезжайте туда! Оттуда гора Сион хорошо видна!

Я возразил:

- Позвольте мне самому решать, какое государство, а не область является моей Родиной.

Меня резко и грубо перебивали, задавали много вопросов. На один из них: что делал бы в Израиле, я ответил:

- Материальная сторона меня мало интересует, но я твердо знаю, что могу жить только там!

Припомнилось заверение полковника ОВИРа Кайи: "Сгниете здесь, забудьте об Израиле!" Я решительно отверг обвинение в "измене родине". Израилю я не изменял. Это не моя прихоть жить в Израиле - Б-г избрал народ Авраама, Ицхака и Яакова, чтобы он жил в Эрец Исраэль.

Тут вскочил мой адвокат:

- Правда ли, Менделевич, что вы проходили психиатрическую экспертизу?

Мой "защитник" словно хотел сказать суду, что не стоит обращать внимания на мою болтовню о вере. Это, дескать, признаки ненормальности. Я же расценил его вопрос, как довольно нечистый трюк.

На следующий день судебное заседание началось с допроса Эдуарда Кузнецова. Его выступление отличалось веской аргументацией как с юридической, так и с чисто человеческой точек зрения. При этом, несмотря на весь трагизм положения, его не покидало чувство юмора.

При допросе свидетелей возник спор: применили бы мы насилие, чтобы завладеть самолетом? Мы утверждали, что только в том случае, если бы летчики оказали сопротивление. Тогда всплыл другой вопрос: успели бы пилоты отреагировать на нападение? Вызвали в зал пилота. Передергивая факты, прокурор Катукова обратилась к нему:

- Ну вот, представьте себе: вас ударяют кастетом по голове, засовывают кляп в рот, связывают по рукам и ногам, запихивают в спальный мешок. Вам бы это понравилось?

- Ну, а вам бы это понравилось? - ответил летчик вопросом на вопрос.

В зале раздался смех. Однако получилось, что если пилоту не по вкусу насилие, он оказал бы нам сопротивление, и мы тут же пустили бы в ход оружие. Чтобы разбить этот ошибочный вывод, Дымшиц спросил:

- Скажите, что бы вы успели сделать, если бы вас внезапно схватили за руки двое мужчин?

- Ничего бы не успел, - растерянно признался летчик.

Тут опять Катукова:

- Но ведь у вас был револьвер?!

Однако Дымшиц продолжает:

- Револьвер у вас лежал в портфеле, верно? Вы успели бы его извлечь оттуда?

- Нет, не успел бы, - соглашается летчик.

Но прокурор Катукова не унимается:

- Дверь в кабину должна быть закрытой. Значит, вы успели бы достать револьвер.

Тогда наступает черед Эдуарда нанести неожиданный удар:

- Скажите, когда пилот выходит встречать и провожать пассажиров, дверь в его кабину остается открытой?

- Да, остается открытой.

- А по инструкции?

- Должна быть закрыта.

Итак, Марк и Эдик опровергли утверждение прокурора о том, что мы непременно должны были пустить в ход оружие. Невелика победа? Конечно. Но она демонстрирует боевой дух наших друзей.

Другая схватка с судом произошла из-за цены самолета, который мы якобы хотели украсть. Суд явно зависил цену - шестьдесят четыре тысячи рублей. Дымшиц считал: не более тридцати тысяч. Незаметно наклонившись вперед, тихо говорю Марку, сидящему передо мной:

- Я помню, что самолет был оранжевого цвета.

- Оранжевый стоит тридцать тысяч...

- Ты считаешь, что стоит дать такое показание?

- Попробовать можно. Хотя после суммы в десять тысяч все равно положен расстрел.

Поднимаю руку.

- Гражданин судья! Я вспомнил, что самолет был оранжевого цвета. На нем цифры 2-4-5. Прошу проверить по документам стоимость этого типа самолета.

- Вы, Менделевич, слишком много помните из того, что вам надо. Мы лучше вас знаем цвет самолета. Посмотрите-ка сюда! Это вы помните? - и судья Ермаков показывает мне два кляпа. (Они в три раза больше тех, которые мы когда-то приготовили. Размеры кляпов вызвали бурную реакцию в публике.)

- Я действительно держал в своем мешке кляпы, но не такой величины!

- А, теперь вы вдруг потеряли память! Садитесь и постарайтесь вспомнить.

Второй летчик подтвердил, что самолет стоит тридцать пять тысяч рублей.

Вызвали художника Берга, у которого когда-то учился Боря Пэнсон. Художник смертельно перепуган и, чувствуется, готов давать любые показания. Он поклонился трижды: прокурору, судье и секретарю. В нашу сторону побоялся даже взглянуть.

- Пэнсон всегда был недоволен положением в России. Однажды при встрече со мной он сказал, что в магазинах ничего нет.

Все сидящие в зале знали, что магазинные полки пусты. Такое показание еще ни о чем не говорило против Бори. Тогда последовал наводящий вопрос:

- Высказывал ли вам Пэнсон когда-нибудь свои антисоветские взгляды?

Это тяжелый вопрос, ведь речь шла об ученике. Судья явно наслаждался замешательством еврея.

- Что вы, - опомнился Берг. - Я немедленно принял бы меры!

- Какие?

- Сообщил бы в НКВД.

Он оговорился, и эта оговорка примечательна, так как показывала, какие смертельные страхи захлестывали душу одного из лучших художников Латвии. Он не стыдился своей готовности стать доносчиком. Пятясь задом к двери, глубже натягивая на лоб берет, он покинул судебный зал с чувством выполненного долга - дал показания против Пэнсона. Бергу было тогда пятьдесят пять лет. Он учился еще в довоенной Латвии, помнил основы еврейской традиции и, может быть, не только боялся, но и ненавидел советскую власть.

Но вот два других свидетеля. Люди новейшей формации. Без капли еврейства в душе. Они подличали уже не за страх, а за совесть. Еще тогда, на суде, я решил непременно написать о них. За год до нашего ареста к Арье Хноху приехала родственница из Казани, Аня. Ее поразила наша увлеченность Израилем, наша деятельная вера в него. Возвратясь домой, окрыленная услышанным, она поделилась впечатлениями со своим братом Аликом и его другом. Они тоже приехали в Ригу. Арье - отчаянный спорщик, а ребята вряд ли были подготовлены к потоку информации, обрушившейся на них. Израиль, еврейский народ, советская агрессия в Чехословакии, экономическое и политическое положение в СССР. Арье ошеломлял их безжалостной правдой, которая разрушала их прежние представления обо всем. Но "лобовая атака" не удалась. Парни уехали домой не только не воодушевленные национальной идеей, но и возмущенные несоветским образом мыслей Хноха.

Аня позже справедливо упрекнула Арье в неправильном подходе к ним: "Ты должен был говорить с ними о хорошем Израиле, а вместо этого ты завел речь о плохом Советском Союзе"* . Так она писала в письме к Хноху. Оно было изъято при обыске и привело следствие в Казань, к Алику и его приятелю. Теперь они "чистосердечно" рассказывали суду об антисоветских настроениях Арье Хноха. Прокурор Соловьев подпрыгивал на стуле от радости. Ничего не могло быть печальнее этих двух молодых евреев, с рабским усердием предающих своего же брата. Защитник Хноха поставил под сомнение правдивость показаний:

- Свидетель, можете ли вы привести хоть один конкретный пример подобных разговоров?

- Нет, я не помню, - был ответ.

- Как же вы можете утверждать, что разговоры носили антисоветский характер, если вы их не помните?

- Ну, а разве вы не можете сказать, о чем стихотворение, если даже не знаете его на память?

- Умница! - прокурор чуть не свалился со стула от восторга и умиления.

Прошло еще несколько дней в пустых формальностях. Адвокаты произносили прекрасно аргументированные речи, но их превосходные выступления были для нас, их подзащитных, бесполезны. Будь я прокурором, непременно прослезился бы от их защиты и всех отпустил бы с миром, но я был лишь подсудимым, а они начинали свои речи стандартной формулой, звучавшей как заклинание от злых духов: "Я, как честный советский гражданин, гневно осуждаю поступок моего подзащитного"

Однако за холодной формулой отречения следовала настоящая профессиональная защита. Она сводилась к следующему: а) статью об измене родине следует заменить другой - незаконный переход границы; б) намерения похитить самолет не было; в) подзащитных судят не за совершенные действия, а лишь за намерение совершить их; г) никто из подсудимых не собирался свергнуть советскую власть.

Затем председательствующий предоставил слово "общественному обвинителю" Медноногову. Увешанный орденами и медалями, он клеймил нас обычными газетными словами:

- Подлые изменники продали советскую родину за кока-колу и жевательную резинку. Неспроста они затеяли свое злодеяние в юбилейный ленинский год, - твердил он глухим голосом. - Неспроста планировали свое гнусное преступление 2-го мая - они хотели испортить праздник мирового пролетариата!

Медноногов требовал для всех нас "высшей меры наказания".

Прокурор Соловьев в своем выступлении не снизошел до полемики с адвокатурой, а лишь подтвердил свою прежнюю позицию. Его речь была слабо аргументирована. Он, разумеется, говорил о "происках мирового сионизма", утверждал, что в Стране Советов нет и не может быть еврейского вопроса, требовал высшей меры наказания Дымшицу и Кузнецову, меня назвал "фанатиком", а Федорова и Мурженко подвел под 64-ю статью на основании вопросов, заданных им во время процесса. Так, он спросил Мурженко:

- Считаете ли вы, что, отбыв первое заключение, стали стопроцентным советским человеком?

Соловьев знал, что для Мурженко нет большего унижения, чем признать себя "советским человеком". На этом и строился расчет прокурора.

- Нет, я не был стопроцентным советским человеком, - последовал ответ Мурженко.

После такого заявления, разумеется, очень удобно в обвинительной речи сделать вывод, что Мурженко сам, мол, признался в антисоветских настроениях, и потребовать для него лишения свободы сроком на четырнадцать лет.

С Федоровым дело обстояло и того проще. Еще в 1962 году, во время первого суда над ним, он написал матери о том, что свобода ему нужна для продолжения начатой борьбы против советской власти. Письмо было перехвачено КГБ, Федорова судили, а затем помиловали и освободили досрочно. Кроме этого десятилетней давности

письма следствие не нашло ничего другого, что подтверждало бы теперешние антисоветские настроения Федорова. И тем не менее, потрясая письмом, прокурор заключил:

- Вот видите, он уже тогда вынашивал преступные замыслы!

Вечером 24 декабря 1970 года нас в последний раз привезли в зал суда. Предстояло выслушать приговор. По словам Арье Хноха, накануне был первый день Хануки. Я помнил даты еврейского календаря только до Йом-Кипур: не рассчитывал просидеть дольше. Свечей, конечно, не было. Как же отметить праздник? Я привез в суд яблоки и печенье из своей посылки и раздал их всем ребятам. Восемь евреев, как восемь горящих светильников, стояли перед судом палачей. Еврейский дом в России пребывал в осквернении и запустении уже шестьдесят лет. И все же еще достаточно масла оказалось в сосуде, чтобы зажечь молодые сердца стремлением бороться за освящение Храма.

Суд совещается при закрытых дверях. Ждем уже два часа. Боря Пэнсон встает, чтобы размять затекшие ноги.

- Не положено! Прекратить! Немедленно сесть!

Прибежал сам начальник конвоя, седой полковник. У Бори пошла кровь носом, и его увели в медчасть.

Последние часы перед разлукой. Хотелось сказать друг другу какие-то теплые прощальные слова. Изя Залмансон начал было, но...

- Прекратить разговоры! Молчать! Накажем!

- Как накажете?

- А вот передачи лишим.

Смеемся:

- Тут жизни лишают, а он - передачи!

- Мы-то что, лишь бы баски остались живы, - пророчески пошутил Толя Альтман, проведя параллель между нашим процессом и франкистским судом над баскскими террористами.

- Читали, что в Польше делается? Портовые рабочие в Гданьске начали забастовку, - сообщил Алексей Мурженко. - Когда слышишь такое, легче сидеть в тюрьме...

Приговор. Стоя выслушиваем, как судья Ермаков распределяет подарки по наказу прокурора. Стою и чувствую себя солдатом на посту. Смертные приговоры Марку и Эдуарду встречены в зале аплодисментами. Аплодировать смерти?! Чисто советская реакция "общественности", воспитанной судебными спектаклями конца тридцатых годов. Наши родные кричали: "Позор!". На лице Марка не дрогнул ни один мускул.

Сильва закричала, заплакала. Эдуард выдавил: "Никак большевики не напьются кровью. Ну, ничего, когда-нибудь они в ней захлебнутся!" Остальные приговоры были встречены спокойно. А из публики судье преподнесли цветы.

Наши близкие, вскочив на стулья, кричали: "Вам не придется сидеть весь срок! Запад знает о вас!"

И вдруг я увидел, как папа вступил в спор с каким-то "представителем общественности". Я забеспокоился: место и время дискуссии выбраны неудачно. У папы уже было несколько инфарктов, волнения ему ни к чему. Приговоры нас не потрясли - мы были готовы к жестокостям. Я чувствовал потребность в каком-то демонстративном действии. "Гатикву"8 что ли запеть или "Песню Пальмаха"? Но не нашлось никого, кто бы начал. Никого не тянуло на патетику. Сроки суровые и большие.

Выводили Эдика. Сильва рванулась к нему. Конвоиры ее схватили. Я оттолкнул одного из них, товарищи других, и под нашей защитой Сильва, вся в слезах, уже стояла возле мужа. Подоспело подкрепление конвоиров во главе с майором. Эдика с Сильвой растащили в разные стороны. Мой адвокат пытался меня успокоить. Я попросил увести отца из зала - как бы его не арестовали. В толпе споривших с папой я видел знакомые морды кагебешников. Я подошел к Марку и Эдику. Обнялись, расцеловались - до встречи! В исполнение приговора я не верил. Ни минуты не верил.

Несколько ночей тюрьма не могла уснуть от громких рыданий Сильвы.

Начались свидания с родными. Завершился еще один этап нашей борьбы за возвращение на родину. И мы не считали, что это конец или поражение.

Свидание с родителями было тяжелым. Папа почти не мог говорить, губы его дрожали, и слезы катились по лицу. Пятнадцать лет, к которым меня приговорили, не шутка... Я всегда гордился отцом. Я знал, что он сильный человек, я всегда хотел видеть его сильным. Горько было сознавать, что причинил ему страдания и подорвал здоровье. Мама не плакала. Переходя с русского на идиш, которого не понимал надзиратель, она помогла мне понять, что происходит в мире.

За стенами тюрьмы еврейские активисты каждый день передавали информацию о нашем процессе иностранным корреспондентам. За большие деньги специальный нарочный ежедневно отвозил в Москву записи, сделанные нашими родными в зале суда. Потом все переводили на английский и составляли сообщение для прессы. В этой опасной работе принимали участие Владимир Буковский, Владимир Тельников, Галина Ладыженская и другие.

Конечно, власти не хотели гласности, но помешать не могли. Еврейское национальное движение пробило брешь в тоталитарном безмолвии. Борьба евреев по-новому поставила проблему прав человека в Союзе, и становилось ясно, что насилие не может быть вечным и всемогущим.

23 декабря 1970 года шесть баскских националистов были приговорены испанским судом к смерти. 26 декабря Франко отменил смертные приговоры. Теперь советские коммунисты выглядели более жестокими, чем фашист Франко. Двадцать четыре государства сделали официальные заявления по поводу нашего процесса. Коммунистические партии Франции и Италии увидели в огласке происходящего в России угрозу их престижу. Социалистический интернационал, Римский папа, лауреаты Нобелевской премии выступили с протестом против приговоров. В Америке прокатилась волна демонстраций в поддержку евреев СССР. Движение возглавили Гленн Рихтер и Яков Биренбойм. В Лонг-Айленде Комитет в защиту советских евреев во главе с Линн Сингер организовал демонстрацию, в которой участвовало более пятидесяти тысяч евреев. В Советском Союзе тоже не молчали. Академик Сахаров послал телеграммы протеста Брежневу и Никсону. Москвичи, ленинградцы, рижане, родственники и знакомые осужденных и те, кто с ними не был знаком, писали коллективные письма и телеграммы Подгорному, председателю Президиума Верховного Совета СССР, председателю Верховного суда СССР, Генеральному прокурору СССР, Брежневу, президенту США Ричарду Никсону, Комиссии по правам человека при ООН, в израильский общественный комитет солидарности с евреями СССР. Под этими письмами стояли адреса подписавшихся. Это означало, что их в любой момент могли привлечь к ответственности, взять под наблюдение КГБ, выгнать с работы. Но вопреки всему они не боялись. Ста смертям не бывать, а одной не миновать. Молчать уже было нельзя.

А у нас, в тюрьме, все происходило так: через день после вынесения приговора в дверь моей камеры просунулась голова надзирателя:

- Менделевич, кассацию написали?
- Нет, нужно подумать. Не написал еще.
- Нечего думать! Пишите! Я приду через полчаса.

Удивившись такой спешке - к чему бы это? - я сел писать: "Все совершенное мною продиктовано национальными и религиозными убеждениями. Считаю, что суд вынес мне жестокий приговор и он должен быть изменен".

Через полчаса прибежал надзиратель:

- Готово?
- Да, готово, возьмите!

Минут через десять опять прибежал:

- Вот вам лист бумаги получше - перепишите!

Переписал. Снова пришел:

- Что так мало написали? Надо еще добавить!

Вот еще новости: надзиратель будет меня учить, как писать кассацию! Мне эта суета казалась смешной, хотя я и понимал, что все неспроста. История политических процессов за последние шестьдесят лет, вероятно, впервые зафиксировала такое. Из Москвы пришла директива немедленно пересмотреть дела. Наши кассации были отправлены в столицу через день после вынесения приговора, хотя по закону должны пройти две недели со дня судебного постановления.

29 декабря 1970 года в 10 часов утра Верховный суд РСФСР под председательством Л. Н. Смирнова приступил к рассмотрению наших кассационных жалоб. 30 декабря в 11 часов утра было оглашено определение Верховного суда РСФСР об отмене смертной казни Дымшицу и Кузнецову и о сокращении некоторым из нас сроков заключения. Управились всего за пять часов - не то что раньше тянули канитель на процессе. Да и чего там обсуждать, если приказ об изменении приговора исходил от самого Брежнева.

Все дни после суда Марк и Эдик провели в камере смертников, где предусмотрено все, чтобы предотвратить самоубийство: стол и стул без острых углов привинчены к полу, на руках постоянно наручники, прогулки и чтение запрещены. Можно с ума сойти от мысли о близкой смерти. Марк рассказывал мне потом, что он в первый же день после приговора убедил себя, что скорая смерть лучше многолетнего заключения в совконцлагерях. Да, Марк - человек сильной воли! И вдруг его вызывают к начальнику тюрьмы Круглову. Мелькнула мысль: "Зачем? Неужели уже... Под новый год..."

Но сообщают:

- Вам телеграмма от адвоката: "Смерть заменили. Поздравляю".

- Я вас перевожу теперь в общую камеру, хотя официального распоряжения на этот счет еще не получил, - заявляет ему Круглев.

Тюремщик-либерал, да и только!

Я узнал обо всем лишь второго января, ведь первого праздник - новый год. Принесли "Правду": "Враждебные Советскому Союзу круги на Западе поднимают шумиху по поводу кучки преступников, посягавших на жизнь советских летчиков..." Ну, это мы уже слышали. Читаю дальше. Что это?.. "Гуманный советский суд нашел возможным отменить смертные приговоры..." Однако ни слова о других осужденных.

Стучу два раза в соседнюю камеру и приставляю кружку к стене:

- Арье, может в "Ленинградской правде" о других что-нибудь написано?

- Да! Тебе три года сняли, мне и Толику по два.

- Поздравляю!

Надзиратель уже у двери.

- Прекратить разговоры!

К счастью, пока я разговаривал, мой новый сокамерник заслонял глазок, и надзиратель толком ничего не мог разглядеть.

Новый сосед по камере - француз Мариус. Шофер из Магадана, легендарной и страшной столицы сталинских лагерей. Мариуса арестовали за попытку бегства из СССР. Его родители, коммунисты, приехали с ним в Россию после Второй мировой войны. Мариус так и не смог привыкнуть к советскому образу жизни, не захотел даже выучиться как следует писать по-русски. Его не покидала мысль о загранице. Завербовался работать шофером на Камчатке, ближе к американской границе. Несколько раз пытался ее перейти, за что и отсидел уже три срока. Но он не отступал от задуманного. объездил многие портовые города Союза - Одессу, Ригу, Клайпеду, надеясь подкупить вахтенных и попасть на иностранный корабль. Не получилось. В Выборге Мариус познакомился с Толей Мокроусовым, видным комсомольским работником города. У того был собственный катер. Мокроусов входил добровольцем в группу, патрулирующую по заданию КГБ морскую границу СССР с Финляндией. В течение трех дней Мариус накачивал Мокроусова коньяком и водкой, умудряясь при этом оставаться трезвым. Потом он вручил ему две тысячи рублей, деньги немалые, и попросил отвезти его к границе. Видно, Мариус так напоил своего "спасителя", что тот, перепутав направление, вместо Финляндии вышел напрямик на пункт пограничной охраны...

Так рассказывал Мариус, так сообщала об этом "происшествии" "Выборгская правда", так излагал эту историю Толя Мокроусов, с которым впоследствии свела меня тюрьма. "Вот негодяй - напоил меня водкой и посадил, - заканчивал Толя свой рассказ. - Ну, ничего, освобожусь, буду строить коммунизм. Жаль только, катер больше не разрешат держать!" Очевидно, денежки за предательство этот "патриот" припрятал и ждал освобождения, чтобы их как следует потратить. Человек, продавшийся за деньги, был помилован своим государством и вернулся "строить коммунизм". А мы, не предававшие и никого не подкупившие, только за попытку покинуть СССР получили длительные сроки.

В тюрьме Толя ел яблоки и угощал меня ими. Яблоки были отменно хороши. Дом, в котором жили его родители, до 1939 года принадлежал финнам. Там был чудесный яблоневый сад. Как-то я сказал Толе:

- Вот ты осуждаешь Израиль и называешь его агрессором, а сам живешь в доме, отобранном у финнов...

- Они первые напали на нас. После этого мы и отобрали у них земли.

- Русские напали на финнов без всякого повода. Это весь мир знает. В любом случае, земля-то ведь их. А Израиль возвратил себе территории, которые испокон веков были еврейскими.

- Израиль должен все земли отдать арабам.

Аргументы и факты в споре с ним бесполезны. Когда речь идет об Израиле, логика не нужна, хватает и естественного антисемитизма.

За время скитаний по лагерям и тюрьмам Толя и Мариус встречались со многими моими товарищами. Стопроцентный советский человек, Мокроусов, был наглухо закрыт для любых идей, кроме тех, которыми нашла его советская пропаганда. Мариусу, наоборот, идеи сионизма были понятны, он много расспрашивал об Израиле и пытался даже изучать иврит.

Между тем суды над участниками еврейского движения за выезд продолжались. Зеэва Залмансона должен был судить военный трибунал, так как он после окончания сельскохозяйственной академии служил в армии.

Однажды утром меня привезли в суд в качестве свидетеля. Долго держали в милицейском воронке. Вдруг я почувствовал, что в соседнем отсеке еще кто-то есть. Оказалось, Эдик. Вот здорово!

- Эдик, жаль, что на суде нам не удалось занять какую-то общую позицию. Да и на следствии вели себя не блестяще!

- Люди есть люди! Только браки заключаются на небесах!

- Что делать, если освободят не скоро? Как бороться?

- Можно начать голодовку. Только нужно заранее договориться. Возможно, потребуются годы...

Услышав, что мы переговариваемся, конвоиры немедленно вывели нас из воронки и рассадили по разным камерам.

На суде меня спросили о причинах, побудивших Залмансона бежать за границу.

- Желание жить в Израиле, там, где только и возможно полноценное существование еврейского народа, - ответил я.

- Менделевич, здесь не сионистский митинг! Нечего заниматься пропагандой, - одернул меня судья.

Конвой вывел меня из зала. Путь преграждает толпа. Пожилая женщина кидается ко мне:

- Ах ты сволочь очкастая! За золото родину продал! Дайте мне его! На куски разорву!

Даже солдаты рассмеялись:

- Уймись, бабка! Чего раскричалась?!

...А мой адвокат, Ария, заметил, что евреи очень недовольны моим выступлением. Оно, мол, наносит вред их положению в стране! Ну, наносит вред, так наносит! Почему, собственно, надо поддерживать их рабское положение? Я не хотел им вредить, но потревожить беспечных рабов - совсем не вредно.

После суда я провел в тюрьме еще полгода. Меня возили на второй ленинградский и рижский процессы. Суд по делу ленинградского сионистского комитета начался 11 мая 1971 года. И вот я, уже осужденный, в роли свидетеля оказался в том же зале,

где недавно сам сидел на скамье подсудимых. За барьером девять комитетчиков, членов Всесоюзного координационного комитета. Бледные, испуганные. Я с ними не знаком. На вопросы судьи у меня давно заготовлен ответ:

- Отказываюсь давать свидетельские показания, так как не считаю себя свидетелем. Наши процессы разделены искусственно. Суды в Ленинграде, Риге и в Кишиневе - это все один и тот же суд против еврейского национального движения. На таком суде я не свидетель, а подсудимый!

Понимая, что пользы от меня не будет, суд решает освободить меня от свидетельских показаний. Поворачиваюсь к ребятам, сидящим на скамье подсудимых:

- Шалом!

Ни звука в ответ. Видно, КГБ запугало их нашими приговорами. С места для представителей прессы поднимается Евсеев, автор известной антисемитской книги "Фашизм под голубой звездой", и кричит:

- Шут гороховый!

Ну уж, не ожидал, что корреспондент будет так себя вести. Не отличаясь особой находчивостью, бросаю ему в ответ:

- Сам ты шут гороховый!

Конвой тычет в спину:

- Вперед! Не разговаривать! Не останавливаться!

У выхода из здания суда вижу еврейские лица. Родственники подсудимых. Приветственно машут руками, передают приветы от папы.

...Последняя неделя в Ленинграде. Органам стало ясно, что в качестве свидетеля я на суде бесполезен. Значит, меня скоро отошлют в лагерь.

Родные надеялись увидеть меня еще раз на рижском процессе, но судебный исполнитель огласил в зале суда:

- Менделевич болен. Привезен быть не может!..

Я, конечно, был вполне здоров. Близкие огорчились и забеспокоились.

29 мая 1971 года. Собираюсь "с вещами". Тяжело это делать под постоянные окрики надзирателей. Ни чемодана, ни мешка у меня нет. Одни лишь свертки. И всего две руки. В дорогу выдают буханку хлеба и селедку. С трудом тащу пожитки. Помощи ждать не приходится.

Перед самой посадкой в воронку комендант тюрьмы вдруг обращается ко мне:

- Менделевич, вам почта. Не успели выдать.

Телеграмма: "29 мая уезжаем на родину. До встречи. Саша. Ривка. Ева". Нельзя не

верить в символичность таких совпадений: в день, когда я на целое десятилетие отправляюсь в лагерь, мои родные возвращаются навсегда к себе домой. Там, дома, мы встретимся спустя много лет. Путь веры, как бы он ни был долог, ведет в Иерусалим.

Это произошло в праздник Шавуот.

Операция "СВАДЬБА"

Глава третья: ЛАГЕРЯ

Итак, предстояли долгие годы в лагерях. Новые перемещения во времени и пространстве выявляли различные стороны моего характера и души. Но мой рассказ - это не столько регистрация событий на нелегком пути в Израиль, сколько история поисков истины и самого себя. История поисков Б-га. Я всегда чувствовал Его присутствие и, как всякий верующий человек, жил в состоянии непрерывного поиска...

Я устал от свертков, выпадавших из рук, от духоты раскаленного на солнце воронка. Кислая капуста, которую дали в обед, подавала из желудка тревожные сигналы, а потом и вообще выплеснулась наружу. Голова болела, сердце сжималось. Машина тряслась по Ленинградскому шоссе, вытряхивая из меня остатки сил. В таком состоянии доставили на железнодорожную платформу, прямо к вагонзаку.

В узком вагонном коридоре по одну сторону - окна, по другую - решетки. За решетками отсеки, восьмиместные камеры. В каждую набито человек по двадцать. Удушливая вонь - не продохнуть. Сизый дым махорки поднимается вверх, повисает густым облаком. Мне повезло - запихнули в одиночку. Там можно либо стоять навтыжку, либо сидеть полусогнувшись. Я свалился на полку, бросив надоевшие свертки. Отдохнув немного, занялся чемоданом, который папа успел передать мне перед отправкой. По совету опытного зэка, составил список самого необходимого, и папа все в точности выполнил. Настоящее богатство! Котелок на два с половиной литра, десять пачек цейлонского чая, две плитки шоколада, пачка молотого кофе... Белая эмалированная кружка (я и по сей день пью из нее чай в Израиле)... Стальная ложка. Две рубашки и два свитера, огромные кожаные сапоги - вещи незаменимые в лагере. В полотняном мешке два килограмма твердого как камень сахара, восемь книг, но, увы, среди них нет Танаха; а на дне мешка - связка писем. Тюремное начальство не вручало их мне, и только теперь я получил их. Вот это удача!

Два письма на иврите из Израиля; письмо с фотографией от Менделя. Он снялся у развалин Масады. Живет в Иерусалиме! Учится в ульпане и не забывает нас. Письма от Камайских и от других рижан: "Мы знаем, что смогли уехать в Израиль только потому, что ты тут. Мы не забудем". Я был счастлив: меня помнили и любили; люди уезжали в Израиль. Было ради чего жить!

Потом я принялся шить вещмешок из плаща: зашил перед и ворот, вместо наплечных лямок пришил пояс. Теперь я смогу надеть мешок на плечи, а чемодан взять в руки. Иголку спрятал в пачку чая - чтобы не отобрали. К этапу готов.

Покончив с хозяйственными делами, стал оглядываться и прислушиваться. И вдруг:

- Эй, сосед, ты кто?

Опасный вопрос. Если начну, придется выложить все до конца: уголовники - народ дотошный. Делать им все равно нечего. Вроде сочувствуют:

- Двенадцать лет дали? Вот злыдни!

Но на уме у них другое:

- Слушай, может у тебя какие вещички есть?

- Да нет у меня ничего.

- Брось, ну там ботиночки какие или костюм?

- Нету.

- Может, деньги? Мы тебе сейчас все достанем...

- Нет у меня денег.

- А чемодан чего большой? Может, везешь с собой что...

- Это у меня книги. -

Ну дай чего почитать. Про шпионов или про баб... -

- У меня только учебники...

- Да ты что, учиться в лагере надумал? Это тебе не школа. Слушай, а может, у тебя тетрадка есть? Я стихи пишу.

- Тетрадь есть. На пересылке дам.

За разговорами не заметил, как тронулся поезд. Заключенные глазают в окна: недостижимая жизнь на воле...

- Глянь-ка! Баба идет, а за ней собака бежит, - говорят те, что постарше.

А молодые долго не задерживаются у окна, заводят знакомство с арестантками из соседней камеры:

- Эй, Надька там есть?

- Есть Надька, есть! А тебя как зовут?

Вместо ответа раздаётся что-то похабное. Женская камера заливается восторженным смехом. Потом оттуда выдают такой забористый мат, что даже мужчины смолкают. А затем в наступившей тишине как ни в чем не бывало:

- Ну, мужики, что приумолкли? Как здоровье? А то мы здесь совсем засохли!

- Молоденькие у вас есть? Познакомиться бы!

- Да мы тут все молоденькие!

- Что, не старше пятидесяти? - гогочут мужики.

Завязывают знакомства, пишут любовные записки. Их передают вдоль стены, свернув в трубочки. Хорошо, если политическая камера в конце вагона. А если в середине, рядом с женской!.. Тогда превращаешься в посыльного, рискуя попасться. За это не накажут, но записку отберут и пригрозят. Да и хозяин записки пристыдит:

- Что же это ты отдал ему?

- Не драться же мне с вертухаем!

- А ты бы быстрее работал, разиня!

Может, вообще отказаться? Но десятки кулаков колотят в стенку камеры: "У, сволочь!"

Это один аттракцион. Другой - выдача воды.

- Начальник, воды!

- Забыли наполнить баки. Ждите до следующей станции.

- Да помираем же, пить охота! Селедкой кормите, а пить не даете! Фашисты! Изверги!

После длительной перебранки откуда-то появляется бак с противной на вкус водой. Каждому по двести пятьдесят граммов. Пьют. Просят еще. Требуют.

И еще аттракцион - оправка.

- Когда поведут в туалет? Когда?.. Когда?.. Когда?..

Животы сводит болью. Ведь хлеб и селедку, которые выдают на два дня, уголовники съели сразу. И начинается:

- Начальник! Веди в туалет! Чего, как ждать? Не отведешь - наделаю прямо в сапоги.

Не ведут. Тогда зэки начинают бить ногами в дверь. Появляется заспанный начальник вагона. Он в майке. От него пахнет теплом и пищей.

- Ну, ребята, ну что вы, - увещевает он расшумевшихся заключенных.

Он здесь как у себя дома. В таких арестантских вагонах он провел больше времени, чем любой из нас. Приказывает выводить в туалет.

- Руки за спину! Лицом к стене! Быстрее, быстрее! - покрикивает конвоир. И вдруг слышу:

- Читал в газете про "Свадьбу"?

Это один солдат спрашивает у другого и сам отвечает:

- Про него весь мир говорит, а он у меня теперь сидит в сортире!

Честолюбие удовлетворено. Но ему все же мало:

- Эй, чего воду пьешь? Не положено! Назад! Бегом!

Возвращаюсь, а в лицо и в спину летят шуточки уголовников:

- А, профессор! У, очки разобью!

- Эй, солдат, дай-ка его к нам в камеру! Мы с ним поладим!

В своей одиночке молюсь, стоя у решетки и слегка раскачиваясь. Но тут дверь открывается - входит начальник караула. Не из-за молитвы. Просто обыск. Хотят потешиться над "мировой знаменитостью". С трудом отстаиваю каждую вещь, которую грозят отобрать.

- Это что такое, а? Почему у вас книги? Не положено!

- Мне прокурор разрешил!

- Здесь я прокурор!

Но так ничего и не забрали - лишь поиздевались над своей жертвой. Как кошка с мышкой: придушит - отпустит, придушит - отпустит.

- Ты чего пригорюнился? Не бойся... Кончишь срок, освободишься, сыграешь свадьбу, детей заведешь...

Это солдат, который минуту назад топтал мои письма? Да, тот самый.

- А я и не горюю. Я знаю, что все будет в порядке...

- А об Израиле своем и не думай! Не попасть тебе туда! Здесь сдохнешь! - не выдержал он. - Рассказал бы лучше, как самолет собирался украсть! Не хочешь? Ну ничего, посидишь лет десять, станешь разговорчивей. Я вот тут одного вез. Двадцать пять лет сидит. Так он все просил, чтобы я с ним поговорил. И ты попросишь... Вспомнишь еще меня...

И точно: через десять лет я стал более общительным. Только не с надзирателями, а с заключенными.

- Такой же будешь, как они! - ухмыльнулся мой доброжелатель и ушел лаяться с уголовниками.

Таким, как они? Нет, ни за что! Не поддамся! Этому болоту меня не засосать! Назад, в свой мир, к письмам, к фотографии Менделя на фоне Масады. И тогда сложились строки:

Не хочу терпеть тоску тягучую,
Разбирать: к лицу иль не к лицу,
Сквозь миллион случайностей и случаев
Так и течь к известному концу.

Может, чуточку себя обманывать
И играть, закрыв на все глаза,
И не надо наперед загадывать...
Нет! Так не могу я, так нельзя!

Но мечтаю о предельной ясности
Жизни без оглядки до конца.
Воевать, не замечать опасности,
С гордостью и верою в Творца.

Не знаю, прочтет ли их кто-нибудь. И вообще, кому они нужны? Кому? Мне! Это моя молитва, которую я повторяю в трудную минуту.

Так, запертый в железной клетке, двое суток напролет пересекаю просторы советской империи.

Наконец прибыли. Быстро собираем вещи. Выскакиваем из вагона. Под дулами автоматов садимся на землю. Через некоторое время команда: "Встать! Бегом к машинам!" Везут в пересыльную тюрьму. Трехэтажный серый дом - строение прошлого века. Не разберешь: то ли деревянное, то ли глинобитное.

Толстый капитан семитского типа весело объявляет:

- Я называю фамилии, каждый отвечает: "Я", снимает фуражку и проходит!
- А если не сниму? - осведомляюсь я.
- Обязаны снять!
- А вы представьте себе, что я снял!
- Тогда представьте себе, что я вас покормил!

Обыск. Все отбирают и сдают на склад. Отстаиваю Шолом-Алейхема. Ведь это моя единственная еврейская, на идише, книга. Я держу ее крепко, и капитан, пораженный моей настойчивостью, спрашивает:

- За что сидишь?

- За сионизм!

- А... Так это ты - "жених"?

Капитан, должно быть, читал в газете про "Свадьбу".

Не везет: я единственный политический. Для меня нет отдельной камеры, поэтому держат в карцере, хотя никаких нарушений режима за мной не числится. Но пока ничего, жить можно. Я молод и здоров. И хлеб у меня есть. Вытерплю. А рядом один уже полчаса канючит:

- Сержант, хлебца нет. Жрать охота...

- Не положено. Съел свое и молчи!

- Сержант! Помираю - есть хочется! Дай хлебца!

- Откуда же у меня? Здесь тебе не лавка! Я подзываю надзирателя:

- Отдайте ему мой хлеб. Остался с утра.

- Не положено! Заметят - выгонят с работы!

Он ходит взад и вперед, а жалобные стоны зэка и мои просьбы не прекращаются. Наконец не выдерживает:

- Ладно, давайте, только немного!

Разглядываю его узкое лицо с щелочками раскосых глаз. Кто он? Татарин? Отдаю весь утренний хлеб. И вот уже из соседней камеры доносится:

- Спасибо, спасибо за хлеб!

Рад, что удалось накормить человека! Рад, что у надзирателя еще сохранилось чувство сострадания к людям. Позже узнал, что заключенный, просивший хлеба, - еврей. Студент. Москвич. Получил десять лет за спекуляцию валютой. Эх, думаю, парень, как впустую тратишь ты силы! Уж лучше сидеть за попытку прорваться в Израиль!

Через два дня:

- Менделевич, на прогулку пойдете?

- Конечно!

Одеваюсь потеплее и выхожу во двор. А там, оказывается, лето, жарища. Небо звенит от зноя, лениво гудят мухи над головой. В воздухе коричневая пыль. За забором тюрьмы, на косогоре, мужик пашет черную блестящую землю. Все на своих местах. Только меня вырвали из почвы и пересадили в холодную тюрьму. Но вдруг я почувствовал себя частицей живого и теплого мира. Внезапно ударил гром и хлынул дождь. Я укрылся под маленьким навесом и замер от радости.

Через несколько дней - этап в лагерь. Снова обыск. На этот раз в тюремной уборной, предназначенной для пятидесяти человек. Подвозят бочку с тухлой килькой. Каждый берет, сколько хочет. Свобода.

Везут на станцию. Среди бела дня, на глазах у людей, без всякого стеснения, запихивают в теплушку. Вероятно, жителям не впервой это видеть! Находятся сердобольные и протягивают кто кусок хлеба, кто папиросы - у кого что есть. Конвоиры их отгоняют.

Едем. В вагоне на верхней полке оставляю пальто и костюм. Лучше выкинуть, чем отдать тюремщикам. Последняя остановка - Потьма. В названии, несомненно, обозначена Т-Ь-М-А. Из Потьмы развозят по лагерям Дубровлага - целой тюремной области.

Нас триста шестьдесят, а машин всего четыре, в каждой тридцать мест. Толстый майор приказывает:

- Женщины и дети пешком! Тут недалеко.

Меня, опасного политического преступника, запихивают в одноместный бокс воронка. Там уже кто-то есть. Устраиваюсь у него на спине. Он не жалуется, только просит ботинок на голову не ставить. Знакомимся. Сидит семнадцать лет. Сейчас его переводят в другую зону за участие в лагерной забастовке. Рассказываю о себе. Слушает внимательно и сочувственно.

Приехали. Открываются дверцы машины, и мы, истекающие потом, вываливаемся как спелые сливы из корзины - грязные и мятые.

Вталкивают в камеру. Она человек на сто. У стены огромная, как сундук, параша. Около нее лужи. Вонь страшная. Сидят на нарах, на полу, кто-то даже устроился на параше. Под окном свободнее, там человек пять-шесть. Расстелили одеяло на нарах, сидят как на ковре, посасывают конфеты и едят рыбные консервы. Откуда это у них? Кто они? Воры в законе. Главари воровской мафии. Они устанавливают свои порядки: без их ведома не дерутся, не воруют. У них своя власть для своих, для воров.

Постояв немного и оглядевшись, замечаю, что неподалеку от воров расположилась другая публика: держатся спокойнее, говорят тише, чем-то заняты. Один из них приглашает меня подсесть к ним. Говорит с армянским акцентом. Расспрашивает, за что посадили. Отвечаю. Становится тихо. Моя аудитория - человек сто. Сыплются вопросы об Израиле, о еврейской вере и о том, почему евреи в мацу подмешивают кровь младенцев, и правда ли, что в Израиле открыли средство против рака, и верно

ли, что у них есть своя атомная бомба. Словом, бесконечные "почему" и "правда ли". Стараюсь отвечать спокойно и обстоятельно. Вдруг армянин достает из чемодана потрепанную книжку об Израиле. Издана в Союзе. Он хвастается своими познаниями, приводит на память данные об урожае, экспорте, вооружении.

Потом начинается священный ритуал приготовления чая. Варить чай в тюрьме категорически запрещено, но воровать ведь тоже запрещается... Варят чай так: тряпкой обматывают ложку и вставляют в ручку кружки (для изоляции), кружку держат над горячей газетой, скрученной в жгут. Минут через пять чай закипает. Пьют его только воры. В знак гостеприимства и особого расположения меня приглашают присоединиться к ним. Но я остаюсь с армянином.

Ночью спим, тесно прижавшись друг к другу. Наутро оказывается, что пока я спал, из моего мешка стащили вещи. Выяснить, кто это сделал, невозможно - старая смена уехала, привели новеньких.

К вечеру камера опустела, и я ночевал в ней один. Вышвырнул за окно ключи от рижской квартиры - улица Кирова, дом 18, квартира 3. Не вернусь больше в Ригу. Я-то знаю, что мой дом, который я открою своим ключом, будет только в Иерусалиме! Перед тем, как выбросить ключ, я нацарапал на стене самолет и написал на иврите: "В Эрец-Исраэль!" Мой знак друзьям. И действительно, рассказывали потом, что видели на стене этот мой рисунок.

Ранним утром повезли в лагерь. Под конвоем двух молоденьких солдат-автоматчиков с собаками нас вели через поле к закрытой машине. Погрузили, и она затряслась по лесной немощенной дороге. Меня укачало. Я предусмотрительно снял очки и отдался на волю "стихий", скорчившись и катаясь по воронку. Конвой смеялся над моими акробатическими номерами. Ни следа обыкновенного человеческого сочувствия у этих молодых садистов. Но вдосталь насмеявшись надо мной, они испугались, как бы их жертва не испустила дух, - приказано ведь доставить живым. Остановили машину и выпустили меня на свежий воздух. Я сделал несколько шагов и упал лицом в траву. Придя немного в себя, услышал стрекот кузнечиков. И вот... я снова вместе с мамой гуляю по лесу, собираю ягоды и набираюсь сил для школы. Однако долго лежать не дали:

- Так весь срок проваляешься! Вставай! Поехали дальше. У конвоиров развязались языки:

- Что, студент? Небось, книжки читал, вот и дочитался!

Откуда у этих молодых советских солдат такая ненависть к книгам и к их читателям?!

- Ничего, скоро попадешь к своим демократам, - утешили они меня.

Дорога оказалась короткой, и вот я уже "дома". Зона ЖХ-389/17. Поселок Озерный. Озера не видно, зато пыль повсюду.

Первым делом шмон. Дежурным по лагерю был прыткий человек с живыми глазами и острой мордочкой по кличке "Интеллигент". Обо мне он читал в газете и вел себя со мной уважительно. Позволил даже взять в зону израильский берет и

ботинки, а сапоги и свитер не разрешил. Нашел в чае иголки и рассмеялся:

- Зачем спрятал? Не разрешается...

Наконец впустили в зону. Большой двор. Пять деревянных барачков. Деревья, трава и цветы. Настоящая деревенька. Тихо, спокойно. Один, без конвоя шагаешь по земле и не веришь. Б-же мой, по земле! А над головой небо, солнце! Иди, куда хочешь! Хочешь - направо, хочешь - налево! Подошел к барачку. Сам нажал на ручку, сам дверь толкнул. Отворилась... И это после наглухо запертых дверей тюрьмы! Да это же чудо: могу ходить, куда хочу. Могу войти и выйти... В самом деле - чудо. Внутри барачка прохладно. Кровати застланы белыми простынями, голубыми и розовыми одеялами; на окнах сетки от мух. Старички чинно сидят на табуретках. На мое приветствие отвечают вежливо и смотрят с интересом. Присмотревшись, замечаешь, что стены давно не крашены, пол прогнил, крыша на подпорках еле держится, но все-таки человеческое жилье, а не каменный мешок тюрьмы! Соседний барачок, правда, совсем недавно служил хлевом для свиней, но это уже детали! Лагерь построили немецкие военнопленные в 1944 году. Неподалеку, в болоте, гниют их кости. Вокруг лагеря одни болота, поэтому подкоп и побег невозможны. За болотами стеной стоит лес, а в самом лагере - туча комаров и тяжелая влажность.

Из-за отсутствия лагерного опыта я сразу стал укладывать свои продукты в тумбочку. Старички глазели с интересом. Но я их не понял. Не знал, что прежде всего нужно угостить, а потом лишь раскладывать вещи. Не уловил и яда в простодушном предложении:

- Если места не хватит, есть еще одна тумбочка!

Вошел дежурный:

- Произошла ошибка. Согласно правилам внутреннего распорядка вы сперва должны пройти карантин, а потом уже войти в зону. Соберитесь в карантин!

Карантин в трехстах метрах от лагеря. Опять конвой. Ведут по улицам поселка. Здесь живут только те, кто по работе связан с лагерем. Вся Мордовия с начала тридцатых годов покрыта такими поселками. Во всей республике - полтора миллиона человек, и никто не спрячет беглого арестанта. Его немедленно выдадут властям. Прежде за поимку беглеца давали полмешка муки. Не знаю, чем награждают сейчас.

Для чего карантин? Формально - для выявления инфекционных заболеваний. Фактически - обломать арестанту рога, показать "кто здесь хозяин". Я запротестовал:

- Сколько меня продержат в карантине? Сказали в карантин, а посадили в карцер! Позовите начальника!

- А, права качаешь? Затем и карантин, чтобы ты понял, что прав у тебя нет! Здесь пробудешь, сколько потребуется! Начальник придет, когда сочтет нужным!

- Почему вы так со мной разговариваете? Объясните!

Дверь захлопывается.

- Сиди, сиди, пока злость не выветрится! Ишь, какой умный нашелся!

В лагере иное понятие времени: чем больше ты чего-то хочешь, тем медленнее оно приходит... Так начинается психообработка. Ты можешь принять их время и покорно отдаться его течению. А можешь и выпасть из их времени и остаться со своим собственным отсчетом. Уйти в свой мир. Мой мир - Израиль и еврейский народ. Мое время - иерусалимское. Я тут, и меня здесь нет; я недосыгаем для своих тюремщиков.

Тихо. Видно, я один. Но нет. Кто-то есть. И верно: рядом со мной кто-то строит свой мир, похожий и непохожий на мой. Это Эдик Химиляйнен, финн из Ленинграда. Давно о нем слышан. Он поджег на улице стенд, посвященный столетию со дня рождения Ленина. Простые советские люди схватили его, избили и сдали в милицию. Жалея его молодость, следствие хотело оформить дело как уличное хулиганство. За это полагалось максимум три года. Но Эдик возражал: "Это не хулиганство, а поступок из политических соображений. Большевики уничтожили демократию!" Ему отвалили семидесятую статью: подрыв советской власти. Пять лет заключения. Теперь он "доволен". Беседуем с ним через окошко:

- Я понял: мое место не в России. Нечего мне тут менять их строй. Каждый народ живет в тех условиях, которые заслуживает. Я хочу к себе на родину, в Финляндию. Почитать тебе стихи о ней?

- Давай!

И он читает гимн во славу своей земли, ее зеленых долин, ее голубого моря, ее трудолюбивого народа. Мне кажется, что этой тягой к родной, но совсем незнакомой ему стране он заразился от сионистов. В самом деле, чем плохо быть тем, кто ты есть от рождения, - евреем, финном, татаринном. И вместо ненависти к России воспитать в себе любовь к своей стране - Израилю, Финляндии, Татарии! Вместо вражды - любовь!..

На пятый день меня из карантина вернули в зону. Я перестал спрашивать, когда выпустят, - и помогло. Поняли, что изоляцией меня не проймешь.

Я вошел в уже знакомый барак. Оглянулся. Надо было среди семидесяти спальных мест найти местечко для себя. Вдруг слышу:

- Симас просил, если приведут сюда еврея, дать ему койку рядом с ним.

Это сообщил мне старик-полицай. Симас, Симас... Первый раз слышу эту фамилию. Наверно, литовец. Зачем мне рядом с литовцем?

- Менделевич, Менделевич! Быстрее, Симас зовет! Вон там, у забора производственной зоны!

Ну и приставала, этот Симас! Чего ему надо от меня? Подхожу ближе: из-за забора торчит большая рыжая борода. Борода обращается ко мне:

- Ма шломха? Шалом леха!*

Вот это да! Еврей! Да еще говорит на иврите! Правда, тут же выяснилось, что это у него примерно половина запаса слов. Неважно! Главное - я не один. Но долго говорить мы не могли: Хаим Симас на работе, а за уход с рабочего места строго наказывают. Ладно, наговоримся вечером. Я ждал его у входа в жилую зону. Мы обнялись.

- Ты в Б-га веришь? - сразу спросил он.

- Стараюсь исполнять заповеди, но, конечно, понимаю, что далек от совершенства.

- Я молил Б-га послать мне в лагерь верующего еврея, и вот Он послал мне тебя. Ты знаешь иврит?

- Учил до ареста.

- Вот и эта моя просьба исполнена! Мы будем вместе учить иврит, после работы,

- Хаим, как ты думаешь, удастся нам не работать по субботам? Можно ведь до субботы выполнить недельную норму...

- Попробуем. Но если заметят, заставят работать или будут судить и отправят в тюрьму...

- Тогда так: субботнюю норму готовим заранее и сдаем ее, а в субботу не работаем.

Вошли в барак. На койке своего соседа, латышского националиста Гунара Астры, Хаим устроил торжественный ужин в честь моего прибытия. Белый хлеб и мед - из посылки Гунара, черный хлеб и колбаса - из моих ленинградских запасов. Ребята хвалили ленинградский черный хлеб - вкусный, выпеченный, не то, что лагерный - цвета глины и вкуса оконной замазки. Мы сидели на койках, ели, разговаривали и не могли предположить, что не пройдет и двух лет, как Хаим и Гунар перестанут друг с другом здороваться.

Хаима я принял целиком, как самого себя, а к Гунару присматривался. Несомненно, он личность во всех отношениях примечательная. Рост - два метра пять сантиметров. Входил в состав латышской сборной по баскетболу и всесоюзной - по яхтспорту. Радиоинженер, он до ареста работал на ВЭФе - там же, где и я. Казалось, у нас должны быть общие знакомые. Но не нашлось. Ни одного. Я не знал многих улиц того города, где прожил двадцать два года. А он их не только помнил, но и любил. Мои улицы ждали меня в Иерусалиме. Тот же мир с его улицами и домами был не моим, а его. Гунар Астра не скрывал, что он антисемит:

- Посмотри на фотографии тех, кто встречал советскую армию в сороковом году. Одни евреи! А что плохого сделала вам демократическая Латвия? Мало вам было еврейских школ, гимназий, театра, газет? А потом удивляетесь, что латыши убивали евреев? Правда, я лично не одобряю и не оправдываю этого!

Конечно, мы ни в чем не могли убедить друг друга. Пройдет несколько месяцев, и Астра скажет мне:

- Вот не думал, что есть такие евреи, как ты. Бесхитростные, не торгующие ни бараклом, ни убеждениями. Знаешь, я стал симпатизировать Израилю!

Но нам с Хаимом было не до смены его настроений. Предстояло жить здесь своей еврейской жизнью: изучать иврит, говорить на иврите, встречать субботу, молиться, петь еврейские песни, читать стихи.

Я был рад. Впервые со дня ареста я смог выговориться. Хаим внимательно слушал меня. Он тоже изголодался по единомышленнику, тосковал по еврейскому образу жизни.

Его вместе с группой друзей-студентов, с которыми он учился, посадили в 1969 году за распространение работы, в которой доказывалось, что коммунистические теории выродились и учение Маркса неприменимо к современным условиям. За год до ареста ребята сблизились с московскими сионистами и стали подумывать об отъезде в Израиль. В этой группе Хаим был организатором.

Однажды, перед окнами студенческого общежития, один молодой поэт читал свои стихи. Нашелся стукач, сообщивший об этом коменданту. Тот прибежал и приказал поэту уйти. Парень не согласился, и его увели силой. Студенты, возмущившись действиями коменданта, бросили камень в его окно. Приехала милиция и арестовала самых крикливых. Студенты высыпали на улицу. К ним присоединились молодые рабочие из соседнего заводского общежития, у которых были свои счеты с властями: им задерживали зарплату и досаждали штрафами за пьянство. Шел второй час ночи. Хаим возвращался домой, провожал девушку. Он быстро разобрался в ситуации и решил отправиться в отделение милиции, чтобы освободить друзей. Ночная демонстрация студентов и молодых рабочих - дело невиданное в России. И во главе демонстрантов - студент Хаим Симас. На улицах появились наряды милиции. Начальника подняли ночью по тревоге. На служебной машине он подъезжает к толпе:

- Кто у вас главный?

Указывают на Симаса и еще нескольких ребят. Их приглашают пройти в кабинет к начальнику милиции.

Переговоры прошли успешно: арестованных освободили, рабочим выплатили зарплату, коменданта общежития уволили. Демонстранты разошлись по домам. Обращаясь к Хаиму, милицейский полковник сказал:

- А из вас хороший командир мог бы выйти!

Наутро весь город говорил о "студенческом восстании". Об этом сообщало в утренней передаче Би-Би-Си. Симас стал героем института. Своим поступком он привлек внимание Ури, который к тому времени уже написал свою работу "Закат "Капитала" и теперь нуждался в ее распространении. Хаим взялся за это дело. Так возникла небольшая группа единомышленников. Однако в 1969 году их арестовали...

Мой адвокат, Ария, прощаясь со мной, сказал:

- Не отчаивайтесь. Как ни парадоксально, в лагере тоже есть жизнь!

Он оказался прав: жизнь в лагере в определенном смысле насыщеннее, чем на воле. Здесь все происходит напряженно, ускоренно, страстно. Все бурлит, как в кипящем котле.

В первый же вечер я познакомился с друзьями Хаима: Горенем, активистом украинского национального движения; Сорокой, лагерником с тридцатилетним стажем, "заработанным" за то, что воевал против советской армии на Украине; литовцем Каджионисом, сидящим уже двадцать лет за убийство начальника местной милиции, который сотрудничал с советскими оккупантами. Каджионису к моменту ареста было восемнадцать лет.

Мелькание лиц, пожатия рук, разговоры... Я чувствовал, что меня принимают в свой круг. Принимают как еврея, отважившегося отстаивать свое право на выезд в Израиль. Такого встречали не часто. Евреев они привыкли видеть жертвами: в лучшем случае - запуганные, в худшем - трусливые и пресмыкающиеся.

Ночью поднялась суматоха, но я ничего не слышал. Оказалось, умер Сорока. Старейший из заключенных, попавший в лагерь с первых дней установления советской власти на Западной Украине. Все украинцы, нарушая правила режима, в этот день на работу не вышли. Прощались с умершим.

Я начал работать. Восемь часов за швейной машиной. Из грубой белой ткани шьют рабочие рукавицы. Все справляются. Смогу ли я? Сажусь, нажимаю на педаль - машина срежет, ломается игла. Нет, так нельзя. Надо осторожнее: вот сюда нитку, потом опускаешь лапку - и ткань идет сама. Идет-то идет, но нитки обматываются вокруг иголки. Трак! Опять сломалась! А по обе стороны конвейера люди остервенело жмут на педали, чтобы успеть сдать норму. Хаим еще ухитряется при этом учить английские слова, прицепив бумажку со словами на машину. Я сижу напротив Хаима и мешаю ему и шить, и английским заниматься. Болтаем украдкой, как школьники. Поглядываем на дверь, чтобы заметить появление надзирателей. За Симасом сидит Гунар Астра. Он как бы возвышается над ним. Чуть дальше - седобородый старик Руденков. Перед началом работы он всегда крестится сам и не забывает перекрестить швейную машину и материю. Потом с неистовством, похожим на молитву, принимается за шитье. Зарплата заключенного - восемьдесят рублей в месяц. Половина перечисляется МВД, на содержание тюремщиков. Из оставшихся денег половину вычитают за питание, жилье и электричество - как в гостинице. Оставшиеся деньги некоторые проедают в лагере, некоторые посылают домой. И старик Руденков трудится, чтобы помочь своей старухе.

- У тебя есть кипа? - спрашиваю у Хаима. - Если нет, сошьем!

- А как?

- Когда-то я видел, как мама шила. Думаю, что и сам смогу.

Из старой куртки выкраиваю четыре треугольника и сшиваю их вместе. Получилась кipa. Не сказать, чтобы очень красиво, но все же это первая кipa Хаима и моя первая портновская работа. Хаим взволнован. Для нас кipa - символ нашего еврейства и верности заветам. Она особенно важна в лагере, где происходит обезличивание человека. Чтобы воспрепятствовать этому, турок Иса, когда начальство не видело, надевал красную феску; украинцы носили рубашки с национальным орнаментом. Каждый стремился подчеркнуть свою национальную принадлежность и самобытность, и это определяло во многом жизнь в лагере и расстановку сил. У каждой национальной группы свои цели. Групп много: украинские националисты во главе с Горенем и Кандыбой; литовские, русские и белорусские. Среди последних, как и среди украинцев, немало бывших полицаев, служивших Гитлеру. Ни к кому не примыкал лишь один человек - бывший польский офицер, уцелевший после Катыньских событий. На вид типичный шляхтич: гордый, стройный, с завитыми усами. Однако он лишился рассудка, не понимал ни где находится, ни что с ним происходит. Ел руками, и это особенно поражало резким контрастом с его благородной внешностью.

Как-то мы гуляли с Хаимом по зоне и за углом барака увидели человек двадцать. Один из них что-то читал, а несколько стояли в стороне и вели наблюдение. Очевидно, чтобы предупредить о появлении надзирателей.

- Что это за люди? - удивился я.

- Адвентисты. В основном из Бессарабии.

Эта секта считает, что советская власть - от беса, и призывает не подчиняться ей. В Союзе адвентисты вне закона, но в других странах их не преследуют. Центр секты в Америке. Там выпускается журнал "Сторожевая башня", который нелегально провозят в СССР. Большинство сектантов попало в лагерь за распространение этого журнала. Однако и здесь они не сидят сложа руки. Если видят, что кто-то угнетен и подавлен, приходят ему на помощь. И часто из благодарности за поддержку в трудную минуту человек вступает в их секту. Они перетянули к себе многих бывших полицаев, которые стали верующими, вели себя скромно, старались не доносить на ближних и учили Библию. Один ее рукописный экземпляр ходил по рукам. Некоторые знали Ветхий завет на память.

Как-то я сидел у стены барака и следил за пчелой, перелетавшей с цветка на цветок. Рядом уселся сухой старичок с серебряной бородой и внешностью праведника.

- Вот пчелка мед с цветов собирает, и цветы растут из земли. А кто землю нам дал? Господь Бог. Из всех народов Он избрал еврейский народ. Но евреи не были Ему верны и теперь наказаны изгнанием. Если еврейский народ раскается и примет истинную веру, наступит спасение для всего мира, - заговорил он вкрадчиво, ележным голосом. - Истинной верой обладает лишь наша секта. Своим вступлением в нее вы спасете свой народ.

Я слушал вполуха - неинтересно и ненужно.

- Ну, - не выдержал он, - что скажете?

Я молча поднялся и ушел. Я еврей и иным не буду.

Скоро нашелся другой вербовщик. Московский представитель КГБ, майор Груша. Он вызывал к себе в кабинет многих эзков. Это тоже особая тактика - вызывать большое количество заключенных, чтобы трудно было узнать, кто из вызванных на самом деле сотрудничает с КГБ.

- Садитесь, садитесь, Менделевич! Поближе!

- Да ничего, постою!

- Ну, как вы устроились? Есть вопросы? Вам, Иосиф Мозусович, сидеть долго - двенадцать лет. Никакой Запад не спасет. Вам будет трудно. Вы совершили серьезное преступление против советской власти и советского народа и до сих пор не хотите признать своей вины. Мы, чекисты, люди крепкой воли. Подумайте о себе. Кто о вас позаботится, если не вы сами? Вы могли бы нам помочь. Вы имеете влияние на товарищей. И от вас зависит, какое это будет влияние - положительное или отрицательное. Вы ведь знаете, - продолжал он доверительно, - что иногда осужденные совершают проступки, которые оборачиваются им же во вред. Если бы вы нас своевременно предупреждали, такое можно и предотвратить...

Вот как "элегантно" вербуют нынче доносчиков!

- Повезло вам, гражданин начальник, что я человек спокойный и в драку не лезу! А следовало бы!

- Что вы, Иосиф Мозусович, за что? - последовал невинный вопрос.

- А за то, что вы подумали, будто я соглашусь стать вашим агентом!

- Ну, зачем же так грубо! Ведь речь шла просто о помощи друзьям. Ни о чем другом!

Я вышел из кабинета. С тех пор в КГБ за мной окончательно закрепилась репутация фанатика, с которым не о чем говорить. Мне это было на руку: несколько лет дали жить спокойно. Тот, кто думает, что твердая позиция ухудшит положение, ошибается... Если не говоришь ни "да", ни "нет", они надеются выжать из тебя все, что им надо. Начинают преследовать, сажать в карцер, лишать еды, переписки, свиданий. Твердость оправдывается всегда, даже если на первых порах причиняет неприятности.

Один мой приятель, получив предложение сотрудничать, решил обмануть КГБ.

- Хорошо, - сказал он им, - я постараюсь положительно повлиять на товарищей, но при условии, что мои родные получат разрешение на выезд в Израиль.

Родные получили разрешение. Парень не поверил и потребовал показать телеграмму из Вены. Ему показали телеграмму. Майор Груша решил без промедления действовать:

- Ну, начнем работать?

Тот спокойно ответил:

- Теперь все в порядке. Раньше я боялся, что вы не дадите моим родным уехать. Теперь я спокоен.

- Ну, а как насчет вашей помощи нам?

- Да вы что, с ума сошли?

- Думаете КГБ легко обмануть?!

Потаскали потом приятеля по карцерам! Зато родных он сумел отправить в Израиль. Но сам я воздерживался от подобных игр с дьяволом.

Жизнь в лагере строится на основании "Правил внутреннего распорядка в исправительных заведениях", утвержденных МВД. Там перечислено все, что должен и чего не должен делать заключенный. Довольно толстая брошюра, снабженная разъяснениями видных советских юристов. Для того, чтобы знать, как применять эти правила, издан "Приказ министра внутренних дел". На каждый параграф Приказа существуют тома инструкций.

Запомнить их не могут ни тюремщики, ни заключенные. Но всегда найдется повод обвинить зэка:

- Вы нарушили такой-то пункт приказа (инструкции, правил).

- А я не знал, что такой пункт существует!

- Обязаны знать. Незнание не освобождает от наказания!

И ты оказываешься в фантастическом безумном мире, вечно требующем от тебя невероятных вещей. В любую минуту ты так или иначе нарушаешь один из бесчисленных параграфов, совершенно неизвестных тебе. Ведь твой мучитель может либо выдумать новые, либо толковать существующие, как ему вздумается. По советскому закону заключенный вправе обжаловать несправедливое наказание. Имеются даже шесть основных инстанций, куда можно подать жалобы: МВД, прокуратура, Главное управление лагерей, административный отдел ЦК КПСС, КГБ, министерство юстиции. Впрочем, есть еще много других инстанций. У меня была даже специальная тетрадь с перечнем официальных названий таких учреждений. Однако при каждом обыске эту тетрадь отбирали. Итак, строчишь жалобы во все инстанции сразу. И отовсюду получаешь ответ. Разумеется, отрицательный. Мотивировки разные.

Главный человек в лагере - начальник режима. Ты, заключенный, во власти двух его слов: "запрещено", "разрешено". Нормальный живой человек не может не нарушить какой-либо из бесчисленных пунктов приказа. Ты вынужден ознакомиться с ним. И вот ты уже в западне. Тебе хочется доказать, отстоять положенное тебе, ведь вот же написано: "Заключенный имеет право..." Но твои права - фикция. Их нет, их ничего не стоит отобрать. Ты будешь тратить время и нервы на борьбу за право переписки, право свиданий, право получения посылок и поневоле втянешься в азартную игру. И

хоть разбей стену лбом, ничего не докажешь, ты почти всегда в проигрыше. А редкие удачи только раззадорят и поощрят тебя к чудовищной трате сил... Что бы ты ни делал, ты всегда в положении без вины виноватого.

Если раньше, на воле, я утверждал, что в Союзе нет законов, это были одни лишь слова. Я думал, что все же смогу доказать свою правоту. Теперь я видел, что ни закона, ни правды и в помине нет. В чем суть "перевоспитания", "исправления" заключенного? В его подчинении властям. Большинство недовольных ищет справедливости в рамках советского государства. Подсознательно они верят в законы, хотя на деле понимают, что верить нельзя. Когда это понимание переходит в подсознание, человек "исправляется", становится безвольным исполнителем.

Наивные полагают, что пытка - это когда выкручивают руки или вгоняют иголки под ногти. Но что страшнее и мучительнее пытки душевной, когда теряется представление об окружающем мире и человек погружается в состояние полной апатии? Тогда все пропало... Если же человек не сдается, не подчиняется правилам, начальство вначале делает вид, что идет на уступки. Победа? Нет! Теперь все будет направлено на то, чтобы сломить упряма. Он вынужден один на один бороться со всей системой - так по крайней мере ему кажется. На самом же деле он разменивается на мелочную борьбу с грубыми тюремщиками. Это также отвечает интересам системы: бессмысленное сопротивление в ущерб самому себе.

Некоторые пытаются перехитрить "Правила". Они уже знают им цену, но делают вид, что подчиняются. Каким-то образом они умудряются изучить почти все существующие законы о содержании заключенных в тюрьмах и лагерях. Им удается пронюхать о действующих в данный момент генеральных инструкциях насчет "послабления" или "зажима" и дать понять об этом начальству. Иными словами, начальство должно знать, что физическими страданиями не запугаешь. Таких начальство предпочитает не трогать, но время от времени проверяет, по-прежнему ли они сильны.

Всю эту сложную механику я постиг не сразу. Потребовались годы. Много раз я больно ушибался об эту систему, в особенности когда дело касалось свидания с родными. Нет чувствительней наказания для заключенного, чем лишение его свидания. Ведь это единственная возможность увидеть родных, сообщить о своем истинном положении и узнать, что творится на воле. Недаром у ээка отбирают не только бумагу и ручку, но даже конфетную обертку: как бы он не написал на ней статью для западной прессы. Поэтому наших родственников, казалось бы свободных граждан, перед свиданием с нами раздевают догола и обыскивают, как арестантов. И это вопреки действующему закону, согласно которому на обыск требуется санкция прокурора! Но хозяин здесь не закон, а произвол. И мои споры с капитаном Степановым почти всегда заканчивались так:

- Менделевич, говорить вы умеете. Но от вас требуется не рассуждение, а подчинение. Мы сами будем толковать наши законы. Это вам не Талмуд!

Однажды у меня состоялся такой разговор со Степановым:

- Менделевич, придется лишить вас свидания за опоздание на работу!

- Но в пункте первом Приказа записано: "Заключенный имеет право получать свидания". Право нельзя отменить или отобрать, - спокойно возражаю ему.

- Право, но не безусловное. В параграфе втором написано: "За нарушение режима заключенные могут быть наказаны лишением свидания". Вы нарушили режим, следовательно, вы лишаетесь права на свидание!

Но я не сдаюсь:

- Мое опоздание не есть нарушение режима. В Приказе сказано, что заключенный обязан добросовестно трудиться. Я выполняю норму на сто один процент. Стало быть, тружусь добросовестно!

- Менделевич! Вам известен распорядок дня заключенного. Вы должны знать, что перерыв с 12.30 до 12.45. А вы опоздали на работу после перерыва. Стало быть, нарушив распорядок дня, нарушили режим. За это вы и лишаетесь длительного свидания!

- Гражданин начальник, но в Правилах сказано, что заключенный сам может выбрать, какого свидания лишиться. Я выбираю короткое.

- Менделевич, вы забыли! В прошлом году вас три раза лишали свидания - длительного и двух коротких. Значит, следующее по порядку - снова длительное!

- Но я могу считать и в другом порядке, - начиная с короткого, потом длительное и два коротких. Получится не так, как вы говорите. Кроме всего прочего, я не получал свиданий в течение трех лет. Следовательно, у меня накопилось три неиспользованных длительных свидания.

Терпение капитана иссякло:

- Нельзя копить свидания. В каждом году счет начинается заново. Свидания потеряны по вашей вине.

Мои доводы исчерпаны. Капитана Степанова ничем не пронять. Я не мог объяснить ему то, что он знал не хуже меня: наказали не за опоздание, а за то, что молился. За мной специально следили и выследили. "Опоздал" я тогда, когда погас свет, станки остановились и никто не работал. Кроме того, я не нарушил распорядка дня: старый изменили, а новый не ввели. Часов, конечно, ни у кого нет - поди знай, когда кончается перерыв. Положен сигнал, а его не было.

Итак, меня лишат длительного свидания, которое предоставляется только матери, отцу, братьям, сестрам, жене или детям заключенного. Отец, благословенна его память, был тяжело болен. Ехать двое суток ради двухчасового разговора со мной - в его состоянии непозволительная роскошь. Известить об отмене свидания не разрешается. Таким образом, отец с матерью могут приехать совершенно напрасно. В преамбуле Уголовного кодекса говорится, что наказание не имеет целью нанести моральный или физический ущерб заключенному. На самом же деле ущемлен не только я, но и мои ни в чем не повинные родные. При этом сплошное лицемерие:

- Поймите, мы вовсе не стремимся причинить вам страдания. Это следствие ваших проступков. Ваш отец справедливо несет ответственность за то, что он воспитал вас врагом народа.

Итак, свидание отменено, и неизвестно, когда следующее. Родные месяцами будут писать в лагерь и просить свидания. В конце концов им ответят: "О причине отмены свидания спросите у вашего сына". На мой вопрос начальник скажет: "Вам уже все разъяснили". Тогда окольными путями передаю родным: "Приезжайте такого-то числа без предупреждения". Это значит, что начальство не должно знать о возможном приезде родных, чтобы в нужный момент не лишили свидания с ними. От письма до письма больше месяца. Мысль о том, что я причиняю боль отцу и сокращаю его дни, мучила меня постоянно.

Первое время я работал учеником на заводе и не слишком был обременен работой. Часто полеживал под деревом, позади мастерской, пропуская сквозь себя синее небо, белые облака и зеленую траву. По сигналу Хаима: "Менты пришли!" - я бежал на рабочее место.

Надзиратели, Косой (он был слеп на один глаз) и Орешкин, лишь иногда захаживали к нам. Большую часть времени они резались в карты с арестантами, которых по болезни не гнали на работу.

- Бухенвальд! Неси чертей, - кричал Орешкин заключенному Васильеву, прозванному так за свой тощий вид.

- Да ну тебя, надоел, - ворчал тощий, как скелет, Васильев.

- Неси, неси, а то схлопочешь!

Такая трогательная близость устанавливалась обычно между надзирателями и теми заключенными, которые побывали в полицах у Гитлера. Теперь они вели себя как настоящие советские патриоты: посещали лекции о коммунизме, прославляли советскую власть и тайно выслуживались перед КГБ, донося о каждом шаге "неблагонадежных" зэков. Гунар Астра прозвал их "ходячим удобрением" и "сильными ухом". Стоило нам заговорить о чем-то своем - они тут как тут. Хаим громко спрашивал: "Что, давно уши не чистили?" Они обиженно отходили.

Чем больше преступлений совершил полицай во время войны, тем ретивее он выслуживался сейчас: сотрудничал с начальством, входил в совет коллектива колонии, занимал высокие посты в лагерной иерархии. Полицаи ненавидели евреев и по мере возможности досаждали нам.

В первый день по прибытии в лагерь повстречался мне арестант Арбузов. "Главный заключенный лагеря", комендант зоны - немалое начальство. Был он седой, бородатый, старый. Все его ненавидели за семнадцатилетнюю стукаческую службу, не мешавшую ему быть верующим христианином. За примерное поведение лагерное начальство представило его к досрочному освобождению. На суде прокурор спросил его:

- Кем вы были до войны?

- Председателем сельсовета.
- А в войну служили Гитлеру?
- Так точно. Начальником районной полиции.
- Много людей замучили?

Молчание...

- Кем работали до ареста?
- Председателем колхоза.
- А теперь и в лагере занимаете пост? Как это понять, Арбузов?
- Судьба моя такая, гражданин прокурор, - от жалости к самому себе Арбузов заплакал.

Через год его освободили. Он и вправду вреда советской власти не причинил. Пару тысяч евреев убил, ну и что? Кто их считает, убитых? На то и война.

В ночь перед освобождением он, лежа на койке, часто крестил грудь и целовал крест...

Кроме Арбузова к лагерной верхушке принадлежали еще двое заключенных: бывший полковник КГБ, так преуспевший при Сталине, что Хрущев вынужден был утвердить ему двадцатипятилетний срок, и бывший начальник отряда гитлеровской полевой жандармерии Кузьменко. Оба они работали в библиотеке, так сказать, на трудовом фронте: выдавали книги, газеты и журналы, вывешивали на специальном стенде статьи на политические темы, в том числе статьи, обличающие Израиль и сионистов. При этом они старательно подчеркивали те места, в которых говорилось о евреях: "...сионисты и клерикальные еврейские круги сотрудничали с гитлеровцами во время войны", "...еврейский капитал привел Гитлера к власти", "...сионистские круги Израиля сотрудничают с крайними тоталитарными режимами во всем мире..."

- Все евреи. Из-за них люди во всем мире воюют,- говорили бывшие полицаи и злобно смотрели в нашу с Хаимом сторону.

- Евреи виноваты во всех наших несчастьях. Награбили у нас золото, а теперь бегут в свой Израиль!

Подобные обвинения были в ходу: евреи устроили в 1917 году революцию, чтобы, захватив власть, править русскими; Брежнев, Громыко и вообще все политбюро - сплошные евреи. Правда, некоторые все же допускали мысль о том, что, возможно, сам Брежнев и не еврей, но он виноват в том, что во всех институтах сидят евреи и разрабатывают хитрые теории, как мучить русских и захватить весь мир. Это уж точно! "Еврейское стремление к мировому господству" клеймили позором, но зато сообщения о военной мощи советского государства, о захвате, а по-советски, "освобождении" чужих территорий, о победах в международных состязаниях встречали с чувством гордости за русский народ. В этом заключенные объединялись

со своими тюремщиками. Советская пропаганда вдолбила всем одинаково "правильные" взгляды. Гунар Астра подсчитывал, сколько раз в день в радиопередачах употребляется слово "русские". Круглые сутки во всю мощь радио вопило: "русское небо", "русский народ", "русские пряники", "русский чай", "русский размах", "русский задор"...

- Других народов будто вообще нет, - возмущался Астра.

В лагере была еще одна группа, поддерживающая официальный внешнеполитический курс СССР. Это были студенты и выпускники ленинградского университета, арестованные по делу ВСХСОН (Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа). Они одобряли оккупацию Чехословакии, подавление польского движения, вторжение в Афганистан. "Надо побольше стран присоединить к России!", - считали члены этой группы. В вопросах внутренней политики они расходились с советской властью. Стояли за свержение коммунистического режима, за построение в России государства на принципах социал-христианства, Они много говорили о демократии вообще и о любви к ближнему в частности. Это не мешало им придерживаться крайне антисемитских взглядов. Впрочем, на определенном этапе они не собирались ни убивать евреев, ни насильственно выселять их в Израиль.

- Принесли русскому народу коммунизм, а теперь бежать? - в пылу спора кричали они. - Нет уж, вы должны остаться с нами и расплатиться за все грехи!

"Опасная подрывная деятельность" молодых социал-христиан напоминала игру в политику и, по существу, сводилась к разговорам на "высокие темы". Пожалуй, единственным криминалом являлись устав и программа их партии, на которых, правда, сказались многолетнее изучение истории КПСС, да еще и распределение портфелей на случай переворота. Лидеру партии Николаю Огурцову, прозванному за гордую осанку "императором", дали пятнадцать лет. Михаилу Садо, арамейцу, министру будущего министерства безопасности, - тринадцать. Остальные получили сроки поменьше.

Из группы ВСХСОНа в нашем лагере находился один лишь Иван Иванов, специалист по семитским языкам. К нему тянулись защитник правопорядка Юра Галансков и коммунист Юра Алексеев. С ними вместе был и член эстонской подпольной фашистской организации Райво Лапп. Молодой белокурый фашистик придал своей лагерной форме подобие гитлеровской, радостно щелкал каблуками перед Ивановым, готовый выполнить любой приказ этого своего маленького фюрера. Правда, чернобородый Иванов своими мягкими женственными манерами походил скорее на священника, чем на фашистского вождя, но тем не менее Райво Лапп перед ним преклонялся. Ежедневно у лагерного репродуктора идеолог Иванов, надзиратель Орешкин и полицейай Арзубов вели беседы о судьбах России.

Отношение тюремного начальства к националисту Иванову и сионистам Симасу и Менделевичу было совершенно разное. Нас воспринимали как врагов русской империи. Но мы ими не были. Мы просто хотели жить, как положено евреям, хотя толком не знали ни еврейского языка, ни еврейских обрядов, не научились еще

смотреть на мир с еврейской точки зрения... Хаим попросил меня учить его ивриту. А как? Учебников нет. Только словарь. Я выписал на карточки слова и отдельные фразы. Грамматики я сам как следует не знал и не чувствовал себя уверенно в ивриге. Дело у нас не пошло.

Я занялся изучением английского языка - благо был учебник и большой англо-русский словарь. По вечерам, возвратившись с работы, я хватал книги и бежал в пустую столовую, чтобы там, в тишине, выписывать слова, выполнять упражнения, читать. Вскоре почувствовал, что делаю успехи. Заходили надзиратели:

- Чем занимаетесь, Менделевич? Английский учите? Ну учите, учите!

Им спокойнее: раз зубрю английский, значит, в этот момент не занимаюсь подрывной деятельностью. Хорошо бы превратить весь лагерь в какую-нибудь школу астрономии или зоологии...

Стояло лето, и заключенные старались вырастить какую-нибудь съедобную зелень. Правилами это запрещается. Нельзя держать и животных. Запрещены также посылки с медом, шоколадом и витаминами. Выходит, что заключенному закон отказывает в здоровье и радости. Но насколько тюремный устав дотошно мелочен, настолько исполнители закона, тюремщики, ленивы. Между законом и ленью изобретательный зэк всегда сумеет найти лазейку. Можно только поражаться его выдумке: расчистит в траве местечко величиной с ладонь и посеет там лук, редиску и укроп. Некоторым даже удавалось вырастить морковь - чахлую, не очень желтую, но все же морковь. Огородничеством чаще всего занимались старики-националисты: армяне, украинцы, литовцы. От военных преступников они отличались большой привязанностью к земле и моральной опрятностью. Жили они в лагере так, словно он был для них родным селом. Когда я попал в зону, через мертвый лагерный камень пробивалась зеленая трава, несущая жизнь. В центре зоны всеми цветами радуги пестрела клумба деда Антося, бессараба, не захотевшего вступить в колхоз. Начальство поощряло разведение цветов. Они скрашивали убожество лагеря, и когда приезжали высокие чины, клумба производила на них большое впечатление. Зэки использовали цветы как надежное прикрытие: между ними выращивали укроп, салат и лук. Мне иногда казалось, что за забором и проволокой зоны, на воле, не было такого урожая овощей и обилия цветов, как у нас, на тюремной клумбе. Первого сентября к нам приходили из поселка: детишки должны преподнести учителям букеты.

- Слушай, - сказал мне Хаим, - это ведь очень символично: цветы из лагеря для украшения школы!

Не уверен, что воспитатели задумывались над этим. Ведь с первых лет жизни перед глазами детей была тюрьма. Каждый день они видели истощенных людей, заключенных. И даже играли в "арестованных" и "надзирателей". Что из них может вырасти?..

Нам с Хаимом подпольный огород достался в наследство от одного украинского националиста, неожиданно переведенного в другую зону. Это был клочок земли, на котором росло несколько кустиков щавеля, лук и какая-то съедобная травка. Мы

исправно поливали огород и старались вовремя срезать отросшие листья и стебельки. Ухаживая за своим огородом, я чувствовал себя хозяином виллы в Швейцарии. Однажды я так углубился в работу, что не заметил стоявших около меня охранников и офицеров. Это была инспекторская группа, приехавшая из Москвы, во главе с начальником главного управления лагерей полковником Жеребцовым. Заключение, раздетый до пояса в нарушение строгого запрета, да еще копающийся в земле, его очень заинтересовал. К тому же он обратил внимание на мою покрытую голову, что тоже не предусмотрено лагерными правилами.

- Заключение, подойдите сюда!

Тут только я заметил золотые погоны, блестевшие на солнце.

- Что это у вас на голове?

- Кипа.

- Что?! Снять немедленно!

- Не сниму!

- Приказываю снять!

Я молчал, упрямо уставившись на него. Полковник не понимал причины моей наглости. Ему, большому московскому начальнику, не подчиняется какой-то жалкий арестантишка! Не желая открытого столкновения на глазах у заключенных, он быстро нашел выход из положения:

- Оденьтесь по форме и явитесь в штаб!

Я пришел в штаб в арестантской куртке и фуражке. Вся группа офицеров была в сборе.

- Снимите фуражку!

Я снял. Под ней - кипа.

- Снимите это!

Я не шевельнулся.

- Объясните свое неподчинение!

- Я верующий. Еврейская вера запрещает обнажать голову.

Полковник кивнул двум здоровым надзирателям: "Снять!" Они кинулись ко мне. Я руками прижимал кипу к голове. Боролись мы недолго. Они, конечно, оказались сильнее. Я весь кипел от негодования и оскорбления. Но не кричал, не ругался. Надел фуражку и как можно спокойнее проговорил:

- Немцы издевались над евреями, когда те не снимали шапок перед ними!

- Вас наказывают не за то, что вы еврей, а за нарушение установленного порядка. Идите! Будете наказаны за невыполнение приказа!

Я вышел, готовый ко всему. Жаль, что еще не получил свидания и теперь меня могут его лишить.

В бараке меня ждали с нетерпением. Едва вошел, как меня окружили и забросали вопросами. Я был тронут заботой и вниманием. Подошел Владлен Павленков:

- Через несколько часов у меня свидание с режиссером Шварцем. Он уезжает в Америку. Я расскажу ему, что у вас отобрали кипу.

На следующее утро, отправляясь на работу, я услышал, как меня кто-то окликнул. Гляжу - на крыше сарая, рядом с лагерным забором, стоит Шварц:

- Обо всем, что произошло, передам в Москву. Привет от вашего отца!

Вскоре я сшил новую кипу и ходил в ней. Как ни странно, наказания не последовало. Наше дело было еще свежо, а вызывать новую волну протестов Советы не хотели. Силу заграничного шума понимало не только начальство. Не раз спрашивали меня:

- Как, тебя еще не освободили? Ты еще здесь?!

Им почему-то казалось, что стоит Западу выступить в нашу защиту, как Москва испугается и немедленно нас выпустит.

- Вот увидишь, через месяц будешь в Израиле, - нередко говорили мне заключенные.

Я слушал и не верил. И хорошо делал - иначе за три тысячи восемьсот шестьдесят три дня моего заключения я непременно сошел бы с ума. Возможно, если бы волна протестов не схлынула после отмены смертных приговоров, мы вышли бы на свободу. Отмена смертных приговоров сняла напряжение. Вероятно, в отношении нас существовали какие-то инструкции. Однако мы не чувствовали себя привилегированной группой.

В лагере протекция не менее важна, чем на воле. С нетерпением ждал я своего первого свидания. Надо было договориться либо с дежурным надзирателем, либо с дневальным-заключенным в доме свиданий. Договориться о том, чтобы дали возможность пронести в зону продукты, которые привезут родные. По закону это строжайше запрещалось. Дневальный - бывший полицей, по кличке Мерзавец. Ему ничего не стоит продать родного отца. Хаим обещал ему десятку и немного продуктов. Для нас продукты были существенной добавкой к скудному кошерному столу.

Свидание мне дали всего лишь на одни сутки. Отомстили все-таки за кипу. Начальник лагеря, капитан Гаркушев, популярно объяснил, от чего зависит продолжительность свидания с родственниками:

- Если имеете особые заслуги (читай: сотрудничаете с КГБ) - получаете трое суток свидания. Если мирно живете с администрацией (читай: работаете с органами МВД) - двое суток. Если не нарушаете режим - сутки!

Мне повезло - хоть сутки дали! Могли вообще ничего не дать. Но это сутки "с выводом на работу". Значит, из двадцати четырех часов только восемь на свидание, так как десять часов я должен, как обычно, работать, шесть - спать. Я возмутился. После года разлуки - всего лишь восемь часов свидания?!

- Требую предоставить мне свидание в нерабочий день!

- Но ваши родители согласились на наши условия! Они уже ждут вас. Будете настаивать на своем, не получите ничего!

- Вы обманули моих родителей. Они не знают, что вправе взять свидание в выходной день.

- Ничем вам помочь не могу. Решайте: либо так, либо вообще никак!

Я вышел из канцелярии удрученный. Что делать? Вдруг заметил того маленького сержанта, который обыскивал меня в день прибытия в лагерь. Он относился ко мне лучше, чем другие.

- Послушай, пусти меня на минутку сказать пару слов отцу...

Он сначала заколебался, но потом решил:

- Ладно, под твою ответственность!

Мы вошли в дом свиданий. Папа бросился ко мне. Но я не сделал ни шага навстречу - таково было условие сержанта.

- Зачем вы взяли свидание в рабочий день?

- Нам сказали, что другой возможности нет.

- Требуйте свидания в выходной день, в воскресенье. Я жду.

Вышел. За мной захлопнулась дверь. Подавленный, возвращаюсь в лагерь. Может, надо было брать, что дают? Сажусь писать жалобы во все известные мне инстанции. Но дело решилось быстро: дали сутки, но уже без вывода на работу.

И вот произошла встреча, от которой сердце разрывалось. Объятия, слезы, поцелуи, будто я восстал из мертвых. Ведь действительно мы могли никогда не встретиться. Да и впереди - неопределенность. Увидимся ли еще? Забегая вперед, скажу, что за все без малого одиннадцать лет заключения я видел отца всего лишь три раза.

- Все продукты кошерные, почему ты не ешь? - удивлялись родители.

Хочу говорить, расспрашивать, слушать и смотреть, а еда подождет. Да к тому же мой желудок настолько сократился, что много есть я не могу, - объяснял я, смеясь.

Разговорам не было конца. Отец рассказывал об Израиле, о знакомых, получивших разрешение на выезд, о сестрах. На клочке тонкой бумаги я описал положение в лагере и историю с кипой. Мама надежно спрятала бумажку, чтобы при обыске не отобрали. Опасаясь подслушивания, мы разговаривали только при включенном

репродукторе или писали друг другу записки. Оказалось, что папа (и это после грех инфарктов!) заменил меня в сионистской работе. Он выступал в этом году на митинге в Румбуле. Чтобы помешать евреям собираться на кладбище, из близлежащей военной базы вывели танки, объявив, что проводятся маневры. Кладбище было огромным, и папа повел всех в другой конец - на "детскую могилу". Открылся митинг. Но, спохватившись, прибежали кагебисты и милиционеры. Рядом с папой стоял Жан Липке, латыш, спасший во время войны сорок евреев.

Увидев милиционеров, он сказал:

- Вот они. Я их узнаю. Точно такие приходили ко мне при Гитлере искать евреев. (На следующий год, накануне годовщины расстрелов, милиция посадила отца под домашний арест.)

Вот и подошло к концу свидание. Короткое, но обнадеживающее: мы твердо знали, что не подведем друг друга.

Во время свидания "Мерзавец" несколько раз заходил к нам под разными предложениями. Он вынес сто рублей и часть продуктов. Остальное после свидания я пронес сам и спрятал в умывальне, в проеме стены. Туда я засунул первой большую консервную банку. Когда "Мерзавец" на другой день пришел вытаскивать спрятанные продукты, он в сердцах выругал глупых евреев, не догадавшихся засунуть сперва что-нибудь поменьше. Деньги нам не очень были нужны, так как надзиратели вступали в сделки только с полицаями, а диссидентов - мы тоже числились ими, - боялись. Продукты мы с Хаимом ели по субботам.

Лагерная жизнь потекла дальше. О следующем свидании лучше пока не загадывать. Единственная связь с домом, друзьями, Израилем - письма. Первое письмо я получил к концу первого месяца лагерной жизни. Из Израиля. И какие чудесные новости: Ева, Саша и Ривка учатся в ульпане, в Димоне. И еще цветная открытка: День Независимости в Тверии - множество людей у синагоги. Хаим вообще впервые видит израильскую открытку. Мы показывали ее нашим лагерным друзьям, националистам - украинцам и литовцам: смотрите, мол, и у нас есть родная земля.

"Если малочисленный еврейский народ мог создать и отстоять свое государство, значит, и Украина может быть свободной!" - утверждали наши друзья. Они отбывали длительные лагерные сроки, занимали немаловажные посты в лагерной иерархии, и их сочувствие и помощь служили хорошим противовесом ненависти бывших полицаев.

Повар Вася Пидгорецкий, националист, отсидевший уже двадцатипятилетний срок, но не утративший украинского чувства юмора, знал, что мы с Хаимом не едим трешного. Специально для нас он приберегал пищу, которую нам можно было есть.

Наше настроение поднялось, когда в зону привезли Гилеля Шура и Элизера Трахтенберга. Оба инженеры, оба до ареста жили и работали в Ленинграде. Они "проходили" по кишиневскому процессу, искусственно выделенному КГБ из "ленинградского дела". Гилель и Элизер были измотаны следствием и тяжелыми условиями, в которых они содержались в кишиневской тюрьме. Им предстояло

отбыть два года заключения. Они еще целиком находились под впечатлением процесса. К новым людям в зоне относились настороженно. Для Хаима они были безусловно героями, он встретил их как родных. Но Хаим - горячий спорщик, а в драматически напряженных условиях лагеря каждый спор грозит превратиться в конфликт. Я старался выступать в роли примирителя, за что мне попадало с обеих сторон.

В основном спор касался вопроса о лагерной этике. Возможна ли она вообще? Отношения в зоне особые: есть вещи, о которых расспрашивать не принято. Товарищество как таковое ко многому обязывает. Твое поведение и сам ты - все на виду. Казалось бы, что из того, если ты пил чай с Сидоровым? Захотел - попил и забыл. Но в лагере не так. Твоя позиция отражается и в том, с кем ты позволяешь себе пить чай. В большом бараке за тобой наблюдают семьдесят пар глаз: как ты ешь, как ты спишь, когда в уборную ходишь, что читаешь, о чем говоришь и с кем, как выполняешь приказы начальства. О тебе знают все: ты трус или приличный зэк, честный человек или ловкач, по лагерному "гнилуха". Последний берет чай у гебиста, соглашается отработать лишние часы в честь дня рождения Ленина, а наедине с тобой ругает советскую власть. Другие за деньги достают у надзирателей продукты. Это "рыбы".

Самое главное - определить свое отношение к тюремным правилам и заявить об этом. Некоторые полностью отказываются выполнять "Правила внутреннего распорядка". Еврей во всем должен руководствоваться еврейским Законом. Но откуда нам с Хаимом было знать Закон? А спросить не у кого... Со временем вырабатывается линия поведения, соответствующая твоим нравственным нормам и вместе с тем не приносящая тебе особого вреда. Для этого нужно отыскать ту грань, за пределами которой ты рискуешь из смельчака превратиться в отчаянного безумца, а с другой стороны, из умного человека - в хитреца, из трезвого и расчетливого - в изворотливого труса. Я старался не переходить этой грани.

Но лагерная жизнь неизбежно требует от тебя выбора между крайностями. Скажем, позорно или нет здороваться с начальством? На что можно рассчитывать, отказываясь подчиниться "Правилам внутреннего распорядка"? На "привилегию" быть помещенным на весь срок - вплоть до пятнадцати лет - в каменный ящик площадью метр на два. Без писем, газет и радио; без прогулок, без встреч с родными, без бесед с другими заключенными. Спать - в строго назначенное время; в уборную - тоже по расписанию. Питание - 1600 калорий в день. Причем, один день плохой: хлеб, соль и вода. Другой день хороший: к "рациону" добавляется сорок граммов рыбы, тридцать граммов крупы, двести граммов картошки. "Хорошие" и "плохие" дни чередуются. Температура в карцере - плюс восемь градусов. Матрац, подушка, одеяло, пальто и шапка не выдаются. Страшно? Да, страшно! Так стоит здороваться с начальством? Конечно! Но, оказывается, не обязательно. В каждой ситуации существует определенная степень вероятности наказания. Нужно прикинуть, какова эта степень. В моем случае надо учесть международный отклик на еврейское движение в России, поддержку друзей по лагерю и свои собственные

возможности. Разумеется, производить такие подсчеты - значит балансировать на острие ножа. Но важно чувствовать себя потомком Маккавеев¹, а не бессловесным рабом... Так здороваться с начальником или нет?..

Или вот еще вопрос: следует ли посещать политзанятия? Мнения двух мужественных людей - Хаима и Гилеля - разделились. С одной стороны, политзанятия - пустая формальность, но они обязательны для всех - от министра до последнего заключенного. Так стоит ли нам слушать лекции о коммунизме, в который и грудной младенец нынче не верит? Но зачем наживать себе неприятности? Лучше ходить. Каждый заключенный обязан. Но я ведь еврей. Я не признаю никакой другой веры, кроме веры в Б-га, зачем же мне ходить на коммунистические проповеди? Мы с Хаимом отказались. А Элизер и Гилель пошли:

- Почему бы и нет? Можно сидеть и не слушать.

- Трус! - кричит Хаим Гилелю. - Ты позоришь еврейский народ!

- Да неужели он от этого пострадает? - удивляется Гилель.

- Мы должны им доказать, что не рабы, - произносит Хаим срывающимся от гнева и боли голосом.

Я понимал Гилеля: он ждет свидания и должен быть осторожным.

- Если хочешь что-нибудь передать на волю, приготовь заранее, - предложил он мне.

- Напиши на маленькой бумажке.

Это было кстати. Мою сестру Мэри перед родами освободили. Игал родился в январе 1971 года. Арье Хнох, муж Мэри, еще сидел в тюрьме. Необходимо помочь сестре срочно уехать в Израиль, пока власти не опомнились и не вернули ее досиживать срок. Разрешения на выезд ей не давали. Я написал письмо жене Брежнева, которое теперь собирался передать на волю. "Неужели вы хотите вынудить меня снова решиться на отчаянные действия?" - писал я в нем.

Сам Гилель в ходе процессов собирал материал о нарушениях законности органами следствия и суда и о проявлениях ими явного антисемитизма. Несмотря на обыски, он сумел пронести свои записи в лагерь. И теперь Элизер, обладатель бисерного почерка, переписывал все на папиросную бумагу, а я в это время сторожил. Переписанную за день работу скатывали в тонкую трубочку и заталкивали в кусок хлеба. Наконец пришло известие, что Роза Хацкелевна, мать Гилеля, приезжает. В тридцатые годы она помогала своему отцу, сионисту. Конечно, теперь она поможет своему сыну и нам.

На свидание Гилеля повели прямо с работы, чтобы он ничего не мог взять с собой. Он предвидел это: бумаги, скатанные в тонкую трубочку, всегда находились при нем.

По дороге к месту свидания он попросился в туалет. Конвоир подозрительно поглядел на него, но разрешил. В дощатом туалете Гилель надежно спрятал бумажную трубочку. Перед встречей с матерью его обыскали, заставили присесть и нагибаться, и все же ничего не нашли.

- Можете идти. Вам дали трое суток свидания.

Так Гилелю удалось передать материалы на Запад.

Когда Роза Хацкелевна покидала дом свиданий, мы с Хаимом ждали ее у двери. Я вручил ей букет цветов с клумбы. (Она засушила цветы и в день моего освобождения преподнесла их мне.) Мама Гилеля была тронута нашим подарком и хотела дать нам с Хаимом яблоки, но дежурный вырвал у нее из рук сумку, и яблоки покатались по земле...

Гилель отличался необычайной находчивостью. Ему, например, удалось отбить у КГБ учебник иврита "Мори". Этот учебник забрали при обыске у одного из членов нелегального ульпана и после проверки передали в Центральную государственную библиотеку. Гилель написал прокурору жалобу: "Если книга передана в библиотеку, значит ею разрешено пользоваться. А если разрешено пользоваться, так почему ее вообще отобрали?" Пораженный "талмудической" логикой, прокурор распорядился вернуть книгу. Но не тому, у кого ее конфисковали, а Гилелю. И теперь в нашем распоряжении находился учебник иврита с печатью советского государственного учреждения. Можно не бояться - при обыске его не отберут.

Элиэзер начал обучать Гилеля ивриту еще в поезде и продолжал в лагере. Им обоим сам процесс учения доставлял даже больше радости, чем успехи в нем. Вернувшись с работы, Гилель прочитывал газету и садился за иврит. Хаим читал учебник, учил слова и предложения на иврите, которые я для него составлял. Элиэзер занимался математикой, а я корпел над английским. Наше времяпрепровождение отличало нас от других.

После тяжелого рабочего дня пожилые заключенные укладывались спать. Те, кто помоложе, просиживали долгие часы за столами, остервенело стуча костяшками домино, или азартно резались в карты. Русские интеллектуалы беседовали о литературе, политике и жизни. За бесконечными разговорами и чаепитием коротали свои сроки.

Чай - важный элемент лагерной жизни. Его готовят особым образом, используют как своего рода легкий наркотик. Многие, привыкнув, не могут без него обходиться. Поэтому чай здесь - и валюта, и взятка, и награда.

До 1978 года чай свободно продавался в лагерном ларьке. Среднему любителю чая требуется около тридцати граммов в день. Если всю месячную сумму, на которую эску разрешается купить продуктов, тратить на один чай, выйдет десять пачек, по двадцати пяти граммов каждая. То есть хватит всего на десять дней. А ведь надо еще и курево, и конфеты-подушечки к чаю... На хлеб, маргарин, постное масло уже не остается. Ничего не поделаешь... "Чаемана" всегда можно узнать: вечно он клянчит чего-нибудь поесть, да и вид его жалок - он тощ, изможден, курит сигарки, насыпая табак в клочок газеты.

Уже с утра начинаются заботы о чае. Хлопот больше к концу месяца, когда все запасы использованы. Едва любитель чая протрет глаза, как бежит с кружкой к товарищу:

- Даня, на заварочку не найдется?

- Я Пете в начале месяца давал. Надо к нему пойти.

Идут к Пете.

- Петя, чайком угостишь?

- Есть на кружку, да еще вторячков подбавлю!

Довольные раздобытым питьем, "чаеманы" ставят кружку на огонь, в железную печку. Поиски дров тоже требуют немалой изобретательности. Но вот уже над ветками, палками, газетной бумагой полыхает огонь. В печку ставят три консервные банки с водой. Когда закипит, всыпают заварку. Мерка - полный спичечный коробок. Толстой, продырявленной огнем рукавицей вытаскивают банку, дают отстояться и торжественно несут в барак. А там уже установлена очередь: кому за кем пить. Достают конфеты-подушечки, по одной на брата, и пускают кружку по кругу. Начинается беседа о политике, о ценах на продукты. Без чая разговора нет. Так часть лагерной жизни проходит в хлопотах о чае. Если пристрастившийся к чаю не пьет целый день, его, как всякого наркомана, мучают головные боли. Чаще всего так и бывает: сперва пьют чай для кайфа, потом появляется настойчивая потребность в нем, и тогда увеличивают дозу, чтобы вызвать чувство физического удовлетворения. Поэтому поиски чая нередко носят болезненный характер. Варить чай официально запрещено. Но начальство смотрит на нарушение этого запрета сквозь пальцы, как на воле смотрят на водку: пусть уж лучше пьют, а то политикой займутся...

О чае постоянные разговоры, которые постороннему не понять:

- Где пьем? Еще на заварку наберется?

Заварка - обменный товар. Сапоги починить - заварка. За помидоры с огорода деда Антося - две заварки. А где ж ее взять, заварку-то? Воровать? Кто может, ворует. Вот обнаружили подкоп под ларек. Устроен по всем правилам инженерного искусства. Почти готовый лаз к чаю. А можно чай и заработать - кагебисты расплачиваются чаем с доносчиками. Приходят в барак с туго набитым портфелем - чай! Как-то я пошутил:

- Что, зарплату принесли?

Гебист обозлился:

- Будешь так шутить, схлопочешь...

А стукачи довольны: кто пятьдесят граммов получил, кто - все сто. Однажды я поспорил с диссидентом, который улыбаясь рассказал:

- Чай у чекиста взял. Говорю ему: "Дай!" Ну, он и достал чай из портфеля и дал.

- Зачем ты взял? Нельзя же!

- Почему?!

В самом деле - почему? Чтобы не приучаться к их подачкам. Они волчьим нюхом чувствуют. Даже самый сильный и гордый, обратившись к ним за щепоткой чая, уже сдался, обнаружил слабость. К нему, значит, можно подобрать ключик.

- Я не беру и все. И пить с тобой не буду! - резко ответил я диссиденту.

- Как знаешь! Подумаешь, святой нашелся!

Казалось бы, так ясно, а поди докажи. Но разве все в жизни надо доказывать? А может, внимательней присмотреться к человеку, которому надо доказывать, что негоже брать подачку из рук кагебиста?

В нашей еврейской компании только на субботу варили чай. Эли и Гилель уже получили посылки, как положено после отбытия половины срока. (Я же свою первую посылку получил только в 1976 году - через шесть лет после ареста.) Хаим, наш шеф-повар, сооружал яичницу из израильского яичного порошка и жарил израильскую сою с луком. Суп из бульонных кубиков, селедка и чай - такому столу позавидует каждый.

Заботы о субботе начинались накануне. В пятницу предстояло сшить субботнюю норму рукавиц. Я научился выполнять восьмичасовое задание за четыре часа. Качество меня, конечно, не интересовало. Одна за другой вылетали из-под швейной иглы наши изделия. Субботнюю норму, приготовленную в пятницу, мы с Хаимом прятали и показывали старшему заключенному место, где она находилась. В пятницу нужно было еще заготовить дрова. Собрать их легче, чем пронести в жилую зону или растопить печку. Затем баня. Нам повезло: мылись по пятницам. Баня - небольшое помещение, вдоль стен деревянные лавки, а посередине большой котел. Из него набираешь кипяток в жестяную шайку... Вокруг пар, голые люди. С трудом привык мыться на виду у всех и ходить нагишом. Помылись - и быстро домой, к печке: успеть приготовить еду до наступления субботы. Вот и стол накрыт. И мы, четверо евреев, вокруг него. Приодетые, насколько это возможно в наших условиях. Десять лет подряд я надевал по субботам белую рубашку, которую мне прислал отец, когда я еще сидел в тюрьме. Ничего красивее и дороже этой рубахи у меня не было.

Полсотни человек вокруг болтают, ругаются, режут в карты, глазают на нас... А нам хоть бы что. На нас нисходит субботний покой. Произносим субботние молитвы. Мысленно переносимся к своим родным и вместе с ними встречаем субботу. Благословив вино (вернее, изюм вместо вина) и хлеб, приступаем к трапезе и говорим об Израиле, о нашей судьбе и судьбе нашего народа. Если до наступления субботы мы получали письма, особенно из Израиля, то весь вечер разговоры шли только об этом.

Бывало, в самый неподходящий для нас момент двери барака открывались и на пороге появлялся дежурный надзиратель:

- Это еще что за сборище? Немедленно разойтись!

- Сейчас поедим и разойдемся.

В бараках не запрещено есть, но собираться группами более трех человек нельзя.

Вероятно, кто-то донес, что евреи празднуют свой "жидовский шабаш". Полицаи в восторге: "А, не дали попить!" В их словах, в их колючем взгляде не только злость, но и зависть. Давно потерявшие человеческий облик, полицаи завидовали нам, евреям, которые и в лагере остались верны себе и своим обычаям. А у них на душе пусто. Нет ни веры, ни надежды, ни просвета. Жрут сало и масло, пьют водку. Всего вроде бы у них вдоволь, а вот чего-то не хватает. Наш скромный стол богаче всех, потому что вместе с нами в субботней трапезе участвует весь еврейский народ. И любопытство распирает наших соседей: что за странный народ, который так держится за свои обычаи? Что за вера у них такая особенная?

- Свинину не едите, потому что для здоровья вредно? В субботу не работаете, потому что надо отдыхать? Молитесь, потому что боитесь пропасть? В Израиль хотите, чтобы там арабов эксплуатировать? Объясните: почему? зачем? для чего?

- Так заповедано Б-гом!

- И это ответ?! Быть не может! Вы что-то скрываете!

Но как ты им объяснишь:

- Я верю и все.

- Веришь? А что значит верить?

- Верит каждый. Только одни скрывают, а другие признают.

На следующий день утром надо выходить на работу. Долго спорили с Хаимом о том, являться по субботам на завод или не стоит. Я считал, что не следует дразнить начальство и устраивать демонстраций. В конце концов суббота- между нами и Б-гом, и администрации знать об этом незачем. Вот мы и вели себя как мараны. Выходили на завод, усаживались на свои места, и начиналось... Отдых - не отдых. Ждем, когда кончится утренняя проверка, отлов увиливающих от работы. Подходят ко мне. Делаю вид, что чем-то занят. Стоят, смотрят, точно прилипли... Наконец уходят. Но бывает и иначе:

- Менделевич, почему не работаете?

- Я работаю.

- Нет, вы ничего не делаете. По карцеру соскучились?..

- Почему не работаете, Менделевич? Менделевич, что у вас на голове? Снимите! Менделевич!

Молчу. Пронзительно и резко звучит моя собственная фамилия. Я готов заткнуть уши, чтобы ее не слышать. Но сижу спокойно. Привык. Делаю, что считаю нужным, а они - как хотят. Война нервов. Надоест - уйдут. Я не сорвусь, не вспылю, чтобы потом на радость начальства загнуться в карцере. Но и работать не стану, не нарушу святость субботы. Это уж точно! Разве могу иначе? Разве можно перестать быть самим собой? В этой борьбе нервов я победил. Ничего не смогли со мной сделать. Хаим вел себя по-другому.

- Сегодня я вообще не выйду на завод, - заявил он мне в субботу.

- Но ведь ты бросаешь им вызов и от моего имени. Тебе сидеть три года, а мне десять. Подумай!

- Все равно, не могу иначе... Я их не боюсь - пусть наказывают!

- И я не боюсь. Но зачем провоцировать наказания?

Мои доводы не помогли, и его затаскали по карцерам. Потом нам все же вместе с Гилелем Шуром удалось уговорить его выходить по субботам на работу. Он согласился, и тогда от него отстали.

В середине зимы прибыло несколько ленинградцев, которых дольше других держали в Ленинграде, а потом в мордовском КГБ. Возможно, надеялись перевоспитать путем "задушевных" бесед, вырвать дополнительные показания или хотя бы покаяние. Потом отправили в лагерь. Один из новоприбывших был в крайне подавленном состоянии.

- Ой, расстреливать ведут! - всхлипывал он. Совсем запугали парня. Однажды он пришел, сел на койку. Молчит.

- Что с тобой? Боишься, что расстреляют? Да ведь по приговору семь лет! Успокойся!

- Ребята, я дал подписку сотрудничать с КГБ. Может, так мне легче будет!

- Ты что же, легкую жизнь за наш счет заработать хочешь?

- Нет, на вас не буду доносить!

Поди знай, на кого он будет стучать, а на кого нет! Раньше он казался таким смелым и такие пылкие речи произносил о сионизме, об Израиле!

А Марк - все тот же Марк. Крепкий, не сломленный, подтянутый.

- Не жалеешь, что оказался со мной?

- Жалею? Нет, благодарен Б-гу, что встретил!

Трудно летчику в лагерной яме. Работу дали тяжелую - колоть и пилить дрова. И это на мордовском тридцатиградусном морозе. Когда вечером нас ведут с завода, Марк в полной темноте все еще работает. Усталый, приходит в барак и замертво валится на койку.

Непривычно ему, советскому солдату, сидеть за субботним столом. Чего тут расслаживаться? Поели - и разошлись. Но постепенно и он втянулся во все приготовления к субботам и праздникам.

Приближалась Ханука. Гилель Шур сказал:

- Все равно праздновать по-человечески не дадут. Войдут, станут мешать. Надо заблаговременно написать заявление начальнику лагеря. Пусть разрешит отметить праздник!

Написали. Вызывает к себе капитан Горкушев. Высокий, толстый, с красным от постоянного пьянства лицом.

- Что это еще за ха-ну-ка? - запинается он.

- Праздник победы еврейского народа над греками во втором веке до новой эры.

- Не советский значит! Нет, разрешения дать не могу!

Пишем дальше - прокурору, начальнику управления лагерей. Ответ один: не разрешить!

- Ну, как вы все-таки думаете справлять свой праздник? - участливо спрашивает капитан Белов.

Он в лагере играет "доброе" начальника в противовес "злому" Горкушеву. В каждом лагере всегда есть такая пара: один хороший, а другой плохой. Один - только бранит и наказывает, другой - слушает, объясняет, разрешает и наказывает редко. Метод простой: заключенному дается надежда на то, что кое-что можно уладить, если поговорить с "добрым" начальником. Зло вроде бы исходит не от властей, не от закона, а от людей с дурным характером.

- Мы не против еврейских праздников, - объясняет Белов. - Но во что превратится лагерь, если каждая нация начнет здесь справлять свои праздники?

- Но ведь другие и так справляют. Почему только евреям нельзя?

- А вам знаком неписанный лагерный закон? Никогда на другого не показывать! Каждый отвечает за себя! Запомните!

Что это? Капитан тюремных войск учит нас внутрилагерной этике?

- Но мы ничего особенного устраивать не собираемся. Посидим, чай с конфетами поьем - и все. Это ведь наш национальный праздник, - настаиваем на своем. - Вы представляете, что будет, если евреи на Западе узнают, что нам запрещают праздновать Хануку?

- А вы нас своими евреями не пугайте! Советский Союз не боится!

И все-таки мы готовились к празднику. Я достал свечи. Хаим попросил одного заключенного изготовить светильник и волчок из дерева - сэвивон. Светильник был маленький, сантиметров десять на пять, чтобы легче вынести с завода.

Наступил первый вечер Хануки. Мы сели за праздничный стол. Были ко всему готовы, даже к самому худшему. Но ничего не произошло. Не появился ни один надзиратель. Мы спокойно зажгли первую свечу, поужинали, жалея, что не нашлось картошки для латкес. Потом, осмелев, отправились в пустую столовую играть в сэвивон, ставя спички в банк. Настроение веселое, приподнятое. Вышли во двор.

- Ребята, а ведь когда-нибудь мы так же просто выйдем на улицы Иерусалима!

И мы запели израильские песни. Все, какие знали, подряд. Израильские песни под свинцовым мордовским небом.

А через несколько дней меня вызвали на свидание. Что случилось? Почему папа с мамой ехали за тысячи километров? Ради двухчасовой беседы? Что-то важное? Ладно, разберемся! Главное - видеть их! Меня вводят в комнату. Надзиратель не уходит. Обняться нельзя, руку пожать запрещено. Улыбаемся друг другу. Они явно хотят что-то сообщить.

- Твой дедушка Аарон, - начал осторожно отец, - был большим хасидом, но даже и он не постился более трех дней...

Значит, речь идет о голодовке. Так. Но Аарон? Кто это? А, наверно Шпильберг... Стало быть Шпильберг собирается объявить голодовку? Разговор первоначально идет на идише, но надзиратель запрещает говорить на непонятном ему языке. Ладно, мы и по-русски договоримся.

- Как поживает Йохевед? Довольна ли она отцом?

(Йохевед - дочь Аарона.) По глазам папы вижу, что угадал.

- Она-то довольна, но он совсем себя не жалеет. Нехорошо!

Ага, папа против голодовки. Но в чем же все-таки дело?

- Может, не зря он не жалеет себя? Может, он недоволен местом работы и хочет уехать? (Я имел в виду, что он, возможно, требует перевода в другой лагерь.)

Папа понял меня:

- Нет, местом работы он доволен. Собирается отметить годовщину свадьбы!

Что-то насторожило надзирателя. Он вызвал из соседней комнаты сержанта. Теперь вместе сидят и слушают. Но мне уже ясно: Аарон затевает голодовку по поводу годовщины суда над нами - 24 декабря 1971 года. Теперь понятна причина приезда родителей: они ставят меня в известность об этом и заодно хотят отговорить от участия в трехдневной голодовке. Папа продолжает:

- Все ребята сейчас пишут Лене, что они не считают себя его товарищами, потому что нельзя одновременно дружить и с ним, и с Изей.

Все ясно: это не личная голодовка Шпильберга, а коллективная. Пишут заявления об отказе от советского гражданства и о принятии израильского. Так... Теперь можно спросить и о родных.

- Мэри по-прежнему живет в Тивоне? Как здоровье Игала?

- Прекратите разговаривать на условном языке! - взрывается надзиратель.

- Где ж тут условный язык?

- А вот Тивон, Игал - это что такое?

- Это название города и мужское имя. Сержант смотрит на нас недоверчиво и на всякий случай грозит:

- Еще раз услышу иностранное слово - прекращу свидание!

Хорошо, обойдемся теперь и без иностранных слов. Два часа пролетело незаметно. Закончилось одно из последних свиданий с отцом.

Я вернулся в барак, и мы с товарищами принялись обсуждать план действий. Аарон Шпильберг находился в семнадцатой зоне, в ста метрах от нас. С холма у вышки мы могли видеть зэков на втором этаже их барака. Иногда пытались переговариваться азбукой Морзе, сигналивая руками: один взмах - точка; два - тире. Азбуку Морзе знал только Хаим. Однако сперва надо "выйти на связь", сделать так, чтобы нас заметили. В бараке семнадцатой зоны, у окна стояла койка бывшего капитана милиции Юры Алексеева. Он всегда начеку. Посылаем запрос: "Что известно о голодовке Аарона?" Передает, конечно, Хаим, а мы с Элизером караулим. Но на той стороне нас заметил не только Юра. Дежурный с вышки уже звонит к нам в зону. Успеваю предупредить Хаима, и ему в обход удается уйти от надзирателей.

Запрос не передан, ответ не получен. Тогда решаем провести голодную забастовку без согласования с товарищами из семнадцатой зоны. Приготовили заявления, в которых подробнейшим образом описали, как проходил суд и какой был вынесен приговор. Мы требовали отмены приговора и разрешения выехать в Израиль. Я написал так: "Моя родина - Израиль, и поэтому я не желаю считаться гражданином Советского Союза, где еврейский народ обречен на дискриминацию, антисемитизм и принудительную ассимиляцию. Новым по сравнению с моим выступлением в суде был отказ от советского гражданства и признание себя гражданином Израиля. Примерно в таком же духе писали свои заявления остальные. Мы провели однодневную голодовку. Однако никакой реакции властей на наши заявления и голодовку не последовало. Впоследствии ежегодно в день узников Сиона я писал заявления, но с годами их текст сокращался, пока не дошел до двух фраз: первая - отказываюсь от гражданства; вторая - требую выпустить в Израиль. Надоело кричать в пустоту.

В конце срока я узнал, что наши заявления учитывали и брали на заметку. Нас не подвергали дополнительному наказанию потому, что именно за такие убеждения мы и находились в заключении. Однако с 1980 года всякое заявление, содержащее критику советской власти, рассматривалось уже как нарушение правил режима и жестоко наказывалось.

Итак, голодовка закончилась, а нас, конечно, не освободили. Но мы хотели сообщить о ней на волю. Единственный способ - через больницу, обслуживавшую четыре мордовских лагеря. Рядом с больницей находился женский лагерь номер три, где сидели Рут Александрович и Сильва Залмансон, и лагерь номер пять для иностранцев. В больнице зэки из разных лагерей встречались и обменивались новостями.

Гилель Шур страдал хронической язвой желудка. Он записался на прием к врачу, и через несколько месяцев подошла его очередь в больницу. Там он и рассказал о

нашей голодовке и обращении к Кнесету с просьбой признать нас израильскими гражданами. (13 июня 1972 года, через два года после нашего ареста, Кнесет принял такое решение.)

Никакого лечения Гилель не ждал и, конечно, не получил. Но он возвратился в зону с массой новостей. Однажды, забравшись на крышу больницы, он сумел поговорить с Сильвой. Узнал, что голодовки прошли во всех зонах и КГБ терялось в догадках, каким образом их организовали и кто именно. А еще Гилель узнал, что в третьей зоне получают письма из Израиля. Вскоре и к нам они начали доходить. Лагерное начальство с удовольствием уничтожало бы их, но имелся особый приказ из Москвы, и вот каждую пятницу дневальный выкрикивал:

- Шур, Трахтенберг, Менделевич, Симас - к цензору!

И цензор Буянов одаривал нас не столько письмами, сколько актами об их конфискации.

Получить или отправить письмо - такая же сложная процедура, как добиться свидания. По закону, заключенному, находящемуся на строгом режиме, разрешается отправить два письма в месяц. Получать он может сколько угодно. Переписка между заключенными запрещена, если они не являются родственниками. Отправка письма или вручение полученного должны производиться администрацией в трехдневный срок со дня поступления письма. Так гласит тридцатая статья "всесильного" исправительно-трудового кодекса РСФСР. Заключенным знакома эта статья. Знал ее и я. Длительное время не получая писем, я обратился к начальнику оперативной части, лейтенанту Рожкову:

- Почему вы нарушаете статью тридцатую и не выдаете мне писем?

- Статью надо понимать в том смысле, что администрация может разрешить и может не разрешить, - официально-наглым тоном заявляет он. Вступаю с ним в спор:

- Не вы, а закон разрешает получение писем. Не сказано ведь: заключенные могут получать письма с разрешения администрации.

Ничуть не смутившись, Рожков прибегает к последнему доводу:

- Слишком много знаете, Менделевич. Но пока власть в моих руках, я сам решаю - отдавать вам письма или нет.

Веский довод, ничего не скажешь!

С цензурой тоже сложно. В Правилах внутреннего распорядка сказано, что переписка заключенных подвергается цензуре. Письма, в которых есть сведения, не подлежащие оглашению, конфискуются. Это сведения об охране лагеря и его местоположении, о персонале, заключенных, массовых и одиночных действиях против администрации, о стихийных бедствиях, эпидемиях. Это высказывания "клеветнические" и "искажающие" советскую действительность и, наконец, порнография.

Заклученный, по сути дела, не имеет права ни сообщить об условиях своей жизни, ни поделиться с близкими людьми своими мыслями и чувствами. Судьбу письма решает цензор, который руководствуется не законом, а последней секретной московской инструкцией. Если решат конфисковать письмо, пункт для конфискации подобрать нетрудно. Корреспонденцией заключенных интересуются КГБ и МВД. Отношения между этими двумя ведомствами осложняются тем, что законом не регулируются - во всяком случае официально. И создается впечатление, что они дублируют или подстраховывают друг друга. Скажем, к вам в лагерь идет письмо из-за границы. Сперва его перлюстрируют в Москве, затем в областном центре, потом в управлении лагерей и, наконец, в самом лагере. При такой фильтрации письма к адресату приходят редко. Обычно зэк не получает даже уведомления о конфискации письма. В лучшем случае одно уведомление на десять "пропавших и затерявшихся".

Невыносимо знать, что каждая строчка твоей любви и тоски будет прощупана чужими глазами. Совсем пропадает желание писать. Начальник обычно прочитывает письма, потом вызывает к себе заключенных и ведет с ними беседу о прочитанном. Ясно, никому не хочется обсуждать с ним свои отношения с близкими людьми. Таким образом, закон разрешил переписку и он же ее отобрал.

Человек, не вникший в лицемерие закона, строчит жалобы, ходит на прием к начальству, объявляет голодовки и забастовки, а толку мало. Это почти ежедневная борьба. Она изматывает нервы... Как вырвать из их рук папины письма или открытки из Израиля? Нельзя допустить, чтобы из сотен писем, отправленных тебе учениками еврейских школ в Англии, ты не получил ни одного! Нельзя уступить им письмо, касающееся веры!..

Боря Пэнсон сказал как-то одному важному чиновнику МВД:

- Зачем вы играете с нами, говоря, что нам писем не шлют? Скажите лучше, что вы их похищаете!

- Ну и что! Можете передать об этом даже на Запад! Писем не выдавали и выдавать не будем!

Конечно, они не предполагали, что Боря действительно сообщит на Запад всю историю с письмами, включая и эту беседу с высокопоставленным лицом.

Перед отъездом в Израиль мать Бори получила свидание с ним, и он ей все рассказал.

Иногда казалось, что лучше бы они запретили переписку вообще либо выдавали одно письмо в год. Может, было бы легче! А так... Каждое не дошедшее до тебя письмо - это настолько изощренная пытка, что порой нет сил ее вынести*. Можно, конечно, не обращать ни на что внимания, не принимать игры всерьез. Пришло письмо - хорошо; не пришло - ну и ладно! Однако ведь это - калечить свою душу, запретив ей надеяться, любить, ненавидеть и ждать! В разлуке и страданиях только вера давала мне силы выдержать. Постепенно, с годами во мне крепло чувство принадлежности к моему народу, неразрывной связи с ним и с землей Израиля...

А пока шел только первый год моего заключения, и я еще не научился выдержке.

"Трахтенберг, к цензору!" - и Элизер бежит в штаб. Он особенно уязвим, когда дело касается писем. Незадолго до ареста женился. Лишь через год стали прибывать письма от его жены Тани. Причем на каждое выданное приходилось одно невыданное.

- Распишитесь! Письмо от вашей жены конфисковано, так как содержит сведения, не подлежащие разглашению.

- Что же она могла написать? Сообщала мне военную тайну? Или план захвата израильскими парашютистами нашего лагеря?

- Можете жаловаться прокурору!

- Если не хотите сообщить мне причину конфискации письма жены, то напишите хотя бы ей. А то она и дальше так будет писать, не зная, о чем можно, а о чем - нельзя.

- Мы никому не обязаны давать объяснения. Пусть пишет человеческим языком и только о себе.

- Но ведь она не арестована. Как можно требовать от нее соблюдения тюремных правил?

- Если будет писать такие письма, ее арестуют.

С утра до вечера Элизер метался по бараку, курил сигарету за сигаретой. Гилель даже пытался прятать от него курево, но ничего не помогало. Элизер не находил себе места. Потом отец написал ему, что Таня собирается на свидание. В день ее приезда Элизер не давал покоя проходящим офицерам:

- Приехала моя жена?

- Приехала, - ответил капитан Горкушев, - но свидания вам не дадим: не наступил положенный срок.

- Нет, наступил. Прошло четыре месяца со дня предыдущего свидания!

- А должно пройти шесть!

- Либо дайте свидание, либо верните ей триста рублей, которые она потратила на поездку из Кишинева в Мордовию!

- Вы нам не указывайте. Мы сами решим, положено свидание или нет. Пусть приедет в другой раз.

Весь этот разговор происходил на улице. Капитан Горкушев сидел на ящике из-под пива возле трактора, который под его присмотром чинил полутрезвый вольнонаемный. До службы в тюрьме капитан имел дело с моторами. К машинам его тянуло больше, чем к людям. И сейчас он всем своим видом показывал, что трактор для него намного важнее, чем "беседа" с заключенным.

Элиэзер вернулся в барак злой:

- Я объявляю голодовку в знак протеста против беззакония!

Мы пытались отговорить его. В конце концов можно потерпеть - оставался всего год до конца срока. Одновременно мы пытались воздействовать на "доброе" начальника. Ничего не вышло. И Элиэзер написал заявление о голодовке.

Я был подавлен, ведь мне опасно начинать голодовку при двенадцатилетнем сроке. Кто знает, как долго придется голодать? Но речь идет не только о личном деле Элиэзера. Это касается всех.

- Буду голодать вместе с тобой, - сказал я Эли и сел писать заявление.

К нам присоединился Хаим. Он только спросил:

- Как долго думаете голодать?

- Пока начальство не уступит или пока не возникнет опасность для жизни.

Мы перестали ходить в столовую. Надзиратель несколько раз заскакивал в барак:

- Почему не в столовой?

- Объявили голодовку.

- По какой причине?

- В заявлении написано.

- Ничего не слышал о заявлении. Не хотите - не ешьте. Можете хоть подохнуть!

Голодовка, а работать надо. Не то посадят в карцер: будет и голодно, и холодно. На четвертые сутки почувствовали себя плохо: головокружение, бросает то в жар, то в холод. Сил нет. Не вышли на работу.

Вызывает к себе капитан Тохташев:

- Почему не работаете? Начинается глупый, длинный и ненужный разговор с такой концовкой:

- Пожалейте свое здоровье, свидания все равно не дадим!

- Мы продолжаем голодовку!

К вечеру приехали сани. Нам приказали собрать вещи. Матрацы, подушки, книги - все свалили в сани. Нас привезли в большую зону - семнадцатую. Там есть штрафной изолятор - шизо. По инструкции, на четвертые сутки после голодовки заключенного сажают в отдельную камеру под замок: наблюдать, чтобы действительно ничего не ел.

У ворот зоны выбрались из саней и потащили на себе вещи. От голода тяжело идти. Ведут кружным путем, чтобы не встретить заключенных. Но мы сразу же наткнулись на Аркадия Волошина, работавшего на стройке. Учитель ульпана в Кишиневе, он и здесь приветствует нас на иврите. Повезло! Аркадий расскажет о нас остальным. Мы думаем, что перевод на режим изоляции - хороший признак. Значит, вынуждены считаться с нашей голодовкой. Есть и другой способ обращаться с голодающими - просто не замечать их. К нам применили первый.

Мы оказались в камере, в которой я сидел по прибытии в лагерь. Вот на стене стихи, которые я тогда написал. Бросаем матрацы на нары и от усталости и слабости валимся на них. Отлежались немного и принялись за занятия: я - за чтение Шолом-Алейхема на идише, Элизер - за английский, Хаим - за иврит. Принесли ужин. Мы отказались его принять. Надзиратель потребовал, чтобы миски с едой остались в камере:

- Наша обязанность предложить вам еду. А вы - хотите есть, хотите не есть. Утром заберем.

- Но ведь это издевательство! А потом еще скажете, что часть ужина мы съели!

- Есть инструкция!

Камеру открыли и поставили миски на стол. Хаим вскочил и выставил миски в коридор. Пришел офицер:

- Почему еду выливаете?

- Мы ее не вылили, а поставили в коридор!

- Нет, часть вылита на пол. Вас не научили уважать пищу. Сперва заработайте ее, а потом выливайте!

- Мы зарабатываем на еду! Это вы сами не работаете! Живете за счет труда заключенных.

Офицер с раздражением захлопнул дверь.

Так, голодая, тянем день за днем. Желудок сжался, как спущенный резиновый мяч. Губы пересохли, во рту отвратительный вкус, голова тяжелая. Но мы бодримся: учим иврит, поем израильские песни, рассуждаем о том, как будут развиваться события, связанные с нашей голодовкой. А они пока никак не развиваются. Только иногда вызывают к врачу. Измеряет давление, смотрит язык, нюхает запах изо рта. Согласно инструкции, с появлением запаха сероводорода необходимо начинать искусственное питание.

- Почему вы не жалеете себя? Подумайте о своем здоровье!

- Если вы так нас жалеете, разрешите свидания с родными - и мы прекратим голодовку!

- Я только врач. От меня это не зависит... Известно ли вам, что при голодовке прежде всего страдает печень, и это ущерб необратимый. При длительной голодовке можно потерять зрение.

Говорит она вроде бы сочувственно, но на лице удовлетворение от наших мук. Недаром ее прозвали лагерной Эльзой Кох. По специальности она зубной техник. Хороший и порядочный врач работать сюда не пойдет. Она пошла. Вставляет зубы и заодно лечит заключенных. От всех болезней. В больницу направляет неохотно и освобожденных от работы почти не выдает.

- Болит желудок.

- Покажите язык!

- Но у меня язва желудка, доктор!

- Язык - зеркало желудочно-кишечного тракта. Ничего особенного не вижу. Вы здоровы. Можете работать! Все!

- Но у меня хроническая язва. Специалисты поставили диагноз десять лет назад...

- Значит, выздоровели! Ну ладно, возьмите это!

Она дает какую-то таблетку. Разбирается ли она вообще в том, что дает? Все таблетки на вид одинаковы.

- Может, у вас есть что-то другое?

- Почему вам всегда нужно "что-то другое"? Хотите выделиться? Отсюда все ваши несчастья. Послушайте моего совета: будьте как все, и вам станет легче жить!

Возможно, сама того не сознавая, она точно определила цель и смысл лагерной обработки: обтесывать каждого противника режима до тех пор, пока он станет похож на стандартного советского человека.

Ежедневно мы все же заставляли себя совершать получасовую прогулку.

- А вы нечестно голодаете, - заявил нам надзиратель на восьмые сутки голодовки. - Другие через неделю уже и ходить не могут!

- Мы ведь евреи!

Он смотрел на нас с нескрываемым удивлением. Но сил становилось все меньше и меньше...

- Все, ребята! Больше не могу, пора кончать! - не выдержал один из нас.

- Не для того начали, чтобы так кончить. Ведь решили же - до победного конца!

- Нет, ребята, я передумал. Показали, на что мы способны, и хватит!

Мы убеждали, уговаривали: прекратить голодовку сейчас - значит нанести поражение не только самим себе, но и всем нашим. И тут, на девятые сутки - о, чудо! - мне приносит письмо. Из Израиля! Описание свадьбы моей сестры Евы. Фотографии, первые фотографии с родины. Как все изменились там! Настоящие израильтяне! А вот моя сестра с солдатом. Ну и усы! Здоровенный парень! Такой, небось, выдержал бы голодовку до конца! Ну, а мы что? Не выдержим?!

- Конечно, выдержим! Мы победим!

И действительно, наши дела как будто пошли лучше. Эли и Хаиму принесли письма из дома. Дневальный изолятора, старый литовский националист, Антанас, приложив палец к губам, прошептал:

- Ваши ребята в зоне знают о вас и пишут заявления и протесты по поводу лишения вас свиданий.

Теперь мы имеем друга. Сразу созрел план. Я говорю по-латышски, Хаим - по-литовски. Сделаем вид, что разговариваем друг с другом (надзиратели не заметят разницы!), а тем временем Хаим расскажет обо всем Антанасу. Тот передаст ребятам.

Разносят обед. Надзиратели за дверью изолятора переговариваются друг с другом:

- Что у них там сегодня?

- Жареная картошка, курица и белый хлеб! Это они специально для нас говорят. Дразнят!

- Хватит врать! - кричим мы из камеры. - Вы и сами не помните, как курица выглядит! А туда же - экам сулите! Открывайте, ставьте свою баланду!

Открывают дверь, и Антанас вносит миски с обычной тюремной пищей. Мы с Хаимом начинаем оживленно переговариваться на "латышско-литовском" языке:

- Завтра в 18.00 нас поведут в баню. Предупреди ребят.

Когда нас, шатающихся от голода и слабости, повели в баню, там уже собрались заключенные. Но охранники их близко не подпускали к нам. Все же им удалось из-за угла прокричать:

- Шалом!

В бане мы разомлели от пара, горячей воды и едва не потеряли сознание. Вдруг стук в окно. Это, обойдя охранников, к окну подкрался Аркадий Волошин:

- Если будете держать голодовку и дальше, мы все присоединимся. Поддержат и другие. Но все же лучше найти путь к компромиссу.

- Если бы мы искали компромиссов, мы бы не голодали! Что за народ! Стоит начать что-либо всерьез, тебя немедленно тянут назад!

- Ладно, ребята! Поступайте, как считаете нужным. Мы получили письмо: в прошлом году уехало более десяти тысяч.

Тут его отогнали, но мы были счастливы, что узнали новости: евреи едут в Израиль! Ребята нас поддерживают!

На двенадцатые сутки голодовки мы испытали необыкновенный душевный подъем: появились силы учиться и думать. Заговорили о вкусной еврейской пище. Я вспоминал литовские кушанья, Эли - бессарабские. Хаим запротестовал:

- Вы с ума сошли! Прекратите этот словесный пир!

- Мы вовсе не бредим едой. Просто вспоминаем еврейский дом, - защищались мы.

В этот день начальство решило приступить к искусственному кормлению. Вызывали по одному. Мы договорились не слишком сопротивляться. Все равно накормят. Известны случаи, когда сопротивляющимся ломали зубы и выкручивали руки.

- Ну, кто первый!

Я вошел. Комиссия: врач, фельдшер, офицер, старший надзиратель. Измерили пульс, давление.

- Ну, что? Может, будете есть добровольно?

- Отказываюсь!

- Тогда накормим принудительно! Окажете сопротивление - применим силу, наденем наручники. Садитесь!

С обеих сторон хватают за руки и прижимают к спинке стула. В рот впихивают толстый резиновый шланг, суют все глубже и глубже. Задыхаюсь. Текут слезы. В шланг вставляют воронку и вливают пол литра белой жидкости. С непривычки желудок растягивается. Больно. Потом шланг вынимают. Белая жидкость выплескивается обратно. Пол, сапоги надзирателей, моя одежда - все забрызгано. Но я не издаю ни звука, ни стопа. Не страшно, выдержать можно.

Возвращаюсь в камеру бодрым шагом, чтобы не испугать друзей. Советую:

- Старайтесь дышать носом.

Вызвали Элизера и Хаима. Измучились, но выдержали. Если придется, опять готовы подвергнуться этой мучительной процедуре. Утром принимаемся за свои обычные занятия. Потом завязывается разговор о судьбе, о предначертании. Могли ли мы представить себе еще год назад, что вот так, голодающие, будем лежать в камере и отстаивать свои человеческие права? И вдруг:

- Трахтенберг! К начальству!

Что-то будет! Ждали с нетерпением. Наконец Эли возвратился, сел, не спеша достал американскую сигарету, закурил и начал:

- Расскажу все по порядку. Вызывали к Горкушеву. По нашему делу прибыл замминистра внутренних дел Мордовии. Пригласили представителей евреев - меня и Лассалья Каминского. Замминистра выслушал нас и наше начальство, но ответ у него, видимо, был готов заранее: "Начальник поступил правильно, не дав вам свидания. Однако в следующем месяце ваша жена может приехать. Чтобы впредь такой путаницы не было, приказываю капитану Горкушеву вывешивать списки тех, кому положено свидание. А вам, Трахтенберг, советую прекратить голодовку!"

Компромиссный вариант, по существу, означал нашу победу. С какой стати такая важная персона приехала бы сюда?!

- Ну что, будем снимать голодовку? Большого вряд ли добьемся!

- Что ж, можно кончать! Только не торопись: пусть не думают, что мы кидаемся на любое их предложение. К голоду мы уже привыкли. Сможем подождать до утра. А они пусть поволнуются. Может и письма выдадут!

Вечером мы получили письма из дома. Видно, когда надо нас задобрить, почта лучше работает.

Утром мы сняли голодовку. Поставили условие: несколько нерабочих дней и усиленное питание. Нас вывели во двор. Солнце заливало светом белый чистый снег. И на душе у нас было светло. У выхода из лагеря нас уже ждали все наши друзья. Победителей не судят и не наказывают. Ребятам не мешали прощаться с нами. Здесь был Аарон Шпильберг, Лассаль Каминский, Лев Коренблит, Аркадий Волошин и совсем незнакомые ээки. Каждый чего-то желал нам на прощанье. К этому времени в семнадцатой зоне уже сложилась сильная еврейская группа со своей жизнью, своими правилами и своими взаимоотношениями. Каждый вел себя по-разному. Аарон и Лассаль проявляли лояльность к закону и даже посещали политзанятия. Однако если администрация нарушала законы, они протестовали и рассылали жалобы во все инстанции. Я не мог понять эту демонстрацию лояльности и предпочитал действовать открыто, не выказывая интереса к соблюдению советской законности.

В семнадцатой зоне еврейские праздники устраивали в присутствии всех заключенных. Аркадий Волошин и мой старый сокамерник Леша Софронов исполняли на гитаре еврейские песни. Леша близко сошелся с евреями, даже учил иврит и принимал живое участие во всем, что касалось евреев. Другой русский, тоже "примкнувший" к евреям, - приятель Волошина, Дмитрий Чуховской. Он сидел за создание в Крыму организации, боровшейся за права рабочих. У Дмитрия в лагере были хорошие отношения со всеми ээками. Это по его предложению еврейская группа постановила не считать евреем Макаренко, а ведь тот был евреем и со стороны матери, и со стороны отца. Личность весьма многоплановая, он завяз в сложных отношениях с администрацией, и поэтому ни одна группа его уже не принимала к себе. Но он все же ухитрился находить себе место.

Среди евреев особняком стоял Иегуда Леви, израильский гражданин. Дойдя в рядах советских войск до Берлина, он с группой бывших узников концлагерей добрался до Палестины. Служил в Хагане, участвовал в Войне за независимость и в Синайской

кампании. Обзавелся семьей, в Тель-Авиве открыл магазин. Но забыл, откуда бежал. В 1962 году он приехал в Херсон навестить брата. Вышел за сигаретами и... оказался в тюрьме. Дали десятку за дезертирство из советской армии. Даже заступничество Голды Меир не помогло. Он отсидел весь свой срок, что называется, "от звонка до звонка". Сперва содержался в лагере для иностранцев, где условия были лучше, чем в других лагерях, потом перевели в семнадцатую зону. Здесь к тому времени уже находились осужденные по ленинградскому, рижскому и кишиневскому процессам. Отношения с нами у него не сложились. Странно и неприятно видеть, как ведет себя бывший боец Хаганы. Казалось, что для него самое важное - не сталкиваться с начальством, не сердить его.

- Иегуда, почему ты пьешь чай с нарядчиком Карпом? Он же негодяй!

- Знаешь, есть восточная пословица: "Брось собаке кость, она не будет на тебя лаять".

Иегуда гордился своей страной. Много рассказывал об Израиле. Читал вслух письма, которые получал из Тель-Авива. Но гордость родиной не мешала ему унижаться на чужбине, в лагере. Его поведение огорчало всех молодых евреев - не таким хотелось видеть гражданина нашей страны. Видно, храбрость в открытом бою еще не говорит о мужестве в заточении. С ним не дружили. Даже иврит учили не у него, а у Льва Коренблита. И на праздники его не приглашали.

Много трудностей, помимо обычных, было и у Абрама Якобсона. Его типично еврейская внешность и манера говорить раздражали капитана Горкушева. К тому же капитан однажды застукал Абрама, когда тот выносил со свидания сто рублей и укрылся в канаве, чтобы там запрятать деньги в тюбик зубной пасты.

- Якобсон, стойте! - заорал Горкушев.

Абрам не послушался и побежал. Толстый капитан - за ним. Забежав за кучу кирпичей, Абрам бросил там деньги и побежал дальше, но надзиратели его поймали. Сотню нашли. Он получил десять суток карцера. С тех пор Горкушев не упускал возможности поиздеваться над Абрамом. Работая на фабрике, он не мог справиться с нормой, так как шил старательно, без брака. Я же гнал план, ничуть не заботясь о качестве. Невыполнение нормы - серьезное нарушение режима, и Абрам не вылезал из "нарушителей". Его постоянно наказывали. В конце концов евреи вмешались и потребовали, чтобы Горкушев перестал придираться к нему. Все любили Якобсона за трудолюбие, общительность, знание ближневосточных проблем.

...И вот теперь евреи семнадцатой зоны прощались с нами.

В свою зону мы вернулись с победой. Галансков, правда, придерживался другого мнения: результат ведь ничтожный. Диссиденты вообще не считали нас самостоятельной группой. В демократическом движении участвовало много евреев, целиком поглощенных интересами России и русской культурой. Мы же, сионисты, по их понятиям, были людьми с узким кругозором. Отвергая советскую пропаганду в целом, они почему-то принимали лишь то, что касалось евреев и Израиля. Они верили, что Израиль "порабощает арабов", а некоторые даже повторяли

антисемитские бредни о "всемирном еврейском заговоре". На евреев, участников правозащитного движения, многие смотрели как на людей, искупающих страдания, причиненные ими другим народам.

- Что, убегаете в Израиль? А кто ответит за то, что вы устроили в России коммунистическую революцию? - нередко можно было услышать в лагере.

Известно стремление ассимилированных евреев вызвать к себе расположение ассимилирующего народа. Поэтому в глазах "настоящих" русских демократов мы "хорошими" не были. И если нам предлагали сотрудничество, то только потому, что нуждались в нашей помощи. Я избегал общения с ними. Были среди диссидентов и еврей-демократы, испытывавшие симпатии к еврейскому народу и к еврейскому движению. Но мне казалось, что нельзя быть наполовину русским, наполовину евреем. Принадлежность к еврейству требует полной отдачи. Они были чужды мне, а я - им.

Вскоре разногласия проявились в день рождения диссидента Витольда Абанькина. Устраивали вечернее чаепитие. Пригласили и нас. Только собрались, пришел надзиратель:

- Разойдись!

Не разошлись. Пришел Горкушев, и страсти разгорелись.

- Я с тобой еще рассчитаюсь! - крикнул Абанькин в пылу спора.

- А, ты мне угрожаешь?! - завопил капитан, и Абанькина уpekли в карцер.

Надзиратели ушли, и кто-то предложил:

- Объявим голодовку протеста! Евреи! Поддержите нас?

- Подождем развития событий, - ответили мы, хорошо помня, что ни один из них во время нашей голодовки и пальцем не шевельнул, чтобы нам помочь.

Теперь они не на шутку обиделись. Объявили голодовку. На четвертый день их изолировали, перевели в большую зону. Там они одумались: стоило ли вообще голодать по такому непринципиальному делу? Чтобы поддержать заколебавшихся товарищей, Алексеев, борец "за чистоту коммунизма", стал заверять, что через несколько дней к ним присоединится большая группа заключенных. Когда обман раскрылся, голодающие затарабанили в дверь: "Несите еду! Дайте поесть!"

Начальство довольно: такие голодовки отучат протестовать. А чтобы остальным было неповадно, собрали заключенных и зачитали приказ: "За организацию голодовки Иванова, Алексеева и Галанскова посадить во внутреннюю тюрьму сроком на шесть месяцев". Алексеев немедленно написал протест: "Требую отменить наказание Галанскову, так как он болен. По нормам Красного Креста больным заключенным положена медицинская помощь. Больные, которые по состоянию здоровья не могут переносить трудностей лагерной жизни, должны быть освобождены. Требую освобождения всех политзаключенных!"

Этот сумбурный протест со всеми возможными и невозможными требованиями никто, конечно, не стал рассматривать. Мы были правы, отказавшись участвовать в голодовке.

Наша цель - возвращение в Сион. Путь к этой цели был долог. И впереди - немало окольных дорог...

На исходе субботы, в июле 1972 года, нас выстроили на поверку. Зачитали список и приказали собираться с вещами. В списке оказались мы с Хаимом, а Гилеля Шура с Элизером Трахтенбергом не было - им оставалось сидеть меньше года, и, вероятно, поэтому их не трогали. Уже давно в лагере носились слухи о предстоящем большом этапе. Трудно сказать, кому и зачем понадобилось подобное перемещение. Однако можно предположить, что условия жизни в советских лагерях приобрели печальную известность на Западе - сказалась работа хорошо налаженных каналов информации. Чтобы перекрыть эти каналы, шестьсот заключенных перевозили в глубь России. Но куда? Говорили, на Урал.

Начались сборы. Убогое арестантское имущество, а расстаться с ним жаль! Что если на новом месте и того не будет?! И куда спрятать деньги? После каждого свидания мы проносили их в зону, но пользоваться не могли - с евреями надзиратели не торговали. Часть денег закатали в полиэтиленовую пленку и сунули в банку меда, которую Гилель получил в посылке. Часть заложили между страницами книг... С деньгами обошлось. А вот учебник иврита "Мори" забрали.

- Не выйдем из зоны, пока не отдадите книгу!

- Она на непонятном языке. Нужно ее проверить!

- Это антисемитизм! Вы же видите - просто учебник!

Явился начальник отдела транспортировки и заверил, что книгу после проверки вернут.

Поразительно, но он не обманул: через некоторое время нам действительно возвратили учебник иврита, изданный в Израиле! Единственный раз за все годы долгого заключения. Вот что означало тогда, в 1972 году, международное еврейское движение.

Наконец собрались. Гилель и Элизер отдали нам свои лучшие вещи. Присели перед дорогой. Когда еще встретимся? Нас посадили в открытые грузовики. У бортов машины автоматчики. Довезли до железной дороги. Там состав, охраняемый солдатами. Приказали спрыгнуть с машин и цепочкой бежать к вагону, у дверей которого интендант выдавал каждому сверток: два килограмма хлеба и две банки консервов - сухой паек. Значит, этап предстоит долгий. Но не дольше, чем жизнь. Чего бояться? Все будет так, как угодно Б-гу. Легкий багаж можно взять с собой. Кто понесет за нами тяжелый?

Операция "СВАДЬБА"

Глава четвертая: ЭТАПОМ В СТУДЕННЫЙ ЕГИПЕТ

По правилам политических заключенных положено этапировать отдельно от уголовных, в условиях более или менее сносных, но нас всех везут вместе.

В камеры вагонзака вместо девяти человек загоняют по восемнадцати. Мы с Хаимом оказались в одной из них. Окна закрыты, дышать нечем, накурено. Сели у дверей - все больше воздуха. И сразу окрик:

- Евреи уже устроились! А ну, уступи место! Дай тоже подышать!

Разделись до пояса, до грязных маек. Запах пота и махорки. Сидим молча, и вдруг Хаим вскакивает:

- Откройте окна! Задыхаемся!

Весь вагон подхватывает его вопль:

- Кончайте издеваться! Вы что, задушить нас вздумали!

Солдаты засунули палки в щели окон, чтобы хоть немного поступал свежий воздух.

Наконец поезд тронулся. Стало легче. Повели в туалет - на стоянках запрещено им пользоваться. А то уж совсем невтерпеж: как только погрузились в поезд, арестанты набросились на еду, которую выдали на два дня. Животы разболелись, а в туалет нельзя. И вот только теперь повели. Дверь оставляют открытой. Наблюдают, как оправляется заключенный. Хаим опять возмутился:

- Позовите полковника! Мы что - гомосексуалисты?

Полковник не показывается. Приближается наша очередь. Хаим поднял такой шум, что явился удивленный полковник.

- Вы что, издеваетесь над нами? - не унимался Хаим. - Думаете, у нас стыда нет?

Полковнику сама мысль о стыде, казалось, не приходила в голову. Он с интересом посмотрел на арестанта.

- За что сидите?

- Я - еврей.

- Понятно, - многозначительно протянул начальник и приказал специально для нас закрывать дверь в туалет, пригрозив при этом наказанием в лагере.

Поезд приближался к небольшой станции. В кустах у перрона группа парней и девушек играла в карты и пила водку. Девочка несла из ларька большую буханку хлеба. Женщина тащила пьяного из привокзального буфета. Наверно, муж. Тот материл ее вовсю. Воскресенье. Выходной. Серый пыльный день. Вот что мне предлагают взамен святой субботы... Неужели эти пьяные распущенные люди меньше меня нуждаются в "исправлении" и "перевоспитании"? Моих попутчиков такие мысли не волновали.

- Эх, сейчас бы бутылку водки!

- Смотри, смотри, как она ему врезала! Во дает! Ну и баба!

А как в Израиле? Неужели и там увижу подобную серую картину? Молодых людей, бессмысленно убивающих время, грязный запущенный квартал? И я тоже все это отвергну, как отвергаю сейчас? Нет, дело не в том, что здесь грязно и скучно, а там, куда я стремлюсь, - чисто и весело. Даже не зная Израиля, я не воображал, что он внешне резко отличается от других стран мира: города, мол, не те, деревни - не те, и даже грязь какая-то иная. Нет, каким бы он ни был, он - мой. Эту простую истину я не из книг вычитал. Она давно сидела во мне. Она - от Б-га.

Мы продвигались в глубь России. На третьи сутки рано утром я освободил верхние нары для очередной смены. Прильнув к решеткам двери, старался глотнуть свежий воздух. Вдруг глаза мои уперлись в вереницы оранжевых контейнеров на соседних путях. На них черной краской выведено "Made in USA" и название фирмы-поставщика. Имя, как будто, еврейское. Вот американские евреи торгуют с Россией, а "русских" евреев в это время везут в концлагерь, на Урал. Интересно получается: еврей в Америке озабочен доставкой товара. Он вполне приличный, уважаемый человек, у него хорошие жена и дети, и от того, что он не поможет какому-то Йосефу Менделевичу, он не лишится уважения ни фирмы, ни родных. Действительно, разве можно помочь всем и всех утешить?! Тогда зачем об этом думать?

Но вот и конечная станция. Надзиратели, конвой, охранники засуетились:

- А ну, живо собирайся! Живо! Торопись!

Заключенные, после четырех суток в душных вагонах, кинулись к своему "скарбу". В тесноте камеры натыкались друг на друга, поспешно хватая свои нехитрые вещи, отбрасывая мешавшие или прихватывая с собой чужие. Под дулами автоматов выпрыгиваем из вагонов. Нас погружают в открытые грузовики. Приказывают сесть на настил. У бортов автоматчики с собаками. Раннее утро. Холодный как лед воздух и рой комаров. С интересом смотрим по сторонам - давно не видели открытого пространства и леса. Удивительно создан человек: везут неизвестно куда, никто не знает, что с нами будет, и сами мы как животные в клетке, в загоне, - и все-таки:

- Смотри, смотри, ворона летит! Ой, какая черная!

- Гляди, гляди, елки-то какие!

- Гляди, горы, горы настоящие! Из камня!

Наш этап постарались оформить с пышностью похоронной процессии. Впереди грузовиков "с опасным грузом" - две милицейские машины с белыми и красными полосами, по бокам - мотоциклисты в белых шлемах и белых ремнях. На перекрестках - регулировщики. Ни одного человека на улицах города с семидесятитысячным населением. Вероятно, запретили выходить.

Машины шли не быстро, и мы смогли рассмотреть этот словно вымерший город. Дома напоминали мышиные норы в свалке мусора. В центре, на десятиметровой колонне, возвышался каменный идол - Ленин. Город пересекала река. На одном ее берегу - серые каменные дома; на другом - деревянные, почерневшие от времени и копоты, и кое-где - кирпичные. Проехали мимо базара - без продуктов и покупателей. Миновали и какие-то маленькие заводики с громкими названиями "Заря коммунизма", "Свет Ильича". При выезде из города я заметил, как в окошке чистого домика колыхнулась занавеска.

Наконец въехали в лес, через который проходила немощеная дорога. Начало швырять из стороны в сторону и трясти. Конца пути не видно. Когда же приедем на место? Полдня не оправлялись. Начался ропот, беспокойство. Начальник колонны приказал остановиться. Офицеры подошли к машинам:

- Оправляться в лесу не разрешается - не хватает солдат для охраны. Можете мочиться прямо с бортов машины.

Приказ был настолько нелепым, что заключенные не двинулись с места.

- Вы что нас за людей не считаете? Дайте сойти вниз!

Но офицеры не шутили и ничего зазорного не видели в своем приказе. Тогда наиболее слабовольные стали мочиться прямо с бортов. Я, как всегда, пострадал больше других: сидел с края, и процедура совершалась над моей головой. Солдаты держали автоматы наготове. Но все кончилось благополучно, и машины помчались дальше. По дороге попадались грязные деревни с полуразрушенными церквями. Трудно определить, в какой год мы въезжали: в 1972 или в 1952.

Так прошло еще около часа, мы все углублялись в лес. На подъеме дороги увидели длинный серый забор, а за ним ряд грязно-белых строений. Лагерь. Рядом с ним убогая деревня с некрашеными бревенчатыми домами. Казалось, в этом месте уже лет двадцать не живут и его "расконсервировали" специально для нас. Лагерь ВС 389/36 расположен в сорока километрах от города Чусовой, у поселка Кучино, на реке Чусовая, на болоте.

До нас в лагере содержалось пятьсот бывших работников карательного аппарата: милиционеры, следователи, прокуроры, судьи. Это был специальный лагерь для тех, с кем в местах общего заключения уголовники обычно жестоко расправляются.

Итак, 17 июля 1972 года двести тридцать человек, в том числе и я, оказались в этой зоне. Здесь я пробыл до конца срока, с трехлетним тюремным перерывом, и 18 февраля 1981 года прямо с завода, через дом охраны - на волю. Но все это впереди. А пока машины по одной въезжали в ворота лагеря и после осмотра - в зону.

Страшные годы, проведенные здесь, сформировали меня. Кто знает, каким был бы я, если бы приехал в Израиль, не пройдя через все эти испытания? Мне не понять замысла Б-га, Который испытывал меня в рабстве одиннадцать лет. Я предпочел бы приехать в Израиль юношей и учиться в ешиве, а не тратить время на горькую тюремную науку. Горькую даже не столько от тягот лагерного режима, сколько от каждодневных мелочей, на которые ты невольно размениваешься, находясь в этой клетке. Душа заперта в тесном мире режимных правил, и ты натыкаешься на них каждый раз, когда хочешь быть самим собой. А необходимость как-то уживаться с тюремными порядками отбирает много душевных сил. Что я вынес из лагерной жизни? Умение ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях, разбираться в людях, понимать самого себя. Впрочем, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Но было там нечто, не поддающееся определению, истинное, идущее от Б-га.

Мои тюремные и лагерные уроки - это познание и неудовлетворенность. Поиск и открытие истины. И снова поиск, ибо истина беспредельна. Почему это происходило именно в тюрьме? Потому что там давление на человека доведено до предела и все обнажено. Познание в лагере - истинное. Оно запечатлевается в мозгу, в сердце, в клетках тела. Это процесс таинственный и не поддающийся объяснению. И поэтому не следует искать в моем рассказе описаний тюремной жизни, о которой много писалось и до меня. Я хочу передать самое сокровенное: путь к познанию абсолютной истины и стремление к совершенству, к тому, что присуще одному лишь Б-гу...

Из состояния задумчивости меня выводит сержант. Большими ручищами он отвинчивает крышку баночки с медом, в которой спрятаны деньги. Сует туда свой красный нос:

- Что это?

- Мед.

Ну, кажется, пронесло. Отдает банку. Берет книгу и трясет ее, повернув корешком вверх: ничего не выпадает. Обыск окончен. Свалены в кучу вещи, отобранные у нас в Мордовии и привезенные сюда в специальном вагоне. Там мои хорошие сапоги, теплый свитер и кипа. Боком продвигаюсь к своему мешку и, воспользовавшись моментом, когда красномордый отвернулся, вытаскиваю оттуда свою кипу.

"Операция" прошла успешно. Наконец разрешают войти в жилую зону. Сегодня в лагере праздник - прибыла новая партия. Начальники бодры и веселы. Точно у них первое мая. Стоят и рассматривают новоприбывших; как покупатели живого товара. Да еще и замечания отпускают:

- Бороды?! Не положено!

- Вы что, верующие? Ну и распустили вас в Мордовии! Ничего, мы вас тут возьмем в руки!

Намерения начальства меня давно уже не пугали. Их усердия надолго не хватит.

Веселый, словно напившийся свежей крови, капитан Журавков командует:

- Стройся! Шагом марш в баню!

Топаем в баню. Там все-таки теплая вода. Хорошо после дороги. Сразу же начинаются встречи. Вот подошел Ури. Михаэль уже помылся. Знакомлюсь с Шабтаем, он "проходил" по кишиневскому процессу и осужден на пять лет строгого режима. Итак, в зоне собирается еврейская компания.

- Всем бриться. Бороды носить не положено, - прерывает наши разговоры Журавков, единственный одетый среди голых.

- Менделевич, вам сколько осталось сидеть?

- Десять лет!

- Вот видите! Стоит ли рисковать! Побрейтесь - лучше будет!

Я его не слушаю. Выходим с ребятами из бани, договариваемся о встрече. Ашер Фролов сварит чай.

Удивительно, как студент университета может перевоплотиться в такого типичного арестанта. Высокий, одетый во что-то серое, рыжебородый, со сползающими на нос очками. Разводит огонь, пристраивает котелок на два литра воды. Наш костер не единственный. Многие зэки кипятят воду для чая. Как серые мыши, все копошатся в мусоре, собирая палочки и прутики, и бросают в огонь.

Мы располагаемся между бараком и столовой. Шабтай, Михаэль, Марк, Ашер, Ури, Гриша, Хаим и я. Все принесли фотографии и открытки, полученные из Израиля. Это помогает нам знакомиться друг с другом. Больше всего открыток у Шабтая. Он хорошо знает историю и географию нашей страны. Когда он о ней рассказывает, кажется, что он сам уже побывал там.

Мы познавали Израиль из открыток, писем, книг, из сердца. Может быть, поэтому, когда приехали сюда, чувствовали себя так, будто вернулись домой после долгой разлуки.

Однако несмотря на радость встречи, не покидала тревога. Смогу ли тут, как раньше, не работать по субботам? И какая будет работа? Может, тяжелая, после которой останется только в изнеможении свалиться на нары?

Всех прибывших зэков по очереди вызывали к начальнику лагеря Котову, его заместителю по режиму Федорову и заместителю по идеологическому воспитанию Журавкову, первое столкновение с которым произошло у нас уже в бане. Здесь, как и на прежнем месте, роли были заранее распределены: "хорошим" считался Журавков, а "злодеем" - Федоров. Над ними - Котов. Он олицетворял новое явление в советской

тюрьме. Во главе лагеря стоял не мрачный кровопийца сталинской эпохи и не старый чинуша, а относительно образованный и относительно молодой человек, которому важно показать, что ему, Котову, эта ответственная должность доверена за личные качества. В беседах с зэками он любил подчеркивать свое превосходство над ними. Он, безусловно, был порождением советской системы и открыто это декларировал.

Натура другого начальника была иная. Она требовала игры, инициативы, создания взрывных ситуаций, дававших возможность манипулировать людьми. Играть, менять роли и маски - есть ли большее наслаждение?

- Что это на вас одежда плохонькая и ботинки совсем прохудились? Надо починить! Кто из начальства мог так спросить? Журавков? Котов? Нет! Это "злодей" Федоров. Круглое лицо, светлые волосы, курносый нос, которым он постоянно втягивает воздух, словно вынюхивая что-то. Глазки маленькие, постоянно красные. Кудирка прозвал его морской свинкой. Но то существо добродушное, не в пример Федорову. В лагере № 35, где раньше находилась женская колония, политические обнаружили надписи на стенах: "Смерть Федорову!" Значит, помучил он их, пока не добрался до нас! Он был тюремщиком по призванию. Он настолько проник в психику заключенного, что всегда безошибочно знал, чего тот не хочет, чего боится, что пытается скрыть, и бил именно в эти уязвимые места. Он изучал и поедал зэка глазами и следил за каждым его шагом. Словом, это был сам злой дух в человеческом облике. У зэков Федоров вызывал чисто физическое отвращение, хотя, в отличие от других тюремщиков, он всегда был аккуратно и чисто одет. Его "дружеское" обращение с заключенными было одним из рабочих приемов.

- Ну что вы все жалуетесь, Менделевич? Мы вас мучаем?! Это антисоветская клевета! У вас есть все: трехразовое питание, вы можете брать книги из библиотеки, а вы всем недовольны. А ну, живо ступайте на свое место и работайте! Лентяй! Вы совсем не хотите исправляться!

- Да я не лентяй вовсе! Я с шестнадцати лет на завод пошел. Меня нечего приучать к труду. Я умею работать. А мой отказ - это протест против ваших издевательств!

- Вот за это я вас накажу!

Труд перевоспитывает человека. Это основной принцип советской идеологии. Весь мир делится на тех, кто трудится и является "лучшей частью человечества", и на тех, кто работать не желает, а только эксплуатирует рабочих. Уголовные преступники честно трудиться не хотят. Чтобы сделать их "достоинными" членами советского общества, их надо научить работать. На этом построена система "исправления" преступника. Лагерь, оказывается, нет, а есть воспитательные учреждения - исправительно-трудовые колонии. Наказаний тоже нет, есть исправление - на благо самих же заключенных. И надзирателей нет, есть воспитатели. Политических заключенных в СССР быть не может. Лиц, не согласных с коммунистической идеологией, относят к категории уголовников. Значит, нет разницы между вором и автором антикоммунистического сочинения. Все от нежелания честно трудиться. Поэтому и вора, и ученого "воспитывают" трудом "на благо социалистического общества".

Нередко Федоров делал мне внушение:

- Менделевич, почему не явились вовремя на вызов начальника? Уклоняетесь от работы? Все обязаны трудиться! Если никто не будет работать, умрете с голоду!

Что стоит за этими нравами? Неужели он действительно считает, что я лентяй и меня надо научить работать? Или, понимая, что унижает меня, наслаждается этим? Потому так радостно блестят его красные глазки. Приятно ему, крестьянскому сыну, почувствовать власть над этим очкастым евреем, о котором передают западные радиостанции.

Когда Федорову исполнилось семнадцать, он пошел в армию. Шла война, но ему повезло - послали в училище внутренних войск. Число лагерей в России росло. Там гибли люди как в Маутхаузене или Дахау. Для советских лагерей требовались охранники. Что мог знать парень, выросший в глухой уральской деревне? Только то, чему его учили. Малообразованность в сочетании с бездумной исполнительностью дали превосходные плоды: в двадцать лет Федоров мог штыком выколоть глаза своей жертве и издеваться над пойманным беглецом. К сорока пяти годам он из верного служаки-исполнителя превратился в изощренного садиста.

Не знаю, кто планировал эту дьявольскую систему "исправительных" учреждений и лагерной "психотерапии" с ее специалистами. Может, система выросла сама по себе, как умеет расти только злой сорняк - густо и глубоко. Но несомненно одно: на этой почве процветали Федоров, Котов и им подобный чертополох...

- Менделевич, почему от работы отваливаете? - очередной окрик начальства.

- Я от работы не отказываюсь. В Мордовии перевыполнял норму и здесь надеюсь тоже!

Моим ответом явно недовольны. Меня привезли сюда перевоспитывать, а, выходит, перевоспитывать не надо - я и так буду работать. Но я не покорился. Значит, нужно найти, к чему бы придраться.

- Почему бороды не бреете?

- Я и в Мордовии не брил.

- Не положено! Сбрейте, иначе - карцер!

- Моя вера запрещает брить бороду. Еврей бороды не бреет.

- На воле будете делать все, что захотите. Вы не в своем Израиле. Здесь выполняйте, что положено.

Тут Котову показалось, что он нашел путь к "перевоспитанию".

- Вы что, верующий?

- Да!

- Ну, ладно! В порядке исключения разрешаю носить бороду. Но если нарушите правила внутреннего распорядка, сбреем.

Его план прост: ради сохранения бороды я стану послушным рабом, а потом и бриться заставят. Ведь при виде бороды другие обязательно спросят: "Почему евреям можно, а нам нельзя? Ясно! Котов сам еврей!" Я окажусь в одиночестве, среди врагов. Никто не поможет мне в трудную минуту. К кому же мне идти за помощью? К Котову, к советской власти? Не знаю, так ли рассуждал Котов. Могу лишь сказать, что в тот момент в моей голове не прокручивались все эти варианты расчетов. Однако я твердо знал: рабом начальства не стану. И чего бы мне ни стоило, выполнять мицвот буду. На Урал я ехал с уже вполне созревшим планом поведения в субботу. Мне надоела неопределенность, а тут еще Котов сказал: "Если верующий, то..."

- Еще хочу добавить, что по субботам не работаю. В Мордовии отработывал в другие дни.

Это не совсем ложь: ведь Горкушев знал, что я не работаю. Если не мешал, то не по собственной доброте, а согласовав с начальством.

Федоров наострил уши: не даст ли Котов знак укусить? Нет, не дал. Улыбнулся:

- Ну что ж, если будете хорошо работать...

Ох, эта улыбка советских тюремщиков перед тем, как съесть тебя живьем!

Но я ушел довольный. Ребята меня уже ждали, и мы отправились ужинать. Столовая большая. Длинный стол, за которым разместится человек сорок. Около каждого зэка - кусок рыбы. Посередине столовой - бак, на этот раз с гороховой похлебкой. Ее разливает бригадир. Так из нас, исправно идущих на работу и мечтающих о тарелке горячего варева, хотят сделать рабов.

Возвращаясь с ужина, встречаю довольного Гришу:

- Я им сказал, что тоже верующий, чтобы не брить бороды.

- Но ведь это неправда.

- Подумаешь! Что я им должен правду говорить?

- Нет, не должен. Но ты можешь повредить другим, если узнают, что ты наврал!

- А, обойдется!

Опасения оправдались. На следующий день мне и Хаиму приказали сбрить бороды.

- Но нам начальник разрешил!

- Он и отменил разрешение! Вы его обманули!

- Нет, мы не обманывали!

- Ну, кто-то из ваших! Не хватало еще начальнику разбираться!

Проблема с бородой волновала не только евреев. Еще человек двадцать воспротивились приказу. Назревала голодовка. К нам уже обратились с предложением принять в ней участие. Нужно было решать.

Наш перевод в новую зону был неожиданным, и здесь для нас еще не подготовили рабочих мест. Мы, восемь евреев, думали о том, как тут жить. Однажды вечером собрались в недостроенном административном здании. Зона освещена внутри несколькими фонарями. Вдоль забора через каждые пять метров горели электрические лампы, придавая лагерю вид освещенной сцены, на которой, в глубине, расположилась небольшая группа актеров. Нет, это не актеры. Это мы. Обсуждается вопрос о создании подпольной еврейской организации. Вслух никто не произносит этого слова, но всем понятно, о чем идет речь. И еще: как быть с голодовкой? Присоединиться к ней или нет? Организаторы доверия к себе не вызывают. Мы помнили о голодовке в Мордовии и о ее провале. Посмотрим, что получится теперь.

Котов и Федоров были опытными тюремщиками. Первая их реакция:

- Никаких голодовок не признаем!

Когда на шестые сутки голодающие не смогли уже выйти на работу и остались лежать в бараке, пришли надзиратели и стащили их с нар.

- А ну, лентяи, зарабатывайте себе на хлеб! Мы и мертвых заставим трудиться, а не то что голодающих. Вы и голодаете, потому что лентяи, не хотите работать!

- Нет, в знак протеста против бритья бороды!

- А, за это - пятнадцать суток карцера!

Потащили в карцер. На этом все и кончилось. Не дождалось переломного момента и не воспользовались им. Если бы продолжали держать голодовку, кто знает, как повело бы себя начальство. Но они сдались. Это особый дар - уловить момент, когда надо продержаться, чтобы победить. Не уловили - проиграли. А грань - тонкая. Неудачи происходили оттого, что не хватало выдержки. Первым сдался Чесноков. Вышел, стыдливо пряча оголенное лицо. Побрились и остальные. Голодовку сняли. Нам ли не радоваться, что не пошли с ними, вовремя раскусили их слабость. А мы не рады. В лагере часто срываются общие планы. Кто-то подает мысль, и зэки начинают "протестовать". Не будучи уверен в своей правоте, каждый оглядывается на соседа. Хватает сил доехать лишь до первой остановки. Ведь дело затевается не из уверенности, что именно так надо, не из трезвого расчета, а на авось. Все это сопровождается позой, громкими словами о правде, справедливости, чести. Но на первой же остановке до тебя вдруг доходит, что собрались случайные люди и нужно спасать их от позора. Проигрываешь. В следующий раз, когда услышишь слова о чести и достоинстве, ты спрашиваешь:

- Пойдите, а вы учли это? А вот это? Готовы на длительную борьбу?

А тебе в ответ:

- Брось ты свои еврейские расчеты! Опустив глаза, отвечаешь:

- Нет уж, я должен сегодня учить иврит, у меня нет времени!

И уходишь, а тебе вдогонку:

- Трус! Предатель! Сами справимся!

И вот "справляются". Но ведь их поражение - отчасти и наше. Теперь, если придется начать общую голодовку, трудно будет поднять людей, а еще труднее доказать лагерному начальству, чтобы на этот раз не ждали легких побед. Что же делать? Проиграли - надо расплачиваться!

Вызывают всех по очереди.

- Менделевич, бриться!

- Не буду!

На меня кидаются охранники, хватают за руки, надевают наручники. Прижав к стулу, сбривают волосы вместе с кожей. Насилие? Но исключительно для соблюдения чистоты и гигиены. Сбрита моя редкая бородка, падает и краса Хаима - густая рыжая борода. Выхожу. Стыдно и обидно до слез. Лицу холодно. Щупаю подбородок - голый, и я словно раздетый. Подходят зэки, молча смотрят на меня, и у них нет слов утешения. Дни проходят как в трауре, делать ничего не хочется. Нас унизили, а сил сопротивляться нет. Как тут не вспомнить о стране, где не бреют насильно и не отбирают ермолок!

- Хаим, знаешь, - решаю я наконец, - ради этого рисковать собой не стану. У меня десять лет впереди, и все эти годы я не могу посвятить борьбе за бороду!

- А я буду. Мне осталось всего восемнадцать месяцев. Как-нибудь выдержу!

Хаима начали преследовать. Каждый месяц одно и то же:

- Симас, заросли уже. Бриться!

- Хаим, тебя как овцу осматривают. Это унизительнее бритья!

- Нет, не сдамся. Буду жаловаться!

И шлет жалобу за жалобой, и спорит с начальниками. Изучил уже все законы о бороде. Докопался даже до такой тонкости, как строчка приказа: "При поступлении в исправительно-трудовое учреждение заключенные подвергаются санобработке со стрижкой волос на всем теле". Вот оно, основание для бритья бород!

- Так ведь написано "при поступлении"! Значит, один раз!

- Нет, дальше сказано: "Санобработка проводится раз в неделю"!

- Про волосы не написано!

- Мы так понимаем и так делать будем! В ваших комментариях не нуждаемся!

Началась война нервов. Хаим прячет подбородок. За ним следят. И все же теплится надежда: "Видишь, уже месяц не бреют, может, уступили!" А на следующий день берут силой, сбивают с ног, выкручивают руки и бреют. Потом еще и в карцер сажают - за сопротивление.

Это была битва за бороду, едва ли не самая "значительная" в истории человечества.

Когда Хаим освободился, я получил от него фотографию. Все, участвовавшие в охоте за бородатым евреем, подходили ко мне и просили:

- Покажите-ка, Менделевич!

И восхищались:

- Ну и отрастил же Симас бородищу!

Пока лагерное начальство занималось нашими бородами, мы готовились к учебному году. Нужно учить ребят ивриту. Мы использовали опыт мордовской зоны, откуда прибыли Паша Корен, Шабтай и Гриша Беленький. В Мордовии учили иврит много и серьезно. Паша попал туда с запасом в сто слов, а через год знал уже три тысячи и умел разговаривать. Теперь его назначили учителем. Вторым учителем стал я. Шабтай вел семинар по истории. Но главное, что вселяло надежду на успех, это учебник иврита "Элеф милим" и "Агада" под редакцией Бялика и Равницкого. Как они очутились в лагере? Благодаря Соломону Дрейзнеру.

Один из организаторов ленинградской сионистской группы, Соломон "проходил" по второму ленинградскому процессу и был осужден на три года лагерей строгого режима. Он отличался особым талантом находить общий язык с кем угодно - даже с бывшими полициярами и ворами-рецидивистами. Большое искусство - общаться с этой публикой. Хочешь, например, купить буханку хлеба у пекаря. Нельзя сказать прямо: "Я заплачу, принеси хлеба!" У него деньги и так есть, ради тебя он не станет рисковать. А надо подойти к нему, угостить сигаретой или попить с ним чаю, поговорить "за жизнь" так, чтобы он почувствовал дружеское к себе отношение. Тогда он сам тебе предложит:

"Хочешь, хлеба принесу?" Ответить надо: "Да что ты, я обойдусь..." А когда принесет, не спрашивать: "Сколько стоит?" Потому что он принес хлеб по дружбе, а дружба не продается. И тебе надо дать просто, "по-русски", не скупясь, и лучше не деньги, а подарок: красивую стереооткрытку, израильскую авторучку. Это не плата, а знак благодарности. Кроме того, дать надо не сразу, а потом. Он вор, но у него гордость есть. Другое дело, если будет голодать. Тогда он тебе горло перегрызет и кости обгложет. Пока же он человек, и ты считайся с ним. Он тюремную куртку шьет у портного. По специальному заказу - не из тряпья, а из рабочей спецовки вольнонаемного, с двумя карманами и воротником. У других эзков - просто бесформенный мешок. Нижнюю рубашку он достает белую. Ботинки или сапоги у него блестят как зеркало. Он их чистит каждый день. Жаль, хороших сапог сейчас в лагере не раздобыть. Все на нем впору, прилажено. Конечно, на воле в своей нелепой одежде он выглядел бы смешно. Но он старается. Не то, что наш брат - политзаключенный, у которого нет и времени думать об одежде.

И вот Соломон обращается к одному такому вору:

- Шура, родственник приедет на свидание. Надо кое-какие вещи пронести в зону. Поможешь?

- Как не помочь, Соломончик! - дружески хлопает его по плечу Шура, попивая чай, заваренный по этому случаю Дрейзнером. Сидят они в задымленном деревянном бараке, за грубым дощатым столом, а вокруг - десятки человек ходят, едят, спят, разговаривают. Никому не придет в голову, что речь идет о получении литературы. Шура знает: вечером на смену заступает дежурный Чикмарев, с которым он в приятельских отношениях. Ночью Шура идет в туалет, выходит во двор лагеря в одном белье. Сверкая голыми пятками, крадется к комнате дежурного. Тот один. Все ушли спать. Шура тихонько стучит в окно. Оглядываясь, выходит надзиратель.

- Ну, что принес?

Шура сует ему деньги за два килограмма сахара, которые тот пронес для евреев. Деньги не пахнут, но сахар таскать неудобно: в карманы длинной шинели с трудом входит два пакета. И плата низкая. Вот раньше было хорошо: заключенные водку просили. Водка дорого стоит, сразу можно заработать. Что-то в последнее время Шура заказывает всякую ерунду. Правда, на этот раз - кило кофе и кило какао. Только ни того, ни другого в магазине нет. Придется в город ехать. Стало быть, можно поднять цену на транспортные расходы. Но Шуре еще что-то надо. Он оглядывается: скоро вернется напарник Чикмарева по смене.

- Ну что еще, давай, говори скорей!

- Слушай...

И Шура рассказывает какую-то длинную историю. Кто знает, завербован Чикмарев КГБ или работает на свой страх и риск. Может, получил указание торговать с заключенными. КГБ понимает: с одной стороны - есть спрос; с другой - не хватает денег. Чтобы не пускать дело на самотек, надзирателю дается задание: торговать и сообщать о всех сделках с зэками. Надзирателю - доход, КГБ - информация...

Когда Шура встал, чтобы выйти в туалет, кто-то закричал на соседних нарах. Это дневальный Митя. Как только Шура вышел, Митя тихо подошел к окну и стал наблюдать за ним. Знаем эти ночные прогулки по нужде! Завтра сообщит КГБ, и там проверят, "законна" ли эта незаконная торговля. Такой же слежкой занимается напарник Чикмарева, Орешкин. Наблюдение ведет и дежурный офицер Тохтамаев, в лагере действует негласный закон: каждый следит и доносит на каждого. Поэтому здесь все боятся всех.

Итак, есть два вида финансовой деятельности в лагере: торговля между арестантами и надзирателями и торговля с ведома КГБ. Игра ведется всерьез. Сотни и тысячи рублей нелегально передают заключенным. Подкупают надзирателей. Подкупают и тех, кто имеет к ним доступ. Но книги, записки и письма неизменно попадают в руки КГБ. Чтобы игра продолжалась, часть передач достигает адресата, зато другая служит обвинительным материалом на судах. Оказывается, наш способ получения

книг не так уж прост. Но если все под контролем, почему же нам передают посылки? Вероятно, пытаются задобрить, чтобы отвлечь от лагерной борьбы. Уж во всяком случае не из желания помочь изучать иврит. Таких догадок и предположений множество. Все они лишь поддерживают состояние неопределенности, в котором находятся заключенные. Какой выход? Остаться самим собой и заниматься тем, что для тебя важнее всего.

Я обучал ивриту Ашера, Хаима и Шабтая. Знания мои были тогда весьма скромными: умел читать, но говорил с ошибками. В свое время заучивал отдельные глаголы, но не мог уловить принципа построения глагольных форм. Однажды я услышал, как Паша (он тоже преподавал иврит) дал задание своему ученику образовать из действительного наклонения сослагательное. Я задумался над этим, и вдруг отдельные заученные элементы соединились в стройную систему, и все прояснилось. Не чувствуя себя от радости, я с трудом дождался конца работы, побежал в барак, открыл свой иврит-русский словарь Шапиро, в котором были таблицы спряжений глаголов, и стал проверять правильность своей догадки. Успех был полный. Я обрел уверенность. Теперь мне хотелось передать свои знания другим. Мы собирались в недостроенном здании административного корпуса. Здесь никто нам не мешал. У нас была вторая часть учебника "Элеф милим", у каждого ученика - тетрадка для домашних заданий. Я старался построить урок по всем правилам: изложение нового материала, работа над текстом, проверка знаний. Недостающий материал восполнял рассказами о нашей лагерной жизни.

На первых же уроках столкнулся с трудностями. Мои ученики были взрослыми людьми, а я вел себя с ними, как со школьниками: ставил отметки, ошибки подчеркивал красным карандашом, заставлял больше работать. Мне казалось, что они недостаточно старательны. Я понимал, что нельзя от них многого требовать. В то же время чувствовал, что вести себя с ними надо так, чтобы они не стеснялись друг друга. Все они страшно ранимы. И я перестал подчеркивать ошибки, ставил лишь звездочку около неправильно написанных слов и внизу делал замечания по работе. Оценок не проставлял. Пришлось пройти всю "педагогическую науку". Готовясь к занятиям, я повторял материал, и это помогало мне продвигаться в иврите. Ведь я до всего доходил сам. Возвращаясь с работы, я бежал к моим нарам, доставал учебник и словарь и приступал к занятиям. Сидел, согнувшись в три погибели, и писал, писал. Почти без света, в темноте. Ребята ругали меня за то, что не берегу глаза. Но я был слишком поглощен изучением языка.

Каждый из нас переписывал от руки учебник, чтобы, если его конфискуют, иметь возможность продолжать учиться. Так со временем появилась рукопись, которая называлась "Тетради Йосефа". Сюда вошел перевод всего учебника с пояснениями, дополнениями и словарем. Получился учебник, по которому можно было заниматься без учителя. Я перевел две части - на 1500 и 3000 слов и приступил к освоению четвертой - на 5000 слов. Это счастье: учить других и учиться самому. Это и реальная подготовка к будущей жизни в Израиле. И более того - один из способов выжить.

В лагере у заключенного имеется много путей противостояния властям, если он не раб в душе и не позволяет издеваться над собой. Пути разные, и каждый из них -

особый образ жизни. Это и нескончаемые беседы единомышленников - чаще всего за чаем - о планах на будущее, это и беспрестанные споры с начальниками, это и упорная переписка с прокурорами и кагебистами. Неотъемлемой частью являются также постоянные наказания: лишение свиданий, права на покупку продуктов и, конечно, карцер. С тех пор, как мы определили, что главное для нас - изучение иврита и подготовка к жизни в Израиле, появился критерий выбора. Исходя из него, мы решали, нужно ли участвовать в данной забастовке, голодовке, в организации протеста. Нельзя вмешиваться во всякую драку. Это потеря времени - после карцера надо долго приходить в себя. И если раньше вопрос ставился так: "Почему бы не принять участие в протесте?" - то впоследствии мы научились спрашивать: "Почему, собственно, участвовать?"

Мы жили одной группой, общими интересами. Это была самоизоляция, попытка коллективного самосохранения. Наша сила заключалась в сплоченности, во взаимопомощи и поддержке друг друга. Потом, оставшись один в лагере, я особенно остро почувствовал значение этих факторов. Теперь же я не испытывал никаких угрызений совести от того, что по решению группы я, например, не принимаю участия в общей голодовке. Мы продолжали изучать иврит и историю. Усаживались в какой-нибудь угол и внимательно слушали Шабтая, который, не опуская ни имен, ни дат, ни событий, излагал историю человечества от сотворения мира до наших дней. Мы все записывали.

Однажды неожиданно с трех сторон, как вороны, налетели надзиратели:

- Вы что здесь делаете?

- Историю учим.

- Что еще за история? - листают отнятые записи.

Да, верно, какие-то даты: 163 год до новой эры, 2-й год новой эры, Рим, Древняя Греция... Конспекты возвращают:

- Ладно, продолжайте!

Так у самых прилежных появился учебник еврейской истории, которым пользовались и после освобождения Шабтая.

Взаимное общение имеет и другую сторону - взаимоотталкивание. Слишком много точек соприкосновения и очень разные характеры. Я старался не обострять конфликтов. Невыносимо представить, что наша небольшая группа распадется и каждый останется сам по себе и, в конечном счете, все мы от этого пострадаем. Так мы и жили в состоянии шаткого мира.

Сегодня получили письма из Израиля. Очень хочется читать их сообща, а не врозь. Первым читает Шабтай. Он любит обсуждать каждую строчку, обмениваться мнениями, переходить к воспоминаниям. Слушать его интересно: он связывает текст писем с фактами истории и политики. Но и здесь разгораются споры, иногда без видимой на то причины. И спорщиков не остановить, не разнять. С трудом дочитываем письмо до конца, но больше читать вместе не хотим. Теперь каждый

дает читать свои письма и обсуждает прочитанное лишь с тем, с кем ему хочется. Сам выбирает, что дать близкому другу, а что - остальным. А ведь это письма из Израиля, те самые - с ивритом, открытками, марками, за которые нам приходилось бороться! И все же после споров мы снова собираемся, принимаем решения, действуем совместно - до следующего конфликта. А потом опять все сначала. Все наши беды - от жизни в галуте. Дело не только в самоотталкивании. Существуют и внешние силы, которые могут развалить нашу группу. И еще колебания в выборе между нами и политическим месивом зоны, как у Гриши Беленького.

Гриша занимался ивритом еще в Мордовии. Его приглашали на еврейские праздники, но сердце этого сорокапятилетнего учителя английского языка не было с нами. Он вырос на всем советском, русском. Воспитывал детей в духе коммунистической веры. Потом с легкой руки Хрущева начали критиковать Сталина. Люди наивные думали, что теперь дозволено критиковать и советскую власть. Так увлеклись, что не заметили прихода Брежнева. А тот строго сдвинул густые брови: "Распустил Никита народ, надо подкрутить гайки!"

Между тем Гриша понял, что все, чему он учил ребят, было фальшью. И он вместе с другими добрыми и умными евреями занялся расчисткой советских конюшен. Обнаружилось, что наверху - только засохшая корка, а грязь - внизу. Одни, устав, плюнули и сказали: "Хватит, правды все равно не найдешь!" Другие продолжали настойчиво копать и попали в КГБ. Третьи работали потихоньку - авось еще найдут правду. Незлобно рассказывали анекдоты про "железного" Феликса, Ленина и Чапаева, писали в ЦК и Брежневу, советовали, как улучшить советскую власть.

Молдавский КГБ заинтересовался Гришиным проектом ломки старой системы воспитания и построения на ее месте современной, воистину коммунистической. Пришли к автору домой и обнаружили запрещенную книгу "Доктор Живаго" и портрет Брежнева в рамке из туалетного стульчака. Ах, вот где зараза! Арестовали. Судить было не за что, но тут началось соперничество с ленинградским КГБ. Ленинградские коллеги за тридцать пять арестованных со сроками по пятнадцати лет получили повышения в чинах и награды. Кишиневские "товарищи" не хотели от них отставать: посадили нескольких евреев за сионизм. А поскольку сионисты - опаснейшие враги прогресса, Гриша вместо максимальных по его статье двух лет получил семь лет строгого режима и попал к нам. В лагере ребята старались приблизить к себе всякого еврея, в том числе, разумеется, и его.

Я не раз пытался убедить Гришу в том, что борьба против советской власти - не еврейское дело; будущее евреев не в Союзе, и после освобождения нужно ехать в Израиль. Последнее имело особый смысл, ибо совсем недавно Гриша предложил кагебешникам план разрешения "еврейского вопроса". Сионистское движение в России, по его мнению, возникло потому, что нет еврейских театров, школ и вообще еврейской культуры. Если все это восстановить, можно избавиться от сионизма. Гебисты обещали подумать. Им, конечно, плевать на еврейскую культуру, но раз еврейчик сам предлагает свои услуги, надо воспользоваться. Может, удастся заслать к сионистам. Ему поручили разработать подробный план "спасения евреев от сионизма", а пока написать об этом статью в лагерную газету. В эту газету писали только стукачи, поэтому Гриша сразу же попал в число тех, с кем политические

заклученные отношений не поддерживают.

- Неужели ты веришь, что КГБ нужны твои предложения? - возмущался я. - И как можно мешать выезду евреев?

Он уверял, что тоже не верит и весь его план якобы задуман для разоблачения антисемитизма советской власти. Но своему близкому другу признался:

- Понимаешь, я надеюсь, что за это меня освободят досрочно и вернут на работу в Молдавию!

Его не освободили и, переполненный злобой и обидой, он вoвсю ругал советскую власть.

- Успокойся, Гриша! Лучше учи иврит. Зачем тебе эта бесполезная борьба?

Учить иврит и историю, когда решаются судьбы мира? Нет!.. Спустя некоторое время он все же согласился с нашими доводами и обещал все свои действия согласовывать с группой. Позднее выяснилось, что это обещание он дал только из "жалости" к нам. Решил нас успокоить, а сам действовал исподтишка: якобы от имени евреев писал жалобы. Это, безусловно, ставило нас под удар и создавало дополнительную опасность. Мы поговорили с ним. Раскаялся. Но поскольку доверие к нему уже было потеряно, мы предложили, чтобы все, что он пишет, давал на просмотр. Дожили! Внутренняя цензура!

Гриша стал искать поддержки у зэка Михаила Яновича Макаренко. Яныч успокоит, чаем напоит и даст новые адреса для жалоб. "Жалобами взорвем советский режим!" - с этим лозунгом Яныч приехал в зону. Вряд ли он серьезно относится к тому, что говорит. Но он натура живая, деятельная. Не может сидеть сложа руки. И потом - почему бы не писать жалобы? Этот род занятий он прекрасно освоил еще до ареста и стал подлинным артистом своего дела. Благодаря ему писание жалоб и заявлений в течение многих лет превратилось в одну из форм сопротивления заключенных. Говорят, в 1977 году на съезде партии приняли особое решение в связи с этим. Яныч и съезд коммунистов! Это ему импонировало.

А началось все с того, что еврейский мальчик Мойше из румынского города Галаца прочел в газетах о пионерах Советского Союза. И так там интересно писалось об играх, путешествиях и приключениях советских ребят, что он отправился через границу, по мосту через Днестр, в советскую Бессарабию. Наверное, тогда, в 1939 году, границу не охраняли так, как сейчас, потому что он пересек ее без особого труда. Правда, в пионеры его не приняли, а как беспризорного отправили в колонию для малолетних преступников. Его отец, Яков Гершкович, обращался в Советский Красный Крест с просьбой вернуть сына. Но мальчика не отдали. Он проходил "курс обучения" законам преступного мира в "исправительном" заведении. Пройдя этот курс, Миша бежал, скитался по разным городам Союза, промышлял мелкими кражами. Война застала его на Кавказе. Здесь ему довелось быть свидетелем отступления советских войск, грабежей, беспорядков и насилий. Женщина, у которой он жил, велела ему пробраться на склад пушнины. Благодаря своей худобе ему удалось пролезть туда через форточку. Его не выпустили со склада до тех пор, пока

не получили последнюю лисью шкурку. А потом все ушли, бросив Мишу на произвол судьбы. Оставшись без крова и знакомых, он добрался до какого-то санатория, где лечили детей, больных костным туберкулезом. Миша навсегда запомнил горбатую девочку, ее красивое лицо и чудесный голос. По утрам она обычно пела. Когда советская армия бежала, а немцы еще не пришли, местные жители принялись сводить счеты с русскими. Однажды ночью Миша проснулся от шума. В палате находились какие-то люди в папахах и бурках. Они наклонялись над каждой кроваткой и что-то делали. Усатый черкес подошел к постели Миши, приподнял одеяло, взглянул на него и пошел дальше. Утром Миша проснулся. В палате тихо, и девочка не поет, а санитар вытаскивает из кроватей тела убитых.

Мишу не тронули, очевидно, потому, что он не был похож на русского. Затем он попал в действующую армию. Солдаты усыновили его. Веселый, смысленный подросток стал их любимцем - он напоминал им родной дом и детей. Жаль только, что он еврейчик. Но этот недостаток легко исправить: какой-то солдат крестил его в озере.

После войны в Москве он пытался через юридическую консультацию разыскать родных. Узнав, что они за границей, адвокат испугался, замахал на него руками: "Иди, иди отсюда, мальчик! Я ничего не видел и не слышал! Забудь про своих родных!" Но Миша не забывал и обратился в Международный Красный Крест. Он не знал, что и отец его разыскивает, посылая многочисленные запросы в Советский Союз.

Шло время. Миша вырос. С трудом окончил среднюю школу. Но школу жизни прошел хорошую. Случайно он познакомился с коллекционером, специалистом по живописи, и научился у него разбираться в картинах, отличать оригиналы от подделок.

Коллекционирование пришлось ему по душе, вероятно, потому, что здесь еще возможна частная инициатива. Тут способности Михаила Яновича развернулись во всю силу. Помог и большой житейский опыт. С поразительным чутьем ему удавалось узнавать, где хранятся неконфискованные старинные картины и иконы. Он умел их оценивать и убеждать владельцев продать ему. Для этого требовался недюжинный ум, размах и смелость. Михаил Янович ими обладал. Он разбогател настолько, что стал одним из подпольных советских миллионеров. Построил под Ленинградом двухэтажный дом, женился на дочери репрессированного священника и взял ее фамилию - Макаренко. Чтобы быть уж совсем русским, крестился вторично.

Но богатство само по себе его не удовлетворяло. Главное для него - игра, игра обстоятельствами и людьми. Ему нравилось чувствовать свою власть над ними. Он любил мистификацию, смену масок. Любил вводить людей в заблуждение. Не знаю, понимал ли он сам себя, для других же он был загадкой. О себе он говорил так: "С русскими - я самый что ни на есть православный; с украинцами - борец за самостийну Украину; с евреями - горячий сионист!" Кто он? Безмерный альтруист? Азартный игрок? А может, дешевый аферист? Он не владел кистью художника, но из людских судеб и различных ситуаций мог создавать удивительные композиции.

Его последний "шедевр" назывался "Параллельная коммунистическая партия Советского Союза". Себе он отвел там скромное место члена комиссии по расследованию преступлений КПСС в Новосибирской области. (В то время он заведовал картинной галереей в Академгородке.) В эфемерной партии состояло всего два члена: сам Макаренко и его приемный сын Саша. Но мистификация зашла так далеко, что даже зарубежные компартии поверили в существование "движения". Говорили, будто на совещании компартий Восточной Европы Янош Кадар требовал присутствия представителей нового "движения". Забрасывая ЦК кипами документов, "партия" Макаренко не оставляла сомнений в своем существовании. В лагере Яныч с гордостью рассказывал о том, что пока КГБ сбивалось с ног в поисках "мощного рабочего движения", сам он готовил визит в Новосибирск знаменитого Марка Шагала, который бежал из России в двадцатые годы и теперь мечтал ее посетить. Не обойтись без официального приема в Москве. Но Яныч и тут проявил свое умение убеждать людей. Он якобы уговорил Шагала ехать в Новосибирск прямо из Парижа, минуя Москву. Яныч с жаром описывал, как готовилась охота на медведя в сибирских лесах. Зверя купили в цирке, и опытный снайпер должен был выстрелить в него одновременно со знаменитостью, чтобы наверняка попасть...

Игра с КГБ могла продолжаться долго, если бы Макаренко случайно не оказался в квартире крупного подпольного торговца драгоценностями. Когда он туда пришел, там шел обыск, и его задержали. Сначала он не привлек особого внимания следствия, но по мере того, как стали вырисовываться контуры этой личности, им заинтересовалась прокуратура, а затем и КГБ. В одном из многочисленных тайников обнаружили "документы партии". Но Яныч, этот дважды крещеный еврей, живущий под тремя фамилиями, оказался твердым орешком. Яныч заверял, что по указанию Президиума Верховного Совета следствие трижды продлевалось. И все безрезультатно. Искали миллионы и не могли найти. Арестованный Саша "помогал" искать то на дне канала, то в районах новостроек. Все напрасно. Наконец взорвали дом Яныча, надеясь в подземельях обнаружить сундуки с золотом. Ничего не нашли, но Макаренко получил восемь лет заключения.

В лагерь Михаил Янович Макаренко прибыл как личность в высшей степени загадочная. Администрации заявил, что он коммунист; русским представился христианином; диссидентам - борцом за демократию. Его уважительно называли "рыбой". На лагерном жаргоне это человек, которому море по колено и который может плавать в любой воде. Начальство его ненавидело, а заключенные им восхищались. Он умел находить просвет даже в серых лагерных буднях и никому не отказывал в помощи. Его бурная деятельность иногда вводила в заблуждение, ибо казалось, что он преследует определенную цель. На самом же деле цели у него не было. Отсюда его готовность пуститься на любое приключение, любую авантюру, быть со всеми, не принимавшими советской власти.

С евреями Яныч чувствовал себя своим, считал, что только мы можем его понять. С сионистами он прежде не встречался, имел дело лишь с евреями-торгашами и дельцами. По-видимому, он сочувствовал нам, хотя открыто в этом не признавался. Более того - часто говорил: "Сионистом я не стану. Это не для меня. Одно прошу: когда приедете в Израиль, разыщите моих родных. Верю, что они там".

Знавшие его близко утверждали, что в сущности он остался тем еврейским мальчиком, который когда-то покинул родителей и навсегда лишился семейного тепла. Мы его принимали, но с осторожностью. Вокруг Яныча кипели страсти. Одни верили, что он вот-вот въедет на белом коне на Красную площадь. Мало кто из таких знал, что этот здоровый бородатый мужик - "жид". Другие были убеждены, что он опытный офицер КГБ, специально засланный в наш лагерь. Возможно, эти слухи распространяли и сами органы, которым Яныч мешал.

Из Мордовии на Урал он приехал с идеей организовать кампанию жалоб и заявлений, воспользоваться 50-летием советского государства для того, чтобы добиться освобождения военных преступников и предоставления особых прав политическим заключенным. Слабое место у Советов - страх перед гласностью. В руках зэка есть оружие - жалобы и заявления в печать, во все органы власти, партии и профсоюзов, а также отдельным деятелям. До сих пор начальство использовало неоднозначность Правил внутреннего распорядка. Но их можно повернуть и в нашу пользу. Ведь большинство учреждений, в которые мы направляли жалобы, хуже нас разбирались в Правилах. Учитывая противоречивость отдельных параграфов, можно обжаловать каждый шаг администрации, начиная с самого факта существования лагеря и кончая поведением начальства. А оно придиралось к нам по мелочам: незастегнутая пуговица, неснятая шапка, минутное опоздание.

- Почему не бить начальство его же приемами? Пусть по нашим жалобам, - рассуждал Макаренко, - устраивают проверки, посылают запросы, пишут ответы. Это, с одной стороны, причинит беспокойство властям; с другой стороны, с нами будут считаться. Мы им зададим такую работу, что не останется времени нас преследовать. Кроме всего прочего, сам факт выхода из зоны информации о нашем положении снимет секретность. Пусть "простой советский человек" узнает, что творится в лагерях.

Политические заключенные и раньше писали жалобы. Но теперь это приобрело характер "кампании". Возведенная в почетный статус "политической борьбы", она не только позволяла излить наболевшее, но к тому же вселяла какие-то смутные надежды. Своего рода психотерапия.

"Поднятая на принципиальную высоту" кампания приняла грандиозные размеры. Каждый уважающий себя заключенный должен был написать в день не менее пяти заявлений по любому поводу. У Михаила Яновича хватало терпения ежедневно пропускать через себя большой объем "жалобной" продукции. Однако не все верили в возможность облегчить наше положение путем жалоб и считали унижением обращаться в советские органы власти. "Кому жаловаться? - возмущались они. - Этим негодьям, которые нас в тюрьму посадили? Нашли, где искать справедливость!"

На собраниях группы мы не раз обсуждали нашу позицию в этом вопросе. Она отличалась большей сдержанностью, чем макаренковская. По пустякам не писать. Использовать "атаки заявлений" только как ответ на репрессии.

Для того, чтобы не прекращался поток жалоб, Яныч пустил слух, будто в Уголовном кодексе есть пункт, предусматривающий выход на поселение после отбытия трех четвертей срока. Это означало, что старики, находящиеся в лагере по пятнадцати-двадцати лет, могли поселиться недалеко от него, как "полусвободные" поселенцы. Сначала Янычу не верили и боялись писать. Но Макаренко умел убеждать и подстрекать. Он был энергичен и предприимчив: там бросит слово, тут как бы невзначай заметит: "Получил ответ из прокуратуры. Подтвердили, что закон понял верно". Или: "Говорят, в тридцать пятой зоне нескольких уже освободили. Пишите, а то будет поздно!" Подействовало. К Янычу с утра выстраивалась очередь безграмотных. Он писал всем. Как будто получал за это подарки. Так или иначе он работал с утра до вечера и выполнял свое дело старательно. Заявления, которые он писал, были верхом искусства. В них он издевался над властями, но так, что придраться было не к чему. Его пытались запугать наказанием "за клевету, за намеренную дезорганизацию работы персонала". Но наказывать было не за что. Администрация припиралась и к его сторонникам. Одного из них посадили на полгода во внутреннюю тюрьму за то, что он "не содержит в чистоте спальное место". Какая уж тут чистота, если речь идет о мешке, набитом старым тряпьем!

Одно из заявлений Яныча начиналось так: "КГБ легло могильной плитой под свод советских законов". Броско, но опасно. Его предупредили: "Это уже оскорбление власти!" Свои заявления он подписывал "Коммунист Макаренко".

- Макаренко, вы не коммунист! У вас нет партийного билета!

- Я коммунист в душе! А, вам не нравится моя подпись? Хорошо! - И он стал подписываться иначе: "Особо опасный государственный преступник Союза Советских Социалистических Республик".

Трудно воспроизвести оригинальную манеру письма Михаила Яновича, которой присуще хорошее знание советских законов и чувство юмора.

В лагере еженедельно показывали художественные фильмы, в основном революционного содержания: октябрьская революция, гражданская и отечественная война, строительство коммунизма. Смотреть эту ерунду всем надоело, но что поделаешь? Макаренко и тут нашел выход - написал жалобу: "В последнее время в лагере стали показывать фильмы о Ленине. Эти фильмы смотрят враги советской власти, которые при виде вождя мировой революции смеются и говорят: "А, черт лысый! Еще жив? Ничего, скородохнешь!" Я, как честный коммунист, не могу молчать, когда на моих глазах издеваются над нашим вождем. Поэтому прошу такие фильмы больше не показывать". Подействовало. Какое-то время фильмы вообще не привозили...

Тематика заявлений была разнообразной, причем Яныч не брезговал и неточностями. Например: "В карцере кормят через день хлебом и водой". На самом Деле были "сытые" и "голодные" дни. Один день давали 450 граммов хлеба, 50 граммов рыбы, 30 граммов каши и суп. На следующий день - только хлеб и воду, о чем и писал Яныч.

- Яныч, но ведь это вранье!

- Подумаешь! Они разве не врут?

- Зачем брать пример с негодяев?..

Впрочем, были заявления, в которых содержалась чистая правда. Одно из них касалось "зимнего наступления" начальства. В пятидесятиградусный мороз администрация запретила носить теплую одежду под тем предлогом, что ее ношение "не соответствует приказу МВД". Макаренко добровольно сдал одежду и приложил записку: "Прошу мою одежду отдать вьетнамским детям". Под запиской подписалось много арестантов, и администрация вынуждена была отменить свой приказ. Вообще жалобы служили для начальства индикатором возможного взрыва. Иногда предпринимались меры по его предотвращению.

История с амнистией была более темной. Яныч рассказал, что однажды, стоя у дверей начальника лагеря, услышал якобы разговор об амнистии политзаключенных. Единственное, чего он не расслышал, - это дата. Вроде бы число оканчивалось на "дцатое", а месяц на "бря". В лагерях постоянно ждут амнистии, и это понятно. Макаренко живет слухами. Это тоже понятно. Но непонятно, почему к нему прислушивались и почему слухам верили. Какие-то намеки на возможную амнистию были. 30 декабря 1972 года исполнялось пятьдесят лет со дня создания Советского Союза. Слух был пущен за три месяца до юбилея. Все это время арестанты чувствовали себя более раскованными, чем обычно. Теперь они готовы писать жалобы куда угодно - "все равно освободят". Слухи докатились и до надзирателей, которые, конечно, не знали, что решат в Кремле, и поэтому на всякий случай стали вести себя сдержаннее. А заключенных хлебом не корми, только дай им надежду - во всем увидят признаки освобождения.

- Смотри, какую рыбу дали! Верно, к амнистии идет дело!

- Видел, я не работал, а он прошел мимо, и ничего.

Ясно - готовится амнистия.

- Уже почти месяц бороду не бреют! Наверное, знают, что будет амнистия!

И так каждый на свой лад. А тут еще письма из дома, из Израиля, всегда полные надежд и намеков: "Были у дяди Сэма. Он говорит, что дети скоро выздоровеют". Или: "Тетя Голда нашла хорошее лекарство" и т. д. Начинается обсуждение:

- Нет, это не случайно. Йосеф, твой отец серьезный человек, он не станет писать даром про Голду. Действительно что-то есть.

Я сделал только один вывод - с утра до вечера учить иврит. Дни летели, а я, согнувшись над нарами, исписывал тетради переводами и упражнениями. Паша Корен показал мне, как заниматься ивритом при помощи карточек. На одной стороне записывается слово на иврите, а на другой - перевод. Так, перебирая карточки, можно повторить много слов. Трудное слово следует отложить и повторять чаще. К концу заключения у меня насчитывалось около десяти тысяч карточек с ивритскими словами и выражениями, которые я группировал по степени трудности. Группы слов я хранил в спичечных коробках. Каждая имела свой срок проверки. Эта система

давала возможность повторять слова на работе и держать весь миниатюрный словарь на ладони. За день я проходил пятьсот-восемьсот слов, из них до шестидесяти новых. Многочисленные коробочки вызывали подозрение у надзирателей, и они просматривали и перетряхивали их содержимое, внося беспорядок в мою систему.

Однажды, увлекшись переписыванием текста из учебника "Элеф миллим", я не заметил, как кто-то подошел ко мне. Только характерное посапывание заставило меня поднять голову: Федоров! Я готов был драться за мой учебник.

- Чем занимаетесь, Менделевич?

Терять мне было нечего - все равно отберет, и я ответил гордо:

- Учю еврейский язык!

Он посмотрел на меня пустыми глазами:

- Ну, учите, учите, - и повернулся к выходу.

Мы научились распознавать намерения Федорова по десяткам признаков: по выражению лица, сопению, пустым глазам, парадной одежде - если предстояла крупная экзекуция. Лагерь для него - все в жизни, заменяет ему дом. Теперь он озадачил меня своим необычным поведением. Может, получил инструкцию не мешать нам? Но ведь мог по крайней мере посмотреть, что за книгу я читаю и что пишу. Может, он пьян и не понял моего ответа?

Как это ни странно, но иногда мне казалось, что не все человеческое у него атрофировано. Я не рискнул бы поделиться догадкой с товарищами - они съели бы меня живьем. "Федоров - человек?!" Неужели особое отношение ко мне? Мне казалось, что даже наказывая меня, он не испытывал особой садистской радости. Просто чиновник, уставший от работы. А, может, он вел себя так со мной оттого, что я никого не оскорблял? Или потому, что я не вступал в споры? Соблюдая еврейский закон, я тем самым нарушал внутренний распорядок лагеря. Но я не делал это демонстративно, на зло кому-то. Ведь я исполнял все для себя, во имя Б-га. А может, сыграла роль национальность его жены, Эстер Рабинович? Познакомились в годы войны, когда евреи бежали от немцев на Урал. Она работала бухгалтером. Парадоксально, но ведь дети Федорова были евреями и при желании могли получить израильское гражданство! Сын служил надзирателем в нашем лагере и ждал поступления в университет. Дочь работала цензором, и многие арестанты заглядывались на нее. Тонкое типично еврейское лицо.

Еще одна еврейская семья работала в лагере - Фуксманы. И от них мы ничего хорошего не видели. Впрочем, я ничего и не ждал.

Сразу по прибытии в лагерь меня определили в строительную бригаду. Работа тяжелая - целый день месить лопатой цемент и по шатким помостам таскать на второй этаж носилки со строительным материалом. Копали траншеи, носили кирпич, грузили машины. Но работа меня не пугала. Я был молод и считал, что для здоровья лучше быть на воздухе, чем торчать в грязном цеху.

Я столкнулся с интересными людьми. От них можно было услышать лекцию об Эфиопии или урок по подделке документов. Специалист своего дела, Шимон Кирьяк от руки мог подделать любую печать, официальный бланк или подпись. Здесь я узнал о побеге Кудирки, литовского моряка, который вплавь добрался до американского корабля, но был возвращен американцами и получил десять лет заключения. Его освободили по просьбе президента Никсона в один день с Сильвой.

Бригадиром строительной бригады был полубезумный Иван Богданов, который украл на заводе радиоактивное вещество, чтобы продать его американцам и купить водки. За это он получил десять лет. Поскольку в лагере он стал на "путь исправления", его назначили бригадиром. Думать ему не требовалось - для этой цели служил Михаил Янович Макаренко, которого он из простых рабочих возвел в должность своего личного секретаря. Яныч знал много специальностей, включая и строительство. Вскоре фактическим начальником стал он, а Богданов заваривал ему чай. Мы все блаженствовали при Макаренко. Он умел так оформить документы, что, справляясь лишь с половиной работы, мы якобы выполняли норму на сто пятьдесят процентов. Это давало дополнительно миску овсяной каши и сто граммов хлеба. Суббота проходила без осложнений. Бывало сидим после работы и учим иврит. Приходит Яныч.

- Привезли машину с цементом. Разгрузите - запишу за субботу!

За час разгружаем машину, а заодно упражняемся в разговорном иврите.

Однако Федоров учуял еврейский "гешефт". Вместо нас послали бывших полицаев, а нас уpekли набивать керамической пылью трубки на специальном станке, вибростенде. Работа была вредная и грозила даже раком легких, а сама вибрация изнуряла. Подрывать здоровье не хотелось. Поэтому отправился к доктору Петрову:

- У меня сломались очки, Я ничего не вижу.

- Хорошо, очки получите.

Расчет был нехитрый: в этой глуши достать очки невозможно, а работать без очков не имело смысла: требовалась точность - материал стоил дорого. Сначала меня вызывало начальство, пытаюсь разобраться, каким образом разбились очки. Я показывал разбитые стекла, и наконец меня оставили в покое. Это были месяцы отдыха. Я изучал пасхальную Агаду, которую ребята привезли из Мордовии, беседовал с Хаимом обо всем, учился сам и учил других.

30 декабря 1972 года вся зона притаилась в ожидании амнистии. 30 и 31 декабря радиопередачи из Москвы почему-то не транслировались. Первого января мы вышли на работу. Черная уральская ночь, еще не разбавленная жидким зимним солнцем. Со свистом носился по белой земле снежный буран. У распахнутых ворот зоны, засунув руки в карманы, стояли офицеры в длинных шинелях и шапках-ушанках. Против них - колонна заключенных. Обе стороны напряженно ждали чего-то. Куда откроются ворота - на завод или на волю?

По взмаху руки Котова заскрежетали ворота:

- На работу - марш!

Как псы, почуявшие кровь, офицеры готовы броситься на каждого арестанта. Вызывали по списку:

- Иванов!

- Есть!

Иванов отделяется от колонны и проходит в помещение для обыска. И так один за другим: Кудирка, Лукьяненко, Николаенко...

- Николаенко, стой! Почему руки в карманах?

- Холодно, мерзну.

- Спорить с начальством? Пятнадцать суток карцера!

И дальше: Каджионис, Садо, Дымшиц, Узлов...

- Узлов, почему фуражка не по форме?

- Порвалась, гражданин начальник.

- За порчу имущества десять суток ареста!

И пошло: карцер, лишение свидания, лишение посылки... "Что, думали, кончилась наша власть, на свободу пойдете? Нет, вы у нас в руках!" Начальство решило наверстать упущенное за три месяца послабления режима. Надо вернуть эков в прежнее состояние рабской покорности. И зона испугалась, притихла. Объявленная 30 декабря амнистия гласила, что на государственных преступников она не распространяется. Она вообще ни на кого не распространялась, а явилась лишь демонстраций "советского милосердия". Большую часть текста закона составлял перечень "преступлений", не подлежащих амнистированию. В лагере зло шутили: "Амнистии подлежит беременный член коммунистической партии с 1902 года".

Меня послали на завод - нашли работу и для "слепого". Добрались и до "больного" всеми болезнями Яныча. Мы оказались вместе: вручную зажимали контакты электрорегулятора. Норма - 3100 контактов в день. К концу работы слепли глаза, позвоночник разламывался, и ложка с баландой валилась из рук. Но это только на первых порах. Потом мы настолько освоились, что готовые детали вылетали у нас со скоростью слов. Мы говорили непрерывно. Перерыв устраивали лишь для разговоров с другими. Наше рабочее место находилось в темном углу, далеко от надзирателей, и друзья заходили к нам передохнуть. Ко мне - евреи, к Янычу - вся зона. В его советах нуждались.

Наша конура стала своеобразной юридической конторой. Сидя изо дня в день рядом с Янычем, я мог видеть, как он общался с людьми, и понял, в чем секрет его успеха. Он действительно был многопланов: с простыми мужиками говорил языком деревни, с диссидентом - как интеллигент, с молодыми - как сверстник. И всегда оставался самим собой. Но главное заключалось не в этом его качестве. Он умел внушить

собеседнику, что его-то он уважает больше всех. И люди, прежде относившиеся к Янычу с предубеждением, проникались к нему уважением и доверием. Он щедро расточал лесть, которая воспринималась как правда. А ведь в лагере нет ничего нужнее доброго слова. Мне он не раз говорил:

- Иосиф, вы поражаете меня своим чувством достоинства. Вы умеете держаться своих принципов без шума, но с твердостью.

И точно. Это была моя линия поведения, хотя я придерживался ее не совсем последовательно. Но какая пронизательность и какая лесть!

- Яныч, лучше не делайте мне комплиментов! Слыша их, я начинаю подозревать что-то неладное. Да и всем вы отвечаете комплименты, не надо!

Я посмеивался над его лестными словами обо мне, но иногда шевелилась мысль, что он искренен. Вероятно, так думал не только я...

И все-таки он относился ко мне с вниманием и уважением. Хорошо воспринимал все, что я рассказывал ему об Израиле, о нашей истории, о вере.

После провала кампаний "амнистия" и "поселения" Макаренко задумал провести День памяти заключенных, погибших в советских лагерях. Выбрали пятое сентября, когда в 1922 году вступил в действие закон о "красном терроре". Возведение убийства в ранг закона привело к миллионам жертв. Несомненно, среди замученных были сотни тысяч евреев. Поэтому наша группа решила принять участие в этой акции. Объявили голодовку.

Вечером в пустое помещение склада пришли представители армянской, литовской, украинской, русской и еврейской национальности. Яныч произнес речь, которую вполне можно было бы опубликовать в советской прессе, заменив фразу "красные убийцы" на "фашистские убийцы". Затем торжественно внесли мешок с землей и высыпали на пол - получилась символическая могила. На нее каждая группа поставила свечку. Я произнес поминальную молитву, хотя и не было миньяна (десяти евреев). Эта молитва звучала здесь, в холодных горах Урала, так трагично, что у многих на глаза навертывались слезы. Несмотря на то, что слов никто не понял, впечатление было сильное. На следующий день Яныч сказал:

- Иосиф, вы настоящий раввин!

- Упаси Б-же, чтобы у нас раввинами были такие неучи, как я!

Но Яныч не желал меня слушать. С тех пор за мной утвердилось звание "раввина".

Хотя я много знал о Яныче, он не во все меня посвящал. Оказалось, что землю для символической могилы принесли из подвала склада. Молодые ребята во главе с Абанькиным решили бежать. С этой целью делали подкоп. Вокруг склада - болото, но в пятнадцати метрах от забора заметили сухое дерево. Значит, там нет трясины. Дерево служило ориентиром для выхода на сухое место. Среди участников подкопа был Леша Сафронов, мой давний друг. Янычу он подражал во всем. Что-то их

объединяло. Оба они могли принимать разные обличья, но если Леша и внутренне перевоплощался, то Яныч везде оставался самим собой, еврейским мальчиком из Галаца.

Зэки, собравшиеся бежать, поставили главным Макаренко. Ему пришлось решать массу вопросов: как скрывать подкоп, как выносить землю, как добраться до железной дороги. План созрел такой: выйти из подкопа в двадцати метрах от забора, бежать до железнодорожной станции, неся на плечах Макаренко, так как физически он был слабее других, затем - на север, в леса. Найти там заброшенный дом, отсидеться месяц, а потом отправиться в Мордовию, в зону лагерей, освободить Сильву Залмансон и Зину Васильеву*.

Затем на пермском аэродроме захватить самолет и лететь в Иран (дело было еще при шахе). Авантюрный план свидетельствовал о том, что его авторы - Витольд и Леша - витали в небесах. Вести самолет предложили Дымшицу. Марк посмотрел на мальчишек и, не сказав ни слова, ушел. Хватит с него смелых проектов!..

Землю рыли в три смены, прикрывая лаз половицами. Крали простыни, чтобы ночью выносить в них землю из подкопа и высыпать ее в канаву у склада. Нужно было провести электричество - копать при свечах невозможно. Обратились к знакомому по семнадцатой мордовской зоне, Виктору Чемовскому. Сам он, не будучи евреем, считал себя обращенным в сионистскую веру, попросту говоря, пил чай с сионистами. Правда, мы его сионистом не признали, и он вернулся к своему прежнему амплу борца за чистоту ленинских идей.

Виктора ознакомили с планом побега. За кружкой чая он поделился им с двумя другими "ленинцами" - Александром Чеховским, комсомольским активистом из Ворошиловграда, и Юрием Алексеевым, организатором неудачных голодовок, бывшим капитаном милиции и сыном полковника КГБ. Все трое сидели за желание "улучшить" советскую власть. Юрий, выслушав Виктора Чемовского, сразу понял: подкоп не удастся. Слишком много людей посвящены в это дело. Непременно кто-то донесет. А раз так, почему бы не донести первым? Тогда можно освободиться досрочно и продолжать борьбу за строительство истинного коммунизма.

С его мнением согласились, и Чеховский приступил к переговорам с КГБ об условиях предательства: досрочное освобождение, устройство на работу и учебу и т. д. Момент наступил - "товар" был продан. Однако он оказался подержанным. Освободиться любой ценой хотели многие. Бригадир Гургишвили, когда-то за что-то награжденный орденом Ленина, во время ремонта склада обнаружил подземный ход и доложил КГБ. В это же время молодой латыш Шуберманис, получив предложение участвовать в побеге, сразу же сообщил об этом своему земляку, майору КГБ Мелнзобу. Кагебисты могли быть довольны - есть зэки, готовые выслужиться. Заговорщики заметили неладное и прекратили работу... Пошли взаимные обвинения в предательстве, и Макаренко заподозрили в том, что он продал.

КГБ начал действовать. Провели поголовные обыски: может, кто-то еще знал о побеге и не донес. Забрали всех участников предполагавшегося побега и повезли в Пермь на следствие. "Обрабатывали" каждого в отдельности. Форма "обработки" -

стандартная:

- Вы участвовали в подготовке к побегу. За это полагается дополнительно три года заключения. Если поможете нам, суда не будет!

Кто соглашался, кто - нет. Суд не состоялся: могло всплыть, что подкоп спровоцирован. Чемовский и Чеховский стали агентами КГБ, Макаренко и Алексеев - его врагами. Но те и другие молчали. Я узнал обо всем от Макаренко. Видно, он искал во мне моральной поддержки. Однако становилось ясным, что в наши дела его посвящать нельзя. Можно лишь приглашать на праздники. Но Хаим был против этого:

- Нашли кого жалеть! Да он хитрее нас всех! Ясно, что ему что-то от нас надо! Это все враки: он не еврей!

Шабтай, который несмотря ни на что видел в Макаренко друга, был возмущен:

- Кто дал тебе право сортировать: еврей - не еврей? Еще не известно, какой ты сам еврей! И срок получил не за сионизм, а за какую-то антисоветскую статью!

Так складывался своеобразный "треугольник" Шабтай- Яныч-Хаим. Я оказался между ними и попадало мне от всех троих. Особенно когда из внутренней тюрьмы освободили Ури. В свое время он возглавлял группу, в которой состоял Хаим, и под его влиянием ребята заинтересовались еврейскими делами. Сразу же после приезда в Мордовский лагерь он лезвием бритвы сам сделал себе брит-мила (обрезание). Об этом передавали из лагеря в лагерь.

Перед самым этапом из Мордовии на Урал Ури среди вольнонаемных опознал предателя Мартынова и не счел нужным молчать. За это его посадили на полгода в ПКТ, сфабриковав обвинение в том, что он систематически выключает радиопередачи из Москвы. На Урале к нему снова придрались и посадили в ПКТ. Выйдя оттуда, он вновь оказался в центре борьбы. Хотя он и решил стать верующим евреем, выполнение заповедей было ему в тягость. Больше интересовался философской стороной иудаизма. В жизни он оставался антисоветчиком. Возможно, это объяснялось бунтом против отца, фанатичного коммуниста, которого даже арест сына не изменил: он носил письма Ури на проверку в КГБ. Я замечал такой феномен в лагере. У многих диссидентов отправной точкой служило враждебное отношение к родителям-коммунистам.

Заметив, что Ури работает по субботам, я пытался доказать ему, что исполнение заповедей неотъемлемо от иудаизма. Верующий еврей не может жить одними философскими изысканиями. Только вера даст нам силы выбраться отсюда. И главное: у нас в Израиле родятся дети, которые будут лучше нас. Они вырастут настоящими евреями. Однако мои слова его не впечатляли. Его влекла борьба. Ежедневно он писал десятки заявлений, едва ли не больше, чем Макаренко. На этой почве они сблизились, что очень не нравилось Хаиму. Ему казалось, что Яныч хочет вовлечь Ури в антисоветскую деятельность, чтобы погубить его. Отсюда возникло подозрение:

- Макаренко - явный агент КГБ. Видишь, он часто ходит туда на прием!

- Будь он агентом, не ходил бы открыто! - возражал Шабтай.

- Все эти заявления - провокация КГБ, - не успокаивался Хаим. - Как будто заявлениями можно что-то исправить!

- Но ведь ты знаешь, что Макаренко так не считает!

Через несколько дней Хаим опять за свое:

- Видели, Макаренко получает питание как больной. Это плата за услуги. Просто так не дадут!

- Оставь, пожалуйста! - пытались ему возражать. - Больничное питание получают и другие политические. Все они агенты? Если судить о человеке по тому, сколько хлеба с маргарином он съедает, нас первых заподозрят! (Нам удавалось покупать хлеб, маргарин и сахар.)

- Все равно он агент, хотя и не могу доказать!

- Получается, сперва решишь, что он стукач, а потом ищешь доказательства. Слушай, брось собирать слухи!

Действительно, распространение слухов об агентах КГБ создавало тяжелую обстановку в лагере. Ясно, что доказательств все равно не найти. Осведомителей-стариков знали: они работали грубо. Другим подозреваемым не доверяли до конца.

Наступил Пурим. Решили праздник провести вместе, хотя жили в разных бараках и находиться в чужом запрещалось. Существовало несколько возможностей собраться: либо расположиться у какого-нибудь барака прямо на земле, либо в строящемся помещении для обысков, либо в столовой. Но на земле нельзя - снег еще не растаял; дом для обысков к Пуриму успели достроить, разобрать и перевезти в рабочую зону; столовую запирали. Выход один - просить разрешения у начальства. В Правилах говорится, что начальник "может" разрешить посещение чужого барака. Может, но вовсе не "обязан". К несчастью, заключенный Бергман рассказал дежурному офицеру о наступающем еврейском "милитаристском" празднике в честь разгрома иноверцев. В этот день якобы принято нападать на гоев и избивать их. Не знаю, почему Бергман выложил эту ложную версию капитану Раку: то ли из-за болтливости, то ли из желания выслужиться.

Лейзер Бергман был любопытным типом. Он родился в 1922 году в Кишиневе в семье артистки еврейского театра. Учился в хедере и в училище для канторов. Когда советская власть пришла в Бессарабию, жизнь резко изменилась... В 1948 году он впервые был осужден за какое-то уголовное преступление. С тех пор прочно поселился в лагерях: то продлевали срок, то получал новый, как это произошло в 1956 и в 1960 годах, когда его обвинили в антисоветской деятельности. Насколько я сумел понять из его отрывочных рассказов, он проиграл в карты воровскую кассу. За это ему полагалась смерть. Тогда он написал антисоветские листовки и запустил их на надувном шаре за забор. Листовки собрали. Они были примитивны по содержанию, но по почерку узнали автора, "пришили" ему антисоветскую пропаганду,

добавили срок и отправили в другой лагерь как политзаключенного. Так он спасся. Многие уголовники избавляются таким способом от суровых наказаний воровского мира.

Говорят, что Лейзер когда-то был "вором в законе" и его боялись заключенные. Это похоже на правду. Даже сейчас он выглядел сильным, волевым и энергичным человеком; принадлежал к лагерной знати, состоящей из воров и бывших полицаев. С политическими предпочитал не иметь ничего общего. С ворами он пил чай, играл в "чертей" и вел задушевные разговоры.

- Ну, Петя, - бодро кричал он бывшему полицая, - сколько жидов убил? Да ладно, не ври! Убивал ведь! Сколько? Сто? Двести? Хорошо, я же прощаю! Пошли в "чертей" играть!

За такие кощунственные слова его нужно было бойкотировать, но мы его терпели. Так уж устроен мир: человек слушает и не слышит. Более того, мы пытались завязать с ним дружеские связи, ходили к нему на чай, и он показывал нам фотографии многочисленных родственников из Израиля. Выходит, у него на Израиль такие же права, как и у нас?..

Однажды, в день смерти матери, Бергман, стоя на заснеженном заводском дворе, поднял глаза к небу и запел поминальную молитву. В этой его канторской молитве, столь неожиданной для нас и необычной под уральским небом, слышался такой крик души, что невольно думалось о том, что он плачет о своей пропащей судьбе и о матери, опозоренной и сломленной им. В его глазах стояли слезы. Он кончил молитву, повернулся и быстро зашагал прочь. Однако ничто не помешало "ему засадить в ПКТ Гришу и Шабтая. Но об этом позже. А пока он нас "технически заложил" - не то чтобы донес, а просто, обсуждая с дежурным офицером, капитаном Раком, результаты матча футбольной команды "Днестр", посвятил его в "секреты сионских мудрецов".

Капитан Рак был ниже среднего роста, и поэтому носил обувь на высоких каблуках. Черные волосы, черные круглые глаза, черные маленькие усики. Говорил с нерусским акцентом. Что до его национальности, мнения расходились. Одни утверждали, что он еврей, другие "увольняли" его из евреев и производили в цыгана или румына. Сам же он намекал на свое украинское происхождение. Но все сходились в одном: такого негодяя в зоне придется поискать. Лучший ученик Федорова, только более настырный, чем его учитель. Он не ленился влезать в мельчайшие подробности жизни заключенного. Ни одно нарушение Правил не проходило мимо него. Особенно придирался к политическим.

Однажды политзаключенный Дмитрук краем рваной рубахи зацепился за вал токарного станка. Последним усилием воли ему удалось вырваться из когтей смерти. Окровавленный и обессиленный, он лежал у станка. На место происшествия явился капитан Рак. Подошел не к Дмитруку, а к окровавленным лохмотьям, и принялся в них рыться. Торжествующе улыбаясь, вытащил бумажку с какими-то записями и, довольный добычей, удалился.

В нем не было ничего человеческого. Он преследовал всех, но к евреям испытывал

особое чувство. Когда говорил с нами, кривая улыбка не сходила с его губ, а руки нервно перебирали пряжку офицерского ремня. Со временем мы нашли способ "обезвреживать капитана: избегать всяких разговоров с ним. Обычно он завязывал беседу с заключенным и провоцировал его на оскорбление. Потом с удовлетворением заявлял:

- Так, теперь составим акт. Фабула уже имеется!

За это он получил кличку "Фабула".

Леха Сафронов писал на стене барака: "Фабула, тебе не быть капитаном!" Ошибся. Маленький Рак из старшего лейтенанта вырос в капитана. К своим обязанностям относился ревностно:

- Что у вас на голове, Менделевич?

Раньше я объяснил бы ему. Теперь ответил:

- Разве не видите?

- Снять немедленно!

Я подчиняюсь: снимаю кипу, тут же надеваю шапку и выхожу во двор. Рак разочарован - провокация не удалась.

Вот этому-то капитану Лейзер Бергман по-дружески рассказывал о наших праздниках. Неудивительно, что в Пурим в зоне усилился надзор. Ждали начала нашего сбора. А мы старались достать самые лучшие продукты. Марку после свидания удалось пронести в зону два апельсина и плитку молочного шоколада. Я получил свою килограммовую посылку (одну в полгода): мацу и полкило сухой сои. Сою сварили с рыбой, которую мы не ели в столовой, а специально оставляли для праздника. Раздобыли белый хлеб. Итак, праздник будет на славу. Дело лишь за "малым": заявить начальству, что хотим, мол, праздновать. Просить никто не хотел - это унижение. Меня же несколько не унижало, и я отправился в штаб зоны. Несмотря на выходной все были в сборе: Федоров, Котов, Журавков. Сидя вокруг стола, они выжидающе уставились на меня.

- Прошу разрешения собраться, чтобы отметить праздник Пурим.

- Что это еще за праздник?

- Национальный еврейский праздник в память о событиях, происшедших свыше двух тысяч лет назад.

- Расскажите подробно!

И вот под недремлющим оком советской власти оказались Мордехай и Эстер. Живи они в наше время, попали бы в лагерь за свой национализм.

- А что вы собираетесь делать вместе?

- Устроим праздничный стол.

- Откуда у вас продукты?

- То, что вы нам даете!

- Разве из этого устроишь праздник?

Ага, попался, - думаю я, - сами признаете, что кормите нас отходами!

- Но для нас еда не главное.

- А еще что будете делать?

- Больше ничего

- А этот праздник не военный?!

- Обычный праздник, не имеющий отношения к войне. (Да, сработала информация Лейзера!)

- Хорошо, подумаем! Ответ получите от капитана Рака.

Федоров наклоняется к Котову и что-то шепчет.

- Ну-ка, дайте сюда свой бушлат, - приказывает мне Котов.

Снимаю и даю ему.

- А это что такое? - показывает на карманы, которые я сам пришил к внутренней стороне бушлата.

- Это карманы, чтобы руки засунуть, а то мерзнут.

- Вы нарушили Правила. Карманы не положены. Ступайте, и пока не уберете карманы, разрешения не получите.

Отправляюсь срезать карманы - придется померзнуть ради Пурима. В час дня вызывают к капитану Раку.

- Правилами запрещаются сборища в религиозных целях. Пурим является сионистским праздником, направленным на разжигание войн и национальной розни.

Выхожу из комнаты дежурного. Что делать? Уже и Пурим для них - политическая акция!

Каждый решил встречать праздник в своем бараке. Как только уселись, прибежал Рак. Рыскает глазами. Придраться не к чему. Все из одного барака. Чужих нет. Пьем чай и веселы. Это его больше всего раздражало. Несмотря ни на что евреи празднуют и веселятся. Досадно!

Мы вышли во двор, встретились с евреями из других барачков, и я рассказывал об истории праздника. Многие ее не знали. Потом пели, а я устроил "пуримшпиль" наподобие того, который написал еще до ареста, в Риге. А ведь "пуримшпиль" в нашем лагерном царстве мог произойти в любое время.

Вот сейчас Ури отправили в карцер. Он так увлекся заявлениями, что потерял чувство меры. Во всем его поведении было столько неприкрытой враждебности, что это сразу настраивало против него тюремщиков.

- Вы почему не бреете бороду?

- А чаво? - прикидывался дурачком Ури.

- Как вы разговариваете?

- А никак!

- Вам известно, что положено бриться!

- Чаво?

- Идите! Получите карцер!

- Зачем, гражданин начальник? Я ведь ничего!

В карцере его продержали целый месяц за то, что уже будучи там, написал очередную жалобу. И подходящий повод нашелся. Вызвали к Котову в кабинет и приказали снять ермолку. Он отказался. Так получил новое наказание.

К тому времени карцер в результате многочисленных жалоб был перестроен. Первым, кто изведал "сладость" обновленного федоровского карцера, был Ури. Бетонный склеп без окна, параша на двенадцать литров; ни стола, ни сидения. Спать только в отведенное время. За сон на полу днем - продление срока. Ури наказали не за сон, а за то, что он не смог вынести парашу - ослаб от голода. Срок пребывания в карцере во второй раз он получил за обнаруженный при обыске стержень авторучки.

За все "проступки": за разоблачение провокатора Мартынова, участие в кампании жалоб, нарушение карцерного режима Ури судили. Обвинение гласило: "Злостно нарушает режим, систематически не выполняет норму выработки на заводе, не встал на путь исправления, поддерживает отношения с отрицательными элементами, оказывает дурное влияние на окружающих". Приговор: три года тюремного заключения. Но если расшифровать эти общие слова обвинительного приговора, то получится, что дополнительный срок заключения Ури получил за следующее: за ношение ермолки, невынос параша, хранение стержня авторучки, за невыполнение работы, вообще не производившейся на заводе, за верность своим убеждениям, отказ от советского гражданства, за дружбу с сионистами и разговоры об отъезде в Израиль. Таким образом, Ури - "преступник" уже самим своим существованием.

Приближался Песах. В моем распоряжении всего лишь один килограмм мацы, а надо есть восемь дней восьмерым. Неожиданно вызвали в комендатуру и сообщили:

- Вам всем прибыла посылка мацы по фунту на каждого. Прислал член английского парламента. Но выдать ее не положено, потому что не прошло полгода со дня получения предыдущей.

Мацу оставили на складе. Через несколько месяцев нас уведомили о том, что она сгорела во время пожара. Там, на складе, хранились гражданские вещи заключенных. Пожар не гасили. Начальству неохота, а арестанты радовались яркому пламени, не зная, что там находятся их вещи. А пламя действительно красивое - красное с черным. Смотрел на него и думал: может, из-за мацы оно такое?..

Итак, мацы хватит только на один день - первый. Некогда нам и собраться - ведь мы работаем в разные смены и в течение дня не встречаемся. Единственный выход - устроить все в промежутке между сменами за тридцать пять минут. Я лучше других умею вести Седер. Мы с Хаимом решили, что первый Седер, как бы трудно ни было, нужно делать для всех, а второй постараемся провести по всем правилам, по Агаде.

Вечером, в Песах, первая смена кинулась к месту между двумя бараками, где их ждала вторая смена. У меня все уже было готово. Написал сокращенный вариант Агады - не оставлять же евреев без праздника! Я страшно волновался: что если не успею, нагрянут тюремщики и нас разгонят? К счастью, все обошлось, и даже под конец спели "Хад гадыя"¹. Потом продолжали праздновать с теми, кто был свободен. Сам я в тот день уклонился от работы.

Я вспомнил рассказ отца о том, как мой дед вечером в Песах выливал на пол ведро воды, надевал дорожную одежду, брал в руки палку и переходил водный поток - в знак перехода евреев через Красное море. Марку это очень понравилось - ведь мы сами совершали исход. И хотя нам предстояло блуждать в холодной пустыне, мы верили, что вступим на Землю Израиля. И в "будущем году в Иерусалиме" звучало как символ нашей веры. На следующий день мы с Хаимом провели пасхальный Седер так, что я мог с чувством удовлетворения сказать: "Завершен пасхальный Седер по всем предписаниям о нем".

Трудность заключалась для нас не в исполнении заповедей, а в невозможности их исполнить. Каким несчастным я чувствовал себя, если не мог помолиться с утра из-за придинок надзирателей или не мог как следует соблюдать субботу и вынужден был в темном углу, на старых досках молча молиться. Я старался, чтобы в субботу собирались все евреи. Хаим не раз предлагал мне проводить субботу вдвоем. Так гораздо легче - мы жили в одном бараке. Но я любил своих товарищей и хотел быть с ними. Поэтому мы забивались в какой-нибудь закуток, отмечали субботу и напряженно прислушивались к тому, что делается снаружи, боясь, как бы нас не обнаружили. И, может быть, в этом тревожном прислушивании также таилась своя неповторимая особенность. Поскольку темнело поздно, приходилось встречать субботу еще до появления звезд и свечи зажигать заранее. В бутылочку с подсолнечным маслом вставляли фитиль. Светильник был маленький, чтобы догорел раньше, чем придут надзиратели.

По лагерным стандартам в субботу мы были неплохо обеспечены едой. На всю нашу братию приходились одна или две банки рыбных консервов. Их нам доставлял Шура. Это был солдат, служивший в Германии и пытавшийся бежать за границу. За это его осудили на десять лет. Благодаря своей пронырливости он втерся в доверие к продавцу лагерного магазина и мог покупать у него небольшое количество продуктов.

Согласно Правилам, заключенному на строгом режиме разрешается приобретать продуктов на пять рублей в месяц: маргарин, карамель, чай, сигареты, повидло, рыбные консервы, лук, сухари. Таким образом, на день приходится двадцать пять граммов маргарина, пять сигарет и ложка повидла. И это хорошо, потому что в Потьме выходило в два раза меньше. При условии, что тебя не лишили права на покупку: не то сказал, не так повернулся - и ложка повидла потеряна.

Однажды за отказ идти на урок коммунистического воспитания нас лишили права покупок, пришлось использовать деньги, припрятанные на черный день. Я пошел к старой бане и вытащил из щели между бревнами небольшой сверток, обернутый в полиэтилен, и, озираясь по сторонам, достал сто рублей. Получил я их от отца, сумел пронести в зону и запрятать. Теперь я вложил их между двумя склеенными страницами и книгу отдал Зеэву. Тот вручил деньги Шура. Такие заказы выполняются по двойной, а иногда и тройной цене. Шура, перетаскивая в магазине тяжелые ящики, незаметно сунул деньги продавцу. Через день Зеэв принес покупки. Шура, естественно, положил в свой карман почти половину суммы - он играл в карты и деньги ему были нужны. Жаловаться некому. Ведь ты сознательно прибегаешь к этой одной из немногих возможностей раздобыть продукты.

В лагере такая "операция" - не только забота о своем желудке, но и одна из форм сопротивления насилию. Нас хотят наказать за то, что мы соблюдаем субботу, а мы вопреки всему собираемся за субботним столом. Мне доверили делить продукты. И вот я сижу над пачкой маргарина и распределяю его на равные доли. Часть надо передать в ШИЗО - Ашер Фролов получил десять суток за невыполнение нормы. Для этого предстоит договориться с литовцем Антанасом. Платы он не требует и в принципе не отказывается помочь, но каждый раз почему-то не выходит... Его можно понять - жаль терять хорошую должность. Ее получают только с разрешения КГБ, и Антанас ведет двойную игру - обманывает и нас, и КГБ.

Да, тут целая наука: бесконечные переговоры о деньгах, закупках, передачах. Сегодня маргарин, завтра книги, послезавтра информация на Запад.

Но начальство тоже понимает, что получение продуктов - это вид борьбы. И оно борется. Запрещает своим людям торговать с нами. Тогда вступает в дело Михаил Садо. Он тоже на хорошем счету - редкое для политзаключенного явление. Скорее всего он агент КГБ, но крупный агент и играет крупно. Он покупает непосредственно у надзирателей. Если кто-то из родных приезжает, он берется пронести в зону часть продуктов. Не сам - за него это делает обычно дежурный надзиратель. Ночью. Садо помогает нам для того, чтобы завоевать доверие, и еще ради самой игры. Вот принес что-то, потом месячный перерыв - следят, мол. И мы вынуждены терпеть, поддерживать с ним дружеские отношения. Со временем начинаешь думать: а может, лучше назвать вещи своими именами и кончить игру?

Если зэк ухитрился обходным маневром достать продукты, ему еще рано торжествовать. Как только начальство узнает, лишат права на покупки или посадят в карцер на голодный паек.

Между тем продолжалась история с Лейзером. Поскольку мы стали больше общаться с ним, он принялся оказывать нам мелкие услуги. У него всегда имелись запасы продуктов, которые он получал от ментов. Лейзер согласился продавать нам эти излишки. Как-то Шабтай меня спросил:

- Бергман говорит, что есть возможность передать информацию из лагеря. Как ты думаешь, можно ему доверять?

- А как он передаст?

- Женщина из бухгалтерии уже переправила на волю его письма. Наши она тоже беретса отправить: бросит в почтовый вагон поезда, который проходит через станцию Чусовая. Нужно попробовать! Давно ничего не удавалось переправить без цензуры!

И мы попробовали. Шабтай составил хронику лагерных событий, а Гриша прибавил несколько своих заявлений, вложил в конверт и отдал Бергману. Спустя некоторое время Лейзер сказал, что письмо отправлено. Однако условный ответ не пришел, и мы забеспокоились. Месяца через два вызвали поочередно Гришу, Шабтая и Лейзера и предъявили им изъятые письма.

- Как вы это отправляли?

- Обычным порядком. Через цензора.

- Нет, цензор не помнит этого письма. Вы пытались в нарушение закона переслать письма из зоны. За это положено ПКТ!

Самое тяжелое не столько получить наказание, сколько его ожидать. Грише повезло - его сразу посадили в ПКТ на четыре месяца. В знак протеста он объявил голодовку. Однако через несколько дней ему стало так плохо, что явился врач Петров. Ночью несколько евреев собрались около забора, отделявшего штрафной изолятор от лагеря. Из ворот ШИЗО вышел капитан Рак. Заметив группу эков, он испугался и отступил назад. Позвонил на вахту и спустя некоторое время вышел в сопровождении двух здоровенных охранников.

- Что с Беленьким? - спросили у него.

- Ничего особенного. Доктор Петров говорит, что у него здоровое сердце, а боль - от нервов и оттого, что он голодает. Начнет есть, сразу станет лучше. А теперь немедленно разойдитесь! Собираться группами больше трех запрещено!

Подчинились. На следующий день нескольких человек, стоявших у ворот ШИЗО, вызвали в оперативную часть:

- Получен рапорт капитана Рака. Вы пытались захватить ШИЗО, чтобы освободить Беленького. Это бунт. Пойдете под суд! Вот прочтите и распишитесь, что вы ознакомлены с соответствующим законом.

Высшей мерой наказания в этом случае является расстрел. Все как один отказались подписать:

- Это провокация. Откуда капитану знать, какие у нас были намерения? Он что - мысли читает?

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не оплошность Рака, написавшего в рапорте, что у ворот находился Дымшиц. Когда вызвали Марка, он заявил:

- Жаль, что я там не был. Надо было, действительно, захватить ШИЗО, но я в это время работал!

У него оказалось стопроцентное алиби: вечером он был на заводе. Рак спутал его с кем-то другим.

Донесению Рака не дали хода. Расследование проводилось, а Гриша лежал в вонючем карцере на оплеванном полу и хватал ртом воздух.

- Голодаешь? Давай, давай! Чем раньше подохнешь, тем лучше, - издевались надзиратели.

Однако смерть известного политзаключенного не входит в планы начальства, и поэтому Гришу перевели в медчасть. Происходило это так: впереди шествовал доктор Петров, за ним два здоровенных надзирателя волокли по земле беспомощного, больного зэка. А он кричал:

- Сволочи! Негодяи! Я сорок лет строил коммунизм! Учил и воспитывал ваших детей, а вы?

Пока Гриша находился в карцере, а потом в медчасти, выяснились некоторые обстоятельства: став членом нашей группы, он не порывал с диссидентами и украинцами. Это рассматривалось как нарушение нашей договоренности и подвергало всех нас опасности. Мы решили не посвящать его больше в наши дела. Но если захочет, он может посещать уроки иврита, истории, читать письма, которые мы получаем, и присутствовать на праздниках. Многие из нашей группы сохранили с ним дружеские отношения. Я тоже. Как только Гриша вышел из больницы, он отправился к Лейзеру.

- Гриша, что ты делаешь, ведь он предатель!

- Не может быть! Он такой добрый! Он принес мне молоко!

- Но ведь он заложил тебя и Шабтая!

Куда там! Гриша только повторял:

- Быть не может, быть не может!

Однажды после перерыва Шабтая приказали не возвращаться на рабочее место. Это могло означать либо свидание с родными, либо этап. Но мы ошиблись: ни то, ни другое. Карцер. За то же самое письмо, которое они с Гришей передали через Лейзера. Во внутреннюю тюрьму его отправили в тот день, когда к нему приехал на свидание семидесятивосьмилетний отец, в прошлом полковник медицинской службы. Старик три года не видел сына. Котов знал, что предстоит свидание. Он мог отложить

наказание или отменить приезд отца. Но зачем себя беспокоить? С врагом надо поступать как с врагом. Это издевательство было тяжелее, чем карцер. Шабтай объявил голодовку и продолжал ее восемь суток. Конечно, нужно было поддержать его, но голодовки стали таким частым явлением в лагере, что в их действительности сомневались. А Гриша все еще верил, что Лейзер порядочный человек. Тяжко даже подумать, что твой соплеменник доносит на тебя.

Шабтай вышел из ПКТ, Гриша находился последние дни в лагере. За постоянные жалобы его собирались отправить в тюрьму.

После работы вдруг вызывают по списку: Менделевич, Дымшиц... к начальству. Все евреи, кроме Брауна и Садо - местные антисемиты не разборчивы. Если фамилия или нос нерусские - значит, еврей. По этим признакам с нами оказались немец Браун и ассириец Садо.

Журавков открыл собрание:

- Сионисты расхваливают хорошую жизнь в Израиле, но многие после приезда туда убеждаются в обмане и просят разрешения вернуться обратно. К нам приехал товарищ Зельцер, недавно из Израиля. Сейчас он вам обо всем сам расскажет.

Мужчина с приятными чертами лица начал:

- Могу вас заверить, что в Израиле с голоду не умирают. Я получал хорошую зарплату. Но Израиль чужая для меня страна. Там человека не уважают, о достоинствах судят по счету в банке...

В таком духе он продолжал довольно долго. Показал фотографии киосков, где продают порнографические журналы: "Вот какое моральное разложение". Его рассказ не произвел на нас никакого впечатления. Мы и сами знали, что в Израиле не все гладко. Нам хотелось бы знать одно: в какой мере он завербован КГБ. Мы устроили ему перекрестный допрос. Желая купить наше доверие, он вынужден был отвечать на вопросы.

- У вас есть родные в России?

- Да, оставался сын со своей семьей. (А, значит власти имели заложников!)

- Почему вы решили возвратиться?

- Моя жена тяжело переживала разлуку с сыном. Он звонил и просил вернуться. (Странно, ведь для такого возвращения нужна санкция КГБ! Может, власти шантажировали сына?)

- Вы сразу решили вернуться?

- Да. И сразу же возникла стена ненависти и отчуждения. Всех наших знакомых предупредили: "С Зельцером не разговаривайте. Он агент КГБ!"

Офицер, который привез его в лагерь, занервничал:

- Задавайте вопросы о жизни в Израиле, а не о его личной жизни!

- Да чего там спрашивать, - поднялся Макаренко со своего места. - Ясно, вы его запугали, и теперь он говорит все, что ему приказывают. Не хочу слушать эту брехню!

Яныч вышел. Так закончилась попытка перевоспитания. Поведение Макаренко удивило меня: ведь ни до ни после этой "беседы" он не считал себя сионистом. Даже когда нежданно-негаданно получил письмо из Израиля, от сестры. Оказывается, Лев Коренблит, освободившись и приехав в Израиль, разыскал его семью. Во время войны им удалось уцелеть и в сорок восьмом перебраться в Израиль. Отец Яныча умер в семьдесят первом. Это было первое и последнее письмо от сестры. Больше Макаренко ничего не получал. Неизвестно, по чьей вине...

Через несколько лет после "спектакля" с Зельцером в лагере оказался еврей из Риги, ученый-математик. Когда я рассказал ему о той давней встрече, он вспомнил, что его друга вызвали как-то в партком и спросили: "Хотите прогуляться в Израиль? Вы там немного поживете, а потом вернетесь и расскажете, как плохо там было!" Друг отказался. Вероятно, боялся осложнений. Ведь в сталинские времена коммунистов, бежавших в Россию, арестовывали и расстреливали, как "агентов Запада".

...Хаима посадили в ПКТ на четыре месяца за систематическое сопротивление и отказ бриться. Но, видно, решили не слишком морить его голодом. Учили, что ему скоро освободиться, и, может быть, поэтому, когда он заболел, его перевели в больницу. Она находилась прямо в зоне, так что я умудрялся навещать его. Правда, за это меня могли отправить в карцер, а Хаима выбросить из больницы. Но невыносимо тяжело одному, не с кем словом перемолвиться. Каждый из нас так нуждается в человеческом тепле! В лагере оно на вес золота. Родные далеко, а друзья... Немало усилий нужно приложить для того, чтобы почувствовать друга в человеке, который рядом. Ты ведь окружен врагами и инстинктивно боишься всякого. И так живешь годами...

Йом-Кипур 1973 года выпал на субботу. Я, "великий знаток закона", когда-то слышал, что в субботу не постятся, и решил перенести пост на пятницу. Отработал за субботу на разгрузке угля и поэтому был свободен. Отправился к Хаиму. Он ждал меня на крыльце медчасти. Мы залюбовались синевой неба и зеленью раскидистого дерева. В лагере обострено восприятие природы. Вдруг мы увидели радугу, как бы пронизывшую небо. О чем говорит этот знак завета? Только к вечеру мы узнали: египетские войска форсировали Суэцкий канал и на нескольких участках прорвали линию Бар-Лева. Мы горячо обсуждали последние известия, переданные по московскому радио. Главные "специалисты", Дымшиц и Шабтай, заявили в один голос: "Советская пропаганда". Внимание всего лагеря было приковано к нам. На следующий день сообщения об успехах египетских войск повторились, но в полдень радио выключили в тот момент, когда перешли к событиям на Ближнем Востоке.

Я отправился к дежурному:

- Почему выключили радио? А еще говорите о воспитательной работе! Сами же нарушаете свои установки!

Он понял свое проигрышное положение:

- Ладно! Узнаю, в чем дело! Зайдите через полчаса. Когда я опять пришел, он напустился на меня:

- Зачем вы затеяли этот разговор в присутствии других? Провоцируете? Вам это даром не пройдет!

Но мне было все равно: тут война идет, а он мне угрожает! Два дня репродуктор молчал. Знали как досадить нам. А своим приближенным рассказывали, что по телевизору видели горящие израильские танки. В лагере умышленно распространялись слухи о поражении израильских войск. Нас хотели лишить последней надежды.

И тут, как всегда вовремя, приехали папа с мамой. Папа выглядел плохо. До приезда ко мне он все время лежал. Я тогда не предполагал, что это мое последнее свидание с ним. Все было исполнено глубокого смысла: встреча с отцом, праздники, война... Во всем ощущался привкус горечи. От папы я узнал, что происходит на фронте: о нашем отступлении, о потерях, о речи Голды. А мы-то думали, что советское радио всегда врет!

На свидание я пронес с собой "Хронику лагерных событий", чтобы переписать на волю. Но в числе новостей, которые он мне передал, была одна, изменившая мое первоначальное решение: КГБ заподозрил жену одного заключенного в том, что она вынесла из зоны записи. Ее обыскали, избили и пригрозили арестом. И тогда я понял, что не вправе передать отцу "Хронику". Я мог рисковать собой, но не отцом. Даже учитывая, что свидание мне давали лишь раз в году и это редчайшая возможность связаться с волей, я решил отца под удар не ставить. Хорошо, что он не знал о моем грузе, иначе настоял бы на том, чтобы его получить. Ночью, когда родители спали, я вышел в туалет и там уничтожил бумаги. Слово камень свалился с моих плеч: главное, чтобы папа был жив и невредим. Я настаивал на его отъезде в Израиль.

В Риге обстановка вокруг отца накалялась: местные власти травили его, шантажировали и запугивали. А сосед по квартире напал на него и ударил утюгом по голове. В больнице поставили диагноз: сотрясение мозга. Выйдя из больницы, папа продолжал помогать тем, кто собирался в Израиль. Дом с утра до вечера был полон людьми, приходившими за советом. Отец и мать в свои шестьдесят с лишним лет переживали вторую молодость - настолько они были увлечены делом репатриации. В рижской газете об отце появилась статья, смысл которой сводился к тому, что вот, мол, агитирует других ехать в Израиль, а сам почему-то не едет.

Спустя некоторое время после появления этой статьи родителей вызвали в ОВИР. Тот самый полковник Кайя, который пророчил мне смерть в России, на этот раз улыбаясь сказал им:

- В 1970 году вы подали заявление на выезд в Израиль. Теперь можете ехать!

- Но я подавал заявление вместе с сыном. Отпустите его, и я уеду, - возразил отец.

- Ваш сын отбывает наказание.

- Я его буду ждать!

- Дайте ваши паспорта.

Ничего не подозревавший отец протянул ему оба паспорта.

- Больше вы их не получите! Вы лишаетесь советского гражданства и должны немедленно покинуть пределы СССР. Иначе выдворим силой!

Отец с мамой молча вышли из кабинета начальника ОВИРа. Дома они написали заявление: "Мы готовы выехать в Израиль, как только наш сын будет освобожден".

Видя, что папа не сдаётся, его начали преследовать: устраивать домашние аресты, вызывать в КГБ, угрожать тюрьмой.

Сердце не выдержало - очередной инфаркт и клиническая смерть. Через несколько месяцев, едва став на ноги, отец обратился за помощью к американским организациям. Г. Киссинджер несколько раз ходатайствовал за родителей перед советскими властями.

После свидания со мной предстояло слушание нашего дела в американском Конгрессе. Намечалась демонстрация. Отца вызвали в Управление милиции:

- Получайте свои паспорта! Только напишите заявление, что вы их получили, и распишитесь.

Отец заколебался - подписывать или нет? Мать шепнула:

- Скажи, что чувствуешь себя плохо. Когда они вышли, она стала убеждать папу ничего не подписывать:

- Ради нас собираются устроить демонстрацию. Поэтому нам и решили вернуть паспорта. Что же будет, если наши подписи попадут в Вашингтон? Там ведь не поймут, что происходит на самом деле, и решат, что мы их обманываем, заявляя о преследованиях. По-моему, не стоит ничего подписывать!

Мои смелые родители вернулись в кабинет:

- Когда вы у нас забрали паспорта, наших подписей не требовалось! Вот и отдайте без подписей!

- Не подпишете?

- Нет!

- Забирайте! - начальник в бешенстве швырнул паспорта.

- Если будете бросать, не возьмем!

Услужливый секретарь поднял с пола документы и передал их в руки родителей.

В таком нервном напряжении держали отца. Я не был согласен с ним, не думал, что его присутствие в Союзе могло помочь моему освобождению. Он, вероятно, понимал это не хуже меня, но его отцовское сердце не позволяло оставить меня в беде. Даже когда в течение шести лет я не получил ни одного свидания с ним, я чувствовал его

рядом со мной. И он действительно охранял меня. Ведь в лагере всегда существуют крайние позиции, а он своим незримым присутствием не давал мне впадать в крайности. Чего стоили его письма! Это и поток любви, и практические советы, и информация о международных событиях, и рассказы израильских писателей, и даже собственные стихи...

И вот закончилось свидание. Я не мог тогда предположить, что оно - последнее. Такого друга, как отец, у меня уже нет и не будет.

При выходе из дома свиданий меня тщательно обыскали. Яблоко, которое я захватил с собой, разрезали на куски: "А вдруг там рация?" Не найдя ничего, не отдали. Раздели догола. Рак исполнял свои обязанности как всегда рьяно:

- Мыло? Не положено! Зубная щетка? Отобрать! Что вы надели? Теплое белье? Отобрать! Вам теперь на Синае и без кальсон жарко! Скоро так драпанете, что штанов не успеете натянуть!

Я не оставался в долгу:

- Вам это только во сне может сниться. Наши солдаты не отступают!

- Да я сам по телевизору видел, как горят израильские танки, - возражал Рак.

- Ну, что, в Израиль уже не хочется? - подхватил другой мент.

- Израиль - моя родина, и независимо ни от чего я там буду!

- Ваш Израиль надо уничтожить. Это страна-агрессор!

- Нет, агрессор - Советский Союз, который оккупировал Чехословакию, и арабы, которые хотят оккупировать Израиль!

- Арабы не агрессоры! Они раньше там жили!

Тут я вспылел:

- Израиль - родина всех евреев, и жить там будет еврейский народ. У арабов достаточно своей собственной земли!

На этом спор прекратился. У меня отобрали вещи, продукты и отпустили.

Потом мы получили более точную информацию и поняли, что положение стабилизировалось. Каждый день папа посылал открытку с подробным описанием событий, причем сообщение он начинал такими словами: "Я читал в газете, что..." Получалось, что все, о чем он пишет, взято из советской прессы. Цензоры газет не читали, поэтому обман проходил незамеченным. Общую картину дополняли письма отца Зеэва. По мере того, как советские средства информации увеличивали количество убитых и раненых израильтян, антисемиты все больше и больше оживлялись. Подпрыгивая от радости, дагестанец Точиев кричал:

- Даяну второй глаз выколем! Голду Меир острижем наголо и утопим в море!

Наши друзья пытались ему объяснить, что на Ближнем Востоке главный провокатор - тот же Советский Союз, с которым он боролся в Дагестане. Но Точиев не унимался, не слушал:

- Всех жидов скинем в море!

Опьяненные радостью, антисемиты не заметили, как военные сводки стали меняться. Хотя и передавали о наступлении египтян, но по названию мест выяснялось, что наступление приостановлено. Подробные комментарии мы получали от наших экспертов - Марка и Шабтая. Даже в самые тяжелые моменты войны мы не сомневались в том, что это лишь временные неудачи. Единственное, что оставалось неясным, - когда начнется израильское наступление. Наш оптимизм питался верой в силу еврейского народа. Мы, конечно, не знали всех подробностей. В общем, война, наверное, выглядела не так, как мы это себе представляли. Но как бы то ни было, в Израиле гибли наши сверстники.

Здесь мне смерть не угрожала. И вот я решил хоть как-то принять участие в войне. Со дня ее начала я не ел ничего, кроме нескольких кусков черного хлеба в день. Шестнадцатого октября решил поститься. Составил специальную молитву. Я молился, стоя за углом барака, повернувшись лицом в сторону Израиля. Темная уральская ночь. Пронизывающий ветер. На глазах слезы...

"Благословен Ты, Б-г Вс-сильный, Царь вселенной, Б-г могучий и грозный, Властелин воинств - Имя Его! Надели силой и могуществом Армию Обороны Израиля и даруй победу над врагом с потерями наименьшими и спаси Твой народ, Израиль, и собери изгнанников его и изгнанников из России, и доставь меня и мою мать и отца на Землю Израиля, и даруй полное исцеление моему отцу Моше, сыну Аарона. Благословен Ты, Б-г, исцеляющий больных!"

Ребята с нетерпением ждали новостей. Неужели, действительно, отступают? Мы не могли понять, как получилось, что наших застали врасплох. Где же лучшие в мире разведка и служба информации? Каждый день весь лагерь собирался на площадке у репродуктора. Все напряженно прислушивались к сообщениям с Ближнего Востока. Мы, евреи, стояли в центре, под внимательным взглядом толпы. Вначале к нам подходили, спрашивали: "Ну, что будет?" Но с каждым днем редел круг эзков, слушавших радио. Теперь мы стояли одни. Кому охота иметь дело со слабыми? Только верные друзья, некоторые украинцы и литовцы, подходили подбодрить.

На следующее утро советское радио со ссылкой на Каир передало, что несколько израильских танков прорвались через Суэцкий канал, но были уничтожены. В лагере даже дезинформация является информацией. Стало ясно, что это начало перелома. Да! Наша армия начала наступление. Спустя несколько дней открытка от папы подтвердила наши предположения. Началось наступление израильтян на Дамаск и Каир. Нашей радости не было предела. Тут же на глазах у всех уселись пировать. Неевреи удивлялись: их бьют, а они веселятся! Ведь из советских газет явствовало, что скоро возьмут Тель-Авив. Не раз я задавал себе вопрос, как рядовой советский гражданин объясняет противоречивость информации? Очевидно, большинство верит всему написанному, а те, кто не верят, сидят в лагерях.

С утра до вечера мы занимались обсуждением событий. - Что будет, когда возьмем Каир? Дать ли египтянам демократические выборы и заставить Садата принять наши условия? Почему не добиваются капитуляции третьей египетской армии? Дойдет ли граница до Евфрата? Я особенно не спорил: лишь бы страна победила и не было больших жертв.

Когда мы узнали о потерях, которые понесли израильтяне, настроение изменилось - лучше бы без войны. В то время письма из Израиля доходили до нас очень хорошо. Очевидно, полагали, что в письмах будет описание неудач и это охладит наш пыл. Из писем я узнавал о докладе Аграната, о переговорах между Киссинджером и Садатом, Киссинджером и Голдой. Муж Ривки, Саша Друк, с боевыми частями перешел Суэцкий канал и писал мне оттуда. Там же находился муж старшей сестры, Элиягу Лисицын. Он обслуживал танковые части и за боевые заслуги получил повышение в звании. Всем своим существом я находился там, с моим народом, а не здесь, в горах Урала.

Война для меня кончилась двадцать четвертого ноября семьдесят третьего года, когда получил телеграмму от отца: "Элиягу и Саша вернулись домой". Я не помнил себя от радости и тут же устроил пир: вместе с Хаимом ели черные сухари. Черные - потому что от переполнявших меня чувств я не заметил, как они сгорели на огне. Хаим простил: он видел мое состояние. Но мы понимали, что война еще не окончена. Солдаты гибли на канале, а политики вели переговоры. Определенных результатов пока не было.

...Когда Хаим находился в больнице, Макаренко получил доступ на наши субботние встречи. Шабтай предложил, а я не возражал. Яныч оживился и сблизился с нами. Его участие в подготовке к субботе было очень ценным - в кулинарном искусстве с ним никто сравниться не мог. Он умел хорошо зажарить лук и приготовить торт из сухарей и маргарина. Его помощь оказалась необходимой и в тех случаях, когда надо было незаметно пронести еду на завод. В умении обманывать надзирателей не было ему равных.

Однажды, когда с наступлением темноты мы зажгли свечи и я сделал Кидуш², на завод явился дежурный офицер с солдатами. Вероятно, донесли, что мы встречаем субботу. Ворвались в боковое помещение, где мы собрались, и сфотографировали нас. Я понял тогда, что чувствовали мараны, когда их обнаруживала инквизиция. Но у нас имелось оправдание: мы ели во время перерыва. Официально он не был внесен в распорядок дня, но признавался начальством, и мы это знали. Поэтому дежурный лишь попугал нас и отменил перерыв, чтобы в будущем мы не могли им воспользоваться в своих целях.

Пронести еду на завод было легче, чем вынести оттуда что-нибудь. Обыскивали четыре раза в день. Снимали ботинки, ощупывали снизу доверху, но догола раздевали редко. Меня заботило лишь одно: каждый день вносить и выносить 600 карточек с ивритскими словами, а по субботам тексты псалмов и молитв. В субботу я не успевал молиться в жилой зоне и мне приходилось делать это в производственной. Здесь же я нашел место, куда прятать Сидур. Его привез отец

Зеева, и за большие деньги нам его передал надзиратель. Однако, поскольку у меня неоднократно отбирали молитвы и карточки со словами, начальство догадалось, что я проношу их на завод.

Так случилось и на этот раз. Я стоял за шкафчиками в раздевалке завода и молился. В это время в помещение с двух входов одновременно вошли Рак и прапорщик Прибытков. Путь к отступлению был отрезан. Обычно я наблюдал за входом и, заслышав шаги, успевал выйти из своего укрытия и спрятать листок с молитвой в карман. (Для удобства все молитвы и псалмы я переписал на маленькие листки бумаги.) Но сейчас я оказался в западне. Что делать? Сунуть листок в чью-нибудь одежду - шорох привлечет их внимание. Спрятать в сапог? Прикажут снять. Не выходить вообще? Невозможно. Лучше выйти, чем прятаться. Мое внезапное появление их вначале обескуражило, а потом вроде бы все прояснилось:

- Что, Менделевич, субботу справляли?

Я ответил вопросом на вопрос:

- Почему вы так считаете?

Главное, чтобы они не нашли листок с молитвой, который зажат в моем кулаке. Правда, весь текст утренней молитвы они не обнаружат. Из тайника я доставал только нужную очередную страницу.

Подходят ко мне неторопливо. Знают, что никуда не денусь. Прибытков - любитель щупать грязные носки - приседает на корточки и приступает к "работе". Сперва ощупывает ноги, потом - поясницу, потом залезает в карманы. Одежда на мне такая тонкая, что нет нужды раздеваться - любая бумажка сразу обнаружится.

Выпрямляется:

- Покажите руки!

Выхода нет: не подчинюсь - отберут, подчинюсь - тоже отберут. Открываю ладони, и они хватают листок. Им, конечно, хотелось, чтобы это был план заговора. Вертят бумажку со странными и непонятными буквами:

- Что это за шифр?

- Это не шифр, это иврит!

Прибытков ничего не понимает, но сует себе в карман:

- Ладно, разберемся. А ну, марш на рабочее место!

И так изо дня в день. В боковом помещении из окна виден вход, и можно наблюдать за передвижением надзирателей. Там мы обычно стояли на страже у окна, занимаясь своими запрещенными Правилами делами. Постоянное напряжение. Нужно умудриться пронести на завод карточки. Они настолько малы, что за поясом не прощупываются. Но однажды утром сержант Шаринов нечаянно засунул палец за мой пояс. Его лицо озарилось радостью человека, сделавшего великое открытие.

- Вот, оказывается, в чем секрет! Но нас, коммунистов, не обманешь! Вы хитрые, а мы хитрее вас!

Гордый своим профессиональным мастерством, он даже не написал на меня рапорт. Но я на несколько дней притаился. Ничего не вношу на завод и не выношу оттуда, ведь они теперь знают, где искать, и отберут мой словарь. К моему удивлению, Шаринов даже не сообщил начальству. Поняв это, я осмелел и принялся искать другой, более надежный способ. Нашел. И с тех пор оказался неуязвимым. Я достиг "верха совершенства" - уменьшил листочки в четыре раза и смог вносить и выносить по пятьсот слов: во рту, под шапкой, под мышками. Оставалось еще придумать, как слова переносить в носу. Однако последовавшие затем события охладили на время мой изобретательский пыл.

От отца стали приходить открытки, в которых он намекал на то, что советские солдаты в войну Судного Дня попали в плен к израильтянам. "Золотых рыбок" - таково условное название этих пленных - было больше восьмидесяти. Я понял, что речь идет о возможном обмене. Эти же сообщения подтверждались другими письмами. Мы каждый день обсуждали этот вариант освобождения. От мысли, что, может быть, через несколько дней мы будем в Иерусалиме, сладко замирало сердце. Марк готов был спорить на ящик вина, что нас освободят.

Желание выйти на волю было так велико, что я боялся разочарования. Сработал обратный механизм: я убеждал себя в том, что мне не на что надеяться. Происходило это почти бессознательно.

Мое отношение к предстоящему освобождению неоднократно менялось: в дни ареста я верил, что нас спасут любой ценой; затем, в первые годы заключения, я ждал освобождения терпеливо. Поскольку ничего не произошло, приходилось готовить себя к долгому сроку. Эволюция продолжалась и дальше. Не знаю, как другие, но я чувствовал свое бессилие. Повлиять на власти не могу. Должно быть, поэтому я решил построить свою жизнь на других основах, независимых от внешних факторов. Все это уже зрело во мне. Нужно только укрепиться в вере, исполнять обязанности перед Б-гом и надеяться на Него. Это давало мне ощущение внутренней свободы. Как бы ни была важна для меня моя собственная судьба, я всего лишь частица еврейского народа. Это сознание позволяло мне переступить через порог страха, сковывающего человека. Посадят в карцер? Ну и что, посижу в карцере! Лишат переписки с родственниками? Ну и что? Не буду получать писем! Могу навсегда остаться в лагере? Ничто в мире от этого не изменится! Человек все может выдержать! Тут есть, конечно, другая опасность - перестать бороться за свою жизнь. Но со мной такое не могло произойти. Я верил и знал, что есть смысл в моей жизни: служение Б-гу. Вот почему я принял как само собой разумеющееся обмен израильских пленников на сирийских и советских. О нас речь не шла. Я не мог понять огорчения тех, кто считал, что не следовало уступать сирийцам, а добиваться справедливого обмена. В конечном счете, там, на месте, виднее.

Я не вправе требовать, чтобы кто-то прежде всего заботился о моей судьбе. Однако большинство моих товарищей считало, что нам должна быть оказана максимальная помощь. Оптимисты упрекали меня: "Как ты можешь не верить в то, что евреи всего

мира борются за наше освобождение? Неужели ты считаешь, что братья могут забыть тебя?" Пессимисты утверждали: "Они обязаны нас спасти, но из-за политических разногласий и равнодушия не делается ничего". Я придерживался золотой середины: нет сомнения в том, что есть организации, выступающие в нашу защиту. Но у еврейского народа достаточно забот, чтобы думать только о нас. Кроме того, я не уверен, действительно ли они могут нам помочь. Вероятно, самое главное для них сейчас - вопрос алии. Если кто-то на самом деле борется за меня - отлично, если нет - буду тянуть свой срок. Я и не жду помощи ни от кого, кроме как от Б-га.

Живя в замкнутом пространстве, постоянно под прессом ограничений, человек настолько напряжен, что порой бывает достаточно малейшего повода для взрыва. Мне часто приходилось разряжать такие взрывоопасные ситуации. На этот раз дело касалось Хаима и Макаренко. Однажды из тридцать пятой зоны прибыл зэк и пустил слух, что, по мнению Буковского, Яныч - агент КГБ. Хаим давно уже так считал, и поэтому, не поставив нас в известность, он попросил выяснить у Буковского, какие имеются основания для такого обвинения. Пришел ответ, что конкретных доказательств нет, есть только подозрения. В лагере ничего не скроешь. Все на виду. Яныч узнал, что Хаим проводил "расследование" якобы по поручению группы. Но мы Хаиму ничего подобного не поручали. Ребята возмутились таким самоволием и решили исключить Хаима из группы: нет никакой гарантии, что он не сделает еще чего-то от нашего имени! Вспомнили, что однажды в рождественскую ночь Хаим явился к русским демократам и от имени евреев поздравил их с праздником.

- Правда, у нас с вами нет ничего общего, - заявил он. - Единственное, что нас объединяет, - это ненависть к советской власти!

Наутро Галансков, сердясь, спрашивал:

- С чего это он взял, что нас объединяет ненависть? И зачем вы его вообще к нам послали?

А ведь его никто не посылал. Он действовал по собственной инициативе и мог нам всем навредить. Ведь всякая отрицательная черта одного еврея приписывается всему народу.

Я был против исключения Хаима из нашей группы:

- Мы объединились не по политическим, а по национальным взглядам. Исключить Хаима равносильно отказу признать его евреем. Мы не вправе этого делать. К тому же он ведет себя как еврей. Не работает по субботам, старается соблюдать мицвот. Хаим заботливый товарищ. Ведет наше хозяйство. Никогда не берет себе лишнего. Наоборот, свое может отдать другому.

- Ты его защищаешь, потому что он религиозный,- укорял меня Шабтай. - Это опасный путь. Скоро докатишься до того, что все твои единомышленники - хорошие, а думающие иначе - плохие. Почти как у большевиков: "кто не с нами, тот против нас!"

- Нет, я за Хаима не потому, что он верующий. Одного этого мало. Каждый верующий должен нести людям мир, а не раздоры. И поэтому я осуждаю его поведение. Но он еврей, мой брат. Мы должны жить в лагере одной дружной семьей!

Я встретился с Хаимом и рассказал ему, что группа собирается обсудить его поступок и я сам осуждаю его поведение. Хаим понял свою вину. Более того - он понял и принял мою позицию. И ждал собрания. Надо сказать, что собрания мы вели "по всем правилам": объявляли повестку дня, выбирали председателя, устанавливали регламент, принимали резолюцию, причем в зависимости от важности вопроса заранее решали, какое число голосов проходит. Марка такие наши собрания возмущали:

- Надоели мне эти процедуры! Хватит с меня партсобраний! Наслушался их в армии!

Однако собрание состоялось. После споров, накала страстей, напомиавших, по меткому замечанию Зеэва, игру в парламент, я предложил: осудить Хаима за распространение ложных слухов. Впредь лишить его права выступать от имени евреев и рекомендовать ограничить контакты с неевреями. За Хаимом осталась обязанность обеспечения нас продуктами. Мы специально подчеркнули его заслуги в этом деле. Тяжело было смотреть на Хаима. Его бил озноб, и он чуть не плакал. Он поклялся самыми страшными клятвами, что не будет действовать во вред группе. Думаю, всем хотелось одного: поскорее с этим покончить. Проголосовали "за" и разошлись. После этого делегация отправилась к Макаренко извиняться. Но он был недоволен: "Пусть сам придет!"

На следующий день Макаренко всем рассказывал, что евреи изгнали Хаима из своей группы за то, что он распространяет слухи о нем как об агенте КГБ. Яныч при этом добавлял детали, которые знали только члены группы. Это означало утечку информации - кто-то из нас без разрешения вступает в переговоры с посторонними. Можно даже предположить - кто. Получалось, мы осудили одного за то, что дозволено другому? Мы не собирались выдавать Макаренко удостоверение в порядочности. Да и никто не мог бы этого сделать, особенно в отношении такой противоречивой личности, как он. Выходило, что Макаренко намеренно наносит вред группе.

- Он прав. Ведь он пострадал по нашей вине, - доказывал Шабтай.

- Да, но зачем сводить счеты?

Страсти разгорались. Армяне, украинцы, литовцы, русские решили провести разбирательство по поводу роли Макаренко в жизни лагеря. Мы принялись обсуждать свою позицию в этом вопросе. Я считал, что "суд" примет антисемитский характер, так как его цель показать, что в неудачах внутрилагерного сопротивления повинен еврей Макаренко. Все согласились со мной. Марку поручили представлять нас на "суде". Он должен был заявить, что, по нашему мнению, нет достаточных оснований считать Макаренко агентом КГБ.

Начались внутрилагерные "суды" и "разбирательства". Вместо реального сопротивления - борьба различных групп, раскол, вражда, взаимные обвинения, беспричинная ненависть. Но мы продолжали заниматься своими делами: учили иврит, сидели вместе за субботним столом, мечтали об Израиле. Однако нервы были напряжены до предела, а разрядки не предвиделось.

Как обычно, встретили субботу. На следующее утро отправились на завод. Я сначала молился, потом пил кипяток и прятался от надзирателей - все как обычно. После обеда узнали, что капитан Довчий избил политзаключенного Сопеляка.

Двадцатилетний студент Львовского университета Сопеляк организовал в своей деревне, на Западной Украине, нелегальную национальную группу. За это его посадили. Смелый, но болтливый парень, он ради красного словца был способен поступиться правдой. С лагерным начальством разговаривал резко - за что его неоднократно сажали в карцер. На этот раз Сопеляк ходил по двору без рубашки, в одной майке. Капитан Довчий приказал ему надеть рубашку, а когда Сопеляк не подчинился, поволок его в дежурное помещение и принялся избивать, при этом стараясь попасть в почки.

На избиение политзаключенного необходимо немедленно реагировать. Собирались группами и обсуждали, что предпринять. Окончательное решение зависело от украинцев.

- Вопрос стоит так, - подытожил Приходько, зэк с двадцатипятилетним сроком, - если мы верим, что добьемся своего, - надо действовать!

Я его поддержал:

- Да, я верю, что мы победим! А если уступим, нас всех начнут избивать!

Итак, решено: с завтрашнего дня объявляем забастовку с требованием уволить капитана. В результате на работу не вышло семьдесят человек. Половина всех заключенных отказалась подчиниться требованиям надзирателей. Это был настоящий бунт - мы делали, что хотели. Надзиратели исчезли из зоны. Для разбора дела прибыл сам начальник управления КГБ, полковник Миков. Вызвали на допрос Сопеляка.

- Один не пойду, - заявил он. - Только при свидетелях!

Ему вынуждены были уступить, но потом перед строем заключенных Котов огласил:

- Расследование по делу Сопеляка показало, что никакого избиения не было. Сопеляк наврал. Все участники забастовки будут наказаны!

- Он еще угрожает! Не выйдем на работу - и точка! Потом Садо, получив, очевидно, инструкции у Котова, говорил заключенным:

- Все это жида. Их провокация. Она им на руку!

Наиболее податливых вызывали в штаб и подкупали обещаниями посылок, покупок, писем и свиданий. Как и во всяком бою, воодушевление первой атаки прошло и каждый стал задумываться: "Зачем мне все это надо?" Между тем начальство объявило:

- Все, кто выйдет послезавтра на работу, не понесет наказания!

Осталось человек пятьдесят. Прибежал надзиратель и велел Шабтаю собираться с вещами. Забрали Лукьяненко, Приходько, Кудирку. Прощаемся. Я сую Шабтаю продукты. Он отказывается: "Мне осталось сидеть год, а тебе восемь. Оставь себе!" - Обнимаемся, целуемся. На глазах слезы.

В тот же день арестованных судили прямо на вахте лагеря. Приговор: за сопротивление властям - перевод на тюремный режим. Приходько, Макаренко и Хаим, которому осталось два месяца до освобождения, посажены в ПКТ; Ашер - в карцер, а ему через две недели на волю. Так за один день поредела еврейская группа. Остались Марк, Зеэв и я. Но борьба продолжается. На работу не выходит тридцать человек. На утреннем обходе Федоров красными глазами впивается в меня:

- Почему не работаете?

- Протестую против избиения заключенного!

- Дурак! Схлопочешь карцер, заболеешь и подохнешь! Так и не увидишь свой Израиль!

- Раньше меня умрешь! - не выдержал я.

- Так! За оскорбление начальства - пятнадцать суток!

Все карцеры заняты, и попасть туда не так-то просто. Если уж ты бастуешь, лучше получить наказание сразу, чем ждать. А в карцерах весело - лучшие люди собрались там. В лагере тихо, как на кладбище. Кто не бастует, тот боится, а здесь жизнь бьет ключом: перекрикиваются через окна, двери. Что делать надзирателю? Его власть направлена на тех, кто боится, а в карцере его не боится никто. Такого ощущения свободы у меня уже давно не было. Настоящая свобода от мелких забот и от страхов.

Но нам и не думали уступать. Их тактика - расправляться с каждым в отдельности: запугивать, подкупать в надежде, что время работает против нас. Но мы спокойны в холодном бетоне карцера. Я здесь с моим старым знакомым, латышом Астрой. Болтаем обо всем: о советской власти, о Латвии, о Макаренко, вере...

Залезая ночью на верхние нары, мечтаю вслух:

- Когда Латвия станет свободной, мы будем покупать у вас лес, рыбу и лесные ягоды, а вам продавать электронные приборы, самолеты и все, что вам потребуется.

Так и живем: покупаем и продаем, посылаем делегации и принимаем их.

Представители двух малых наций, два одиноких человека в глухих лесах Урала...

Начальство заинтересовано в том, чтобы до нас доходили слухи: все уже работают, даже те, кого выпустили из карцера. Поражение! Я выхожу предпоследним. На прощанье говорю Астре:

- Жаль, что со мной не было Хумаша, а то сидел бы здесь до конца срока!

Он удивленно смотрит на меня:

- Здесь, на холодном полу, на хлебе и воде - до конца срока с Библией?! Счастливый вы человек, Иосиф!

Когда я услышал его слова, сомнение вкралось в сердце: в самом деле, мог бы я, как сказал, просидеть десять лет с Торой в карцере?..

В лагере - курортное лето. От жары трещит воздух. Все загорели. Бросаюсь писать письмо домой. Мои, наверно, перепугались - снова не пишу.

Я полон воинственного пыла продолжать забастовку. Где руководители? Почему они сдались? Сопеляк уже работает. В чем дело? Все увиливают от ответа и только один зэк признается:

- Вызвали нас к Котову. Был там и кагебист. "Кончайте, - говорит. - Никаких мер против вас не предпримем. Разберемся. Может, в чем и мы виноваты. Ну, будете работать?" Все молчали. Не хватило мужества ответить, что ведь ничего не изменилось! Один сдался: "Выхожу на работу!" Другие присоединились к нему.

Так несколько человек решили за всех. И все же забастовка кое-что дала заключенным: во-первых, прекратили придираться; во-вторых, хотя и не убрали Довчего, но он стал редко появляться в зоне, а потом и совсем исчез; в-третьих, Федоров перестал преследовать за хранение лишних, по его понятиям, вещей.

Первая встреча с друзьями. Узнать новости, увидеть израильские открытки... Но группы нет. Ее отсутствие так ощутимо! Я привык быть частью группы, а теперь мы в лагере втроем - Марк, Зеэв и я - каждый сам по себе.

- Ты как знаешь, а мы решили работать, и тебе советуем. Нас во всяком случае не пытайся втягивать во всякого рода протесты и забастовки. И никаких больше собраний!

Ну что ж, даже без собраний есть мнение большинства. И если я хотел учить Хумаш в карцере, тем легче это сделать в зоне. Приступил к работе... Из свободы карцера я снова вернулся в мир, где за каждый шаг - наказание, на каждое желание - запрет. Но раз я решил изучать Хумаш, значит нужно выполнять задуманное. Еще два месяца тому назад Садо за 150 рублей доставил книгу в зону. Издание 1910 года, небольшого формата, текст четкий. Жаль только, что не додумались переплести в обложку советской книги. Ну, что поделаешь? Читаю и вздрагиваю при каждом стуке двери. Надо успеть засунуть в тумбочку, пока подойдут, а ведь прятать каждые пять минут невозможно - невольно вызовешь подозрение соседа. Придумал! Перепишу Хумаш и спасу книгу от конфискации.

Отсутствие собраний, политической борьбы и Макаренко чувствуется сразу - есть время для занятий. Теперь я могу оценить тот выбор, который раньше мне представлялся чисто теоретическим: заниматься только своими делами или часть времени отдавать лагерным вопросам. Я предпочитал путь постоянного поиска равновесия. Например, невозможно не участвовать в голодовке, потому что другого средства противостоять насилию нет. А участвовать в ней опасно: можно потерять и учебник иврита, и Хумаш, и даже негласное право не работать по субботам. Это образ жизни со многими неизвестными. Он труден особенно потому, что отдаешь себе отчет в опасностях. И дело тут вовсе не в одних материальных лишениях, а в душевных терзаниях. Они - самые страшные. Ведь прежде чем вступить в борьбу с начальством, надо обдумать все: и что попадешь в карцер, и что придется лишиться иврита, Хумаша, писем из Израиля, друзей, субботы. И это очень трудно. Трудно также, сидя в карцере, чувствовать, как с каждым днем силы покидают тебя, и то, что было ясно вчера, - сегодня покрыто туманом.

Переписка Хумаша не менее опасна, чем забастовка. Мне удается перейти работать в ночную смену. Большинство работает утром, и потому, когда все уходят, я могу без посторонних глаз, в относительной безопасности заняться перепиской.

Итак, я стал "переписчиком" Торы. Разве есть большее блаженство, чем видеть Тору, произносить ее слова, выводить ее буквы! Но есть и трудности - современный иврит для понимания Танаха недостаточен. Единственная помощь - перевод Библии на русский язык, которым здесь пользуются адвентисты. Перевод искажен, и поэтому мне, как человеку необразованному, опасно к нему прибегать. Но сначала я читал с помощью этого перевода, а потом переводил для себя сам. Проработав до двух часов ночи, я возвращался в барак, спал до семи утра, затем вставал и садился переписывать. Такой же ранней птицей был и Лев Ладыгин, получивший три года заключения за поиски и сбор неофициально изданных книг. Казалось бы, что такой несправедливый приговор мог его чему-нибудь научить, но этого не произошло. Он гордился тем, что не похож на еврея. Интересовался только русской литературой и историей, считал, что будущее евреев России - в ассимиляции, и сам старался не иметь с евреями ничего общего. Возможно поэтому антисемиты считали его типичным евреем: пугливым, угодливым, желающим быть хорошим для всех, даже для своих врагов. Уже в первый день по прибытии в лагерь он как-то по-рабски раскланивался со всеми солдатами и надзирателями. И это ученый, преподаватель университета!

Как мне знакомо такое стремление нравиться всем! Приходилось ежедневно подавлять в себе эту рабскую покорность. Я пленный, но не раб! И поэтому разобравшись в Ладыгине, я прекратил общение с ним. Толчком послужил разговор о "просветителях", последователях Мендельсона. Стремясь обосновать свой подход к ассимиляции, Ладыгин восхвалял отношение "просветителей" к ивриту, к еврейской истории, что не мешало им, однако, заниматься современной наукой и вести современный образ жизни. Я же подчеркивал существенное различие между человеком, не получившим еврейского воспитания, далеким от нашего духовного наследия и поэтому видящим в нем только историю и культуру, и тем, кто сознательно наносит ущерб еврейству. Так ничего друг другу не доказав, мы

разошлись. Позже Лев рассказывал своим друзьям о наивном мальчике Менделевиче, который еще не понял, что жизнь не проста и нельзя строить ее только на принципах и идеалах.

В это время мы договорились с Зеэвом день говорить на иврите, день - на английском, причем разговорные уроки назначили прямо на работе. Ведь после забастовки стало немного легче, меньше придирались по мелочам. Даже Федоров на время остепенился. Помню, как он тихо входил, словно подкрадываясь к жертве. Все сразу замолкали - кого укусит первым?

Зеэв пришел с работы голодный и жевал кусок хлеба.

- Вы почему едите? По распорядку дня сейчас есть не положено! Отправлю в карцер!

- Дымшиц! Почему лежите на койке? Запрещено днем!

- Но я устал после работы!

- Спать будете ночью, а сейчас отправляйтесь на лекцию по марксизму-ленинизму!

- Сверстюк, что у вас за книга на тумбочке? Она лишняя, отнесите на склад!

Сверстюк не шевелится. Тогда Федоров швыряет книгу на пол и топчет ее ногами. Рассказывают, что однажды он так вошел в раж, вылавливая неположенную литературу, что, к восторгу заключенных, стал топтать какую-то книгу Ленина. Этот служака настолько задергал эзков, что они теряли чувство равновесия и им постоянно приходилось балансировать на грани неопределенности.

- Менделевич, что у вас на голове?

- Да ведь вы же знаете что, гражданин начальник!

- Ничего не знаю! Снять немедленно! А я ведь только сел писать отцу, чтобы приехал на свидание. Представляю себе, что последует за приказом Федорова, если я не подчинюсь. Вызовут к начальнику, станут запугивать всевозможными наказаниями, а когда убедятся, что я настаиваю на своем, лишат свидания. Папа, не уехавший в Израиль только для того, чтобы быть рядом со мной, так и не сможет увидеть меня. И еще хорошо, если заранее предупредят о лишении свидания. А если нет? Отец выедет. Дорога длинная - двое суток поездом. Сотни рублей потратит впустую. Приедет в лагерь, а начальник ему: "Ваш сын лишен свидания за плохое поведение". И вернувшись домой, отец напишет мне: "Ты же знаешь, как я жду встречи с тобой! Почему ты не можешь вести себя спокойно?" Я получу это письмо и не смогу назвать истинную причину, и не напишу, как мне тяжело. Но я не могу иначе. Не могу, хотя знаю, что у отца уже было несколько инфарктов. Продолжаю настаивать на своем:

- Не сниму. Я верующий.

- Пойдете в карцер!

- Ну что ж! Это ваше право!

Во время одного такого обхода с участием кагебистов у меня забрали ханукию и

волчок, которые я привез из Мордовии. Глядя, как эти дорогие мне вещи бросают в мусор, я не выдержал:

- Ну нет, я вам припомню!

- Вы что? Угрожать вздумали?

Я взял себя в руки и спокойно ответил:

- Нет, я просто выразил свое возмущение. Теперь вы сами знаете мое настроение, и нет необходимости засылать осведомителей!

Кагебист посмотрел на меня с удивлением: "Как это он сумел выкрутиться?" Однако подобные придирки временно прекратились.

Осенью 1974 года мы узнали, что освободили Сильву. Хорошо, что ей дали уехать в Израиль. Если мужчинам здесь тяжело, можно представить, каково было ей. Возобновилась деятельность организаций в защиту других заключенных. От отца стали приходить письма: "Вот-вот освободят. О тебе не забыли!" Ожидание продолжалось несколько месяцев. Некоторые находили в этом удовлетворение. Для меня оно было тягостным, и я написал отцу: "Даже если есть надежда на мое освобождение, не пиши об этом. Освободят - хорошо. Тогда и узнаю. А сейчас не надо. Вера помогает мне жить здесь без иллюзий". На этом прекратились слухи об освобождении.

Итак, жизнь протекала относительно спокойно. Но товарищи все еще сидели в ПКТ за забастовку, и мы тяжело переносили наше бессилие им помочь. И вдруг представилась возможность. Из ПКТ их повели в баню, а она внутри зоны. Я положил в мешок продукты, залег в траве, в пятнадцати метрах от входа, и когда конвоир завернул за угол бани, прошмыгнул в дверь предбанника. Потянулись руки для рукопожатия, я передал ребятам мешок и стал ждать момента, чтобы выскользнуть наружу. Возвратился в барак. Успех окрылил, и я снова проделал вылазку. Чувствовал себя при этом десантником, успешно выполнившим задание...

В лагерь доставили молодого солдата-латыша, которому дали два года за распространение листовок националистического содержания. Он вел себя осторожно, приглядывался ко всем. Но однажды, проникшись к нам доверием, стал рассказывать:

- Я служил в Мурманской области. Обслуживал ракеты среднего радиуса действия. Как-то вечером нас отвезли в порт. Погрузили в трюм грузового судна, где находилось уже несколько сотен солдат. Выходить на палубу разрешалось только ночью. Куда мы направляемся, не говорили. Через неделю всех выстроили на палубе, и офицер объявил: "Арабы воюют с евреями. Мы помогаем арабам". Никаких других разъяснений не было. Выдали одежду без погон, высадили в Сирии и повезли в сторону Дамаска. Там была ракетная база, полигон и казарма на восемьдесят человек. Ходили слухи, что одну такую часть взяли в плен израильтяне.

Шел конец 1973 года, но война продолжалась. Мы слышали грохот пушек и взрывы бомб. Газет не давали, радио не было. Наши письма посылали через Мурманск,

чтобы родные не знали, где мы. С утра на базу приходили молодые сирийцы обучаться обращению с ракетными установками. Они завидовали нам, что у нас есть "Калашников". Оружия у них еще не было. Дисциплина слабая. В полдень падали на колени и молились. Офицеры палками заставляли их встать, но они не поднимались, пока не закончат молитву.

С одним офицером я ездил в Каир получать новое оружие. Когда наш бронетранспортер проезжал по улицам города, жители бросали в нас камни. На некоторых домах карикатуры: Брежнев обнимает Никсона и Голду Меир. И еще: Брежнев запускает руку в карман египтянина и вытаскивает оттуда деньги.

Когда вернулись на базу, получили новое задание: Доставить боеприпасы на Голанские высоты. По пути колонну обстреляли, подбили несколько машин. Командир с автоматом в руках выскочил из бронетранспортера и с криком "За родину, за Ленина!" бросился вперед. Пулеметная очередь прошла его. Пуля попала в голову, и мозг брызнул на меня. Я приказал солдатам отступить и залечь за броневидами, а сам - в машину за гранатами. Когда вылезал, взрывом меня отбросило на несколько метров. Через пару дней, в госпитале, пришел в сознание. Подлечили и под чистую демобилизовали.

Арестовали меня за распространение листовок. В КГБ сказали: "Мы изымаем из твоего солдатского личного дела листок о ранении, но зато вместо пяти лет получишь два года заключения. О том, где тебя ранили, никому не рассказывай. Предупреждаем: молчи!" - Но я хочу, чтобы все знали.

Это живое свидетельство очевидца, побывавшего на той земле, на которую нам так хотелось попасть, произвело на нас сильное впечатление. Тем более, что этот паренек помимо своей воли представлял там истинного агрессора.

Прошел год, и в лагерь вернулся Гриша, совсем потерявший над собой контроль. На этот раз он вынашивал другую идею.

- В тюрьме лучше, чем в лагере, - утверждал он. - Можно не работать и читать книги. Зачем терпеть издевательства и батрачить, если есть возможность избавиться от этого?

- Но ведь в тюрьме временно не работают. Как только узнают, что тебе там хорошо, сделают все, чтобы стало плохо. Тогда тоже откажешься от работы?

- Тогда подумаю.

- Почему не сейчас? Конечно, можно написать заявление и потребовать признания за нами прав политзаключенных, но зачем ради этого в тюрьму идти?

- Мне в тюрьме лучше!

Евреи Гришу не поддержали. Но он нашел много сторонников среди украинцев-демократов, арестованных за хранение и распространение запрещенных книг, разговоры и анекдоты, словом, как они считали, ни за что. Борьба за статус политзаключенного стала для них теперь смыслом жизни.

Как обычно, к подобным движениям присоединяются случайные люди, для которых важно не подчиняться начальству. Почему-то в лагере бытовало мнение, что чуть ли не каждая акция заключенных регистрируется в "Нью-Йорк таймс", в "Вашингтон пост" или рассматривается в ООН. Многие так считали и вели себя соответственно. Я же полагал, что всякая борьба, построенная на желании вызвать шум, опасна и вредна. Я против участия в таких "операциях". Но, быть может, меня удерживают хлеб и книги? Вернее, страх их потерять? Ведь нас считают уголовными преступниками, и наш долг - требовать признания наших прав. Нужно действовать! Однако я колебался.

События марта 1975 года подтолкнули мое решение. В разгар кампании за права политзаключенных в лагере начались повальные обыски. Однажды из окна барака я увидел толпу чем-то возбужденных зэков и понял: что-то происходит. Отложив в сторону книгу Иова, которую читал, я схватил мыло и мочалку, завернул в полотенце Танах и направился в сушилку. Там, в белье, я спрятал Танах и зашел в баню. Был банный день. Стало как-то тоскливо, словно бросил свое дитя на произвол судьбы. Вернулся бегом в сушилку за Танахом. Его нет. Бросился к зэку, который топил там печь:

- Кто взял?

- Только что был сержант Шаринов. Может, он?

Сомнений не было. Пронырливый Шаринов проследил за мной и устроил обыск. Как я берег эту книгу! И не смог сохранить! Разве мои поступки противоречили воле Б-га? Почему Он не помог мне? Тяжелые мысли. Но, возможно, это наказание за то, что я недостаточно изучал Тору? Ведь я мог учить ее несколько часов в день, а я вместо этого занимался английским и историей. Если бы учил больше, Б-г не дал бы забрать ее у меня.

Я заколебался: пойти в канцелярию и заявить, что забрали Танах? Но ведь это значит, что я нелегально пронес его в лагерь. Если не заявить о потере, то нет никакой надежды получить книгу обратно. Пошел в штаб.

- У меня при обыске изъята книга. Верните!

- А, это ваша? - смеются. - Что же вы так неудачно ее спрятали? Что это за книга?

- Еврейская история. Древняя. Там нет ни слова о Советском Союзе.

- Почему же вы ее тогда спрятали? Проверим!

- Там нечего проверять! Отдайте сейчас!

- Сейчас не получите!

Естественно, не в моих интересах эта проверка: ведь обнаружится обман. Это не простая "история"... Надо действовать, пока не послали Танах на перевод. И я объявил забастовку. К ней присоединился Зеэв. Мы рассчитывали, что в момент

обострения борьбы за статус политзаключенного не захотят портить отношений с евреями и уступят.

Через человека, который освобождался, мы передали о забастовке в Москву, Иде Нудель. Ее письма иногда доходили до меня.

Итак, мы не вышли на работу. Вызвали в штаб "на промывку мозгов". Угрозы. Нервотрепка каждый день. Через две недели мне заявили:

- Проверили вашу книгу. Она издана в Берлине в 1910 году. Согласно закону, вы можете пользоваться книгами, изданными только в СССР. Если завтра не приступите к работе, получите взыскание. Решайте!

Это уже ультиматум. Наше обсуждение с Зеевом было коротким. Если не уступили сейчас, нет оснований надеяться, что уступят нам в будущем. Надо уметь признавать свое поражение.

Невольно в душе зреет план мести. Хотите лишить меня возможности учиться? Вам же хуже будет! У меня появится масса свободного времени. Случайно встретившись с Журавковым, я так ему и сказал:

- Прежде, до конфискации книги, я сидел тихо и учился. Теперь появилось лишнее время. Сами толкаете меня на то, чтобы я примкнул к борьбе за права политзаключенных. К тому же вы меня крепко обидели!

- Не запугивайте! Хотите сидеть в карцере - боритесь за какие угодно права!

Борьба в лагере развернулась не на шутку. Одних уже осудили и отправили в тюрьму. Другие ждали в ПКТ. Некоторые сидели там месяцами. Был такой случай. Парень попал в карцер. Просидел всего лишь несколько дней. Однажды утром его вынесли оттуда на носилках. Потерял сознание. В чем дело? Подойти к нему не дают. Остается гадать.

Вся офицерская компания собралась у медчасти. Курят, что-то обсуждают, видно, боятся, как бы не начался бунт. А среди эков замешательство: что делать? Как всегда, нет руководителя, и администрация это чувствует. Теперь, когда меня "освободили" от учебы и появилось свободное время, я могу действовать. Задача простая. Подхожу к надежным людям:

- Николай потерял сознание из-за того, что в карцере не топят. Остальные тоже страдают от холода. Неужели мы им не поможем? Нужно бастовать!

От работы отказались семь человек. Не много. Начальство не испугалось. В карцере по-прежнему не топят. Я не успокаиваюсь:

- Объявим голодовку!

Начали голодать, и надзиратели забежали:

- Менделевич, в карцер! Сверстюк, в карцер!

Посадили в одиночку. Здесь действительно холодно. На мне одна рубашка, а в

камере не больше пяти градусов. Бегаю взад и вперед, но не от отчаяния, а для того, чтобы согреться. Я ведь знал, на что иду. К карцеру привык, буду сидеть столько, сколько потребуется. Интересно, сами догадались, что я один из зачинщиков забастовки, или через осведомителей узнали? Начинаются переговоры с соседями. Обычный метод: по канализационным трубам и через дверь - если надзирателей нет в коридоре.

...Как голо здесь! Все в бетоне, даже стол и сиденье - из камня. Казалось бы, чем плох большой стол? Он для того, чтобы на нем есть или писать. Но за столом не положено рассиживаться: едят редко и не пишут вовсе. Зато ходить можно, но негде. И сделано это специально. Продумана каждая мелочь. Во всем вижу злой педантизм Федорова. Камень держит холод. Из рта пар идет. Ничего - выдержу. Приеду в Израиль и буду вспоминать об этом с усмешкой. Вдруг на душе как-то полегчало. Почему? Теплота какая-то разливается по телу. Тяну носом воздух: что-то не так. В чем дело? А! Затопили! Труба теплая. Согревает не только она, но и успех. В камере стало совсем тепло. Пожалуй, так можно и до конца срока досидеть. Но не пришлось. Выпустили.

Еще в карцере выяснил причину обморока Николая. Вовсе не от холода. Этот парнишка-уголовник к труду не привык. Пока сидел в карцере - ничего. Работать не нужно. Но потом перевели в рабочую камеру. Работать? Нет, уж лучше технического масла напиться. Выпил. Вот и потерял сознание.

Поди разберись в этих участниках движения "за права". Здесь и серьезные, и легкомысленные, и любители развлечений, и бывшие стукачи, которым надо очистить себя от позора... Кого здесь только нет! А ты иди с ними в бой - кто знает, на каком повороте они предадут! Вероятно, самое разумное в моем положении - отмежеваться от них.

В сентябре 1975 года было подписано Хельсинкское соглашение о правах человека. Я написал заявление представителю Советского Союза на этом совещании, заместителю министра иностранных дел Ковалеву: "Теперь, когда подписана декларация о правах человека, нужно соблюдать ее также применительно к верующим. Я лишен возможности молиться, лишен возможности соблюдать субботу, иметь Священные книги, получать консультации раввинов - лишен всего. Я настаиваю на признании за мной права выполнять все предписания моей веры. Объявляю голодовку на все дни церемонии подписания соглашения".

Сначала голодал спокойно. Никто меня не трогал. Я думал, что все обойдется без осложнений. Но ошибся. Как-то меня вызвал цензор и вручил письмо из Израиля от Хаима. Да, Хаим освободился, приехал в Израиль, поселился в Натании, женился на девушке из религиозной семьи. И вот фото: он в талите, у своего дома, в руках у него - этрог и лулав. Праздник Сукот.

- На ваше имя, - сообщил мне цензор, - поступила бандероль и в ней такое же облачение. Бандероль вы не получите. Понятно?

Надо же, такое невезение! Талит, который я просил отца прислать, пришел в один день с фотографией Хаима.

Через несколько дней следующая неприятность. Снова цензор:

- Менделевич, на ваше имя из Франции поступила посылка с молитвенником. Он конфискован. Прочтите акт.

Читаю. Там черным по белому: "...конфискован, так как содержит враждебные советской власти взгляды".

- Неужели вы считаете, что в молитвеннике могут быть антисоветские идеи? Ведь он написан свыше двух тысяч лет назад, когда и России-то не было!

- Ничего не знаю. Распоряжение сверху.

Против такого довода возразить нечего.

Прошло несколько дней. Суббота. Меня останавливают во дворе:

- Вы почему не работаете?

- Почему вы думаете, что я не работаю?

- А вы вопросов не задавайте. Знаем, в чем дело! За отказ работать в субботу - карцер!

Видно, начали сводить со мной счеты за забастовки, голодовки и заявления. В карцер посадили в канун субботы. Тут можно увидеть иезуитскую руку Федорова: "Хочешь отдыхать в субботу - отдыхай в карцере".

Я уже считал, что мне не выйти из круговорота преследований. Но вдруг все неожиданно прекратилось. Бывает, после дождя появляется солнце. Зеэв по моей просьбе сумел переправить в лагерь Сидур и несколько учебников иврита. Снова мне стало не до массовых протестов. С утра до вечера переписывал молитвы, учил их наизусть. Кроме того в день заучивал пятьдесят-сто новых ивритских слов. Рано вставал, совершал омовение рук и принимался за молитву. Затем переписывал молитвенник. С пяти часов дня заступал в смену до двух ночи. Уставал, но все это пустяки. Ведь возобновились счастливые дни учебы. Опять появилась цель. Перед сном читал "Шма Исраэль" из крошечного Сидура. При этом постоянно чувствовал на себе изучающий взгляд бывшего полиция Ониценко. Следит и наверняка донесет. Поэтому появилась дополнительная необходимость заучивать наизусть. Кроме того, каждый день урок разговорного иврита с Зеэвом.

Я работал на сборке электрорегулятора. Части размером чуть больше спичечной головки надо разместить в соответствующем порядке на матрице и прижать прессом. В одной детали одиннадцать составных частей. Значит, пятьдесят движений. Всего семьсот шестьдесят деталей. Итого ежедневно около сорока тысяч движений. Это работа для автомата. Нужно сидеть, не разгибаясь. Многие не выдерживали: болели спина, голова, глаза, руки, а я - ничего, был доволен. Здесь я мог заранее готовить норму на субботу. Пальцы у меня тонкие, так что удавалось с первого раза схватить нужную часть и точно поставить на место. В этом секрет успеха. Каждая деталь имеет свой характер, и его надо знать. Я работал одновременно обеими руками и

ногой. Посетителям, приехавшим на завод, показывали меня. Руки бегали по матрицам, как по клавишам пианино, детали вылетали из-под штампа, а я сидел и распевал еврейские песни.

За неделю мне не только удавалось набрать нужное количество деталей на субботу, но и высвободить время на послеполуденную молитву, заучивание слов по карточкам и на уроки иврита с Зеэвом. Ровно в одиннадцать сорок пять, после окончания обхода надзирателей, я вскакивал со своего места и бежал в сушилку, к Зеэву, где среди печей, в которых сушился кремний, в жаре и пыли мы говорили на иврите, поглядывая на вход в цех. Мы так натренировались в этом деле, что надзирателям редко удавалось застать нас врасплох. Помогало и мое обоняние. Выходя из цеха, я прежде всего нюхал воздух. Менты пахнут иначе, чем зэки. По запаху я угадывал, что они в раздевалке, и немедленно возвращался на свое рабочее место.

Так бежали недели и месяцы - за молитвой, учебой, чтением писем из Израиля и мелкими неизбежными стычками с начальством. Ну, что поделаешь, если зимой при пятидесятиградусном морозе бараки еле отапливались, температура в них достигала лишь восьми градусов? Спать невозможно. Как-то явился Федоров:

- Что, холодно? Быть не может! Это градусник испорчен! Принесу другой. - Видите, не восемь, а четырнадцать!

Я провел эксперимент. Поставил градусник Федорова в снег. Плюс пять. При такой температуре снег растаял бы. Градусник выбросил. Прибежал Федоров:

- Где градусник? Совсем хороший был! Поскольку от моего "эксперимента" все равно теплее не стало, я взял газету, отыскал в ней первую попавшуюся фамилию члена ЦК коммунистической партии. Им оказалась доярка, "представитель народа". Я написал ей: "У нас здесь холодно, в бараках температура плюс восемь. Мерзнут руки. Прошу помочь". Заявление, конечно, носило издевательский характер. Меня вызвали к Котову:

- Менделевич, почему вы написали это?

- Потому что у нее есть власть и она может помочь!

- То есть как?

- Позвонит министру, чтобы в лагерь завезли уголь.

Он смотрит на меня с удивлением:

- Вы это серьезно?

- А что, - пожимаю я плечами. - Она все может!

Оба мы знаем, что это абсурд. Котов не может сдержать улыбку:

- Ну, ладно, Менделевич, идите! Не советский вы человек!

- Это для меня комплимент, гражданин начальник. Я израильский человек.

Весной из тюрьмы доставили в зону Ури. Он сразу же начал строчить жалобы. А начальству это, конечно, не нравится. Поэтому его долго продержали в карантине. Я отправился к Журавкову и получил решительный ответ:

- Он не выйдет, пока не перестанет писать заявлений.

- Если не выпустите, объявлю голодовку! - сказал я с такой же решительностью.

Был канун 1 Мая. Никому не хотелось дежурить. В это время в Нью-Йорке готовился марш в защиту политзаключенных. Я распустил слух, что если не выпустят Ури, в зоне пройдет такая же демонстрация.

Как распускают слухи? Очень просто. Вызывают зэка на разговор и незаметно подводят к нужному вопросу. Например: что будет, если Ури не выпустят? Ты отвечаешь:

- Не могу сказать, это секрет!

- Да скажи, здесь все люди надежные...

- Первого мая устроим марш протеста!

Люди действительно "надежные", и через несколько часов на столе начальника оперативного отдела лежит донос...

28 апреля 1976 года я начал голодовку. 30 апреля вызвали Дымшица и Зеэва, чтобы они "повлияли" на меня. Но они решили ко мне присоединиться. Мне пообещали выпустить Ури второго мая, если я немедленно прекращу голодовку. Так выигрываются маленькие битвы. Крупные сражения все равно выиграть нельзя.

Ночью второго мая наконец выпустили Ури. Мы уже, было, потеряли надежду - скоро отбой, а его нет. Когда он появился, все кинулись поздравлять нас с победой. Ури не изменился, лишь немного побледнел. Он сразу же начал подготовку к отъезду - до освобождения оставалось три месяца. Он собирал данные о недавно прибывших в лагерь. Я хотел, чтобы он учил иврит, но услышал в ответ, что этим он займется в Израиле, а сейчас надо собирать информацию. Я никогда не понимал такого подхода: потом буду учить и молиться, а сейчас есть дела поважнее. Но ведь молитва и учеба - это потребность души...

Материала действительно много. Вот, например, Владимир Балахонов. Человек еще не старый, среднего роста, с круглым и мягким лицом. Появившись в лагере, он первым делом спросил, есть ли здесь сионисты. Его привели ко мне. Этот способ знакомства с лагерем через сионистов вскоре стал очень распространенным. Почти каждый новоприбывший политический сразу обращался к нам. Я спросил Балахонова, почему он пришел именно ко мне.

- О вашем деле много говорили по западному радио. Здесь считают, что на вас можно положиться. Все вынуждены признать, что из нелегальных движений в России именно еврейское достигло реального успеха - выезда сотен тысяч людей. Ведь

выезжают не только евреи, но и русские, литовцы, немцы. Вы сейчас стоите во главе движения за свободу выезда из СССР. Поэтому я обратился к главе, а не к хвосту.

- Чего же конкретно вы хотите?

- У меня есть материал, который надо передать в надежные руки.

- Но я ведь не занимаюсь передачей информации диссидентов.

- Однако в лагере мы должны действовать сообща!

- Имеются вопросы, которые мы решаем совместно, есть и такие - где самостоятельно. Но в одном я вам помогу: назову человека, которому можно доверять.

Владимир Балахонов, выпускник московского института иностранных языков, работал переводчиком в Интуристе, а затем в Женеве, в Международном метеорологическом центре. Когда истек срок его пребывания в Швейцарии, он обратился в американское посольство с просьбой предоставить ему, его жене и ребенку политическое убежище. Кагебистам удалось уговорить его жену вернуться в Россию. Оставшись один, Владимир почувствовал, что не может жить долго в разлуке с семьей. Обещали не тронуть, если вернется. Он вернулся в Москву, прожил там всего несколько дней, и его арестовали. За "измену родине" дали двенадцать лет. Очевидно, считали, что он завербован ЦРУ.

Как только мы познакомились, он заявил:

- Не желаю иметь с русскими ничего общего. Это народ угнетателей и деспотов. Я по своей натуре демократ и хочу быть гражданином мира!

Таков был Балахонов.

Художник Владимир Мухамеджин - совсем другой человек. В его жилах текла татарская кровь. В отличие от Балахонова, Мухамеджин не прочь был считаться русским. Внешне он был похож на русского, а на вопрос о национальности отвечал: "Москвич". Вообще же он мечтал стать американцем. В течение нескольких лет он водил знакомство с работниками американского посольства. Ему нравились новые приятели, он подражал их манере вести себя и разговаривать. Дружба с ними в конечном счете привела его в тюрьму. Американский турист заказал у него портреты лидеров Советского Союза на фоне мишеней для стрельбы. На таможне портреты у туриста конфисковали. Он назвал имя художника, и Мухамеджин получил пять лет.

В лагере Мухамеджин хотел в чем-то найти себя. По убеждениям он был явным диссидентом, но из-за своей слабыхарактерности боялся столкновения с лагерной администрацией. Кагебешники его быстро раскусили, и ему пришлось сделать выбор. По округлившемуся лицу, бесконечным чаепитиям и должности лагерного художника можно было понять, какой он выбрал путь - покорность и сотрудничество. Прежний лоск и светские манеры исчезли. Обычный лагерный раб. Так тюрьма ставит человека на свое место.

Сергея Ковалева с двумя другими объединял только лагерь. В зоне тяжело отделить

"чистых" от "нечистых". Многие трудности лагерной жизни проистекали именно из-за этой невозможности четко разделить людей на категории. Слабоумный Егорка не раз говорил, помахивая пальцем перед носом:

- А-а, думали так просто! Каждый на своей полочке? Нет! Вы вместе поживите! Нашлись умники! Ха-ха!

Сергей Адамович Ковалев, доктор биологических наук, совмещал научную работу с изданием нелегального журнала "Хроника", информировавшего читателей о таких событиях и фактах, которые не попадали на страницы официальной печати.

"Хроника" выходит и поныне, хотя все ее редакторы попадают в тюрьму. Принимая на себя заботы об издании журнала, Сергей знал, что и его ждет арест. Он был не одиночкой, а членом группы интеллектуалов-диссидентов, куда входил и академик Сахаров, личным другом которого Сергей был. Ковалев полагал, что поскольку государство нуждается в помощи науки, власть практически должна находиться в руках ученых, которые сумеют улучшить режим. Он считал себя свободным от национальных предрассудков.

- Быть националистом, значит ограничивать себя. А что такое по-вашему национализм? - спрашивал он Зеева, с которым подолгу спорил. - Национализм, - сам же отвечал Ковалев, - это выделение своего народа из числа других, ненависть к другим нациям!

Удивительно! Русский Владимир Балахонов легко отказывается от своего русского происхождения; татарин Владимир Мухамеджин, по паспорту русский, мечтал стать американцем, а белорус по отцу и украинец по матери Сергей Ковалев, официально числившийся русским, выступал от имени русского народа. Ковалев не понимал нас, еврейских националистов.

- Зачем вы выделяете свой народ? - упрекал он Зеева, уверявшего, что, любя свой народ, он, Зеев, не испытывает ненависти к другим народам. - Любите всех, - призывал он.

- Но поймите: так же, как у меня есть мать и жена, так у меня есть родина и мой народ. Я их люблю, потому что они мои, еврейские!

- Но это слишком узко. Я могу понять позицию академика Сахарова, который признает право Израиля на существование, - у евреев нет другой страны, кроме этой. Но я лично не вижу необходимости бороться за сильный Израиль или призывать евреев ехать туда.

Признаться, так думал не только Ковалев, но и многие евреи. Я не терял надежды на то, что со временем Ковалев изменит свое мнение. В самом деле, очутившись в лагере, он понял, что одной теорией торжества гуманизма не согреешься. Нужна истина. В поисках этой истины ему помогал Евгений Сверстюк. Поиски шли через веру. Почему до ареста в этом не было потребности, а после ареста появилась? Ответ не так прост. Одно несомненно: в жизни этого человека наступил момент, когда он обратился к Б-гу. Вероятно, Сергею мало было любви к правде, к ближнему и не удовлетворяло его прежнее понимание мира. Может быть, из страха он искал

спасителя? У этого смелого человека - страх? Нет, он ничего не боялся. Тут дело в другом. В лагере, как и на смертном одре, человек ищет Б-га. И это случилось не с одним лишь Сергеем.

В эту среду, где с одной стороны - Ковалев и Сверстюк, а с другой - Ладыгин и Мухамеджин, и погрузился Ури после трехлетней изоляции. Он был жаден до человеческих историй и словно впитывал их в себя. Вот он шагает со своей очередной "жертвой" и сосредоточенно слушает. Это либо зэк, посаженный за то, что какие-то украинские националисты выдвинули его кандидатуру в советский "парламент", или зэк, видевший, как в сталинском лагере умирал лидер венгерских коммунистов Бела Кун. Ури выслушивал всех и был целиком поглощен этим занятием.

Мы же готовились к празднику Шавуот. В тот год, впервые за шесть лет, я имел право получить пятикилограммовую посылку. Из Израиля прислали какао, шоколад, сливочное масло, мед, суповые кубики. Этого должно было хватить на год, но ради праздника поставил на стол лучшие молочные блюда. Я прочел друзьям те отрывки из Торы, где говорилось о ее вручении, а потом мы пошли гулять. Стояло лето. Тучи комаров носились в воздухе. Чтобы спастись от них пришлось под шапки засунуть носовые платки, которые, спускаясь на шею, должны были защитить ее от комариных укусов. Начальство знало о нашем празднике: у заведующего оперативной работой на столе под стеклом появился еврейский календарь. Так что он был "в курсе". Хорошо бы справляться у него относительно наступления каждого праздника. Тогда мне не приходилось бы заниматься сложными арифметическими расчетами. У меня был календарь на 1973 год, который прислал отец Хаима. По этому календарю я высчитывал, на какой день выпадает праздник.

Нас заметил молодой и наглый старший лейтенант. Когда он увидел носовые платки, спускающиеся на наши шеи, он решил, что так полагается по случаю праздника. Подбежал к нам и, размахивая ключами от карцера, закричал:

- Снять немедленно!
- Но это от комаров! Ведь совсем заели!
- Не положено! Нарушение формы одежды!
- Вы что? Комаров защищаете? Ведь и другие так ходят.
- Другим можно, а вам нельзя! Это вам даром не пройдет!

Действительно: урезали рацион питания. Особенно возмутился этим Ури:

- Что это за новое наказание? Комарами? Может, комары - пролетариат, а заключенные - враги народа? Запрещено уклоняться от их перевоспитывающих укусов?

Приходилось думать о пополнении наших продовольственных запасов. Единственный выход - собирать и есть травы. Ури показал мне съедобный клевер, иван-чай, столистник, конский щавель. Я сам уже давно употреблял в пищу

подорожник, одуванчик и крапиву. Одуванчик надо на полчаса замочить в соленой воде, чтобы убрать горечь, а потом вполне можно есть. Это вкусно - витамины! Крапиву я рвал свежую, срезая лишь верхушку куста. Если удавалось достать кислое молоко, приготавливал настоящий салат. Он украшал наш субботний стол. Что до укропа и лука, то здесь их выращивать было труднее, чем в Мордовии. Когда надзиратели находили наши подпольные "плантации", они обливали их бензином. Единственное, что росло официально, - настурция. Ее цветы на вкус горьковаты, но вместе с листьями - вкуснейшее блюдо.

Заключенный тянется ко всему зеленому. Идешь по лагерю и видишь, как сквозь пожелтевшую травку пробиваются зеленые ростки. Так и шепчут тебе:

"Съешь меня, съешь меня!"

На помощь столовой рассчитывать не приходилось. С утра - суп без мяса и вообще без всего. Немного картошки с крупой. В обед - суп со следами свиного жира и каша - главная еда. На ужин - предмет споров и волнений: пятьдесят граммов рыбы. Зэки знают, что в этом продукте содержится белок, который очень полезен для организма.

- Смотрите, здесь и тридцати граммов нет, - заявляет зэк дежурному офицеру, протягивая миску с кусочком рыбы.

- А это она уварилась, - вывертывается дежурный.

- Глядите, рыбка-то подгнила! Почему гнилью кормите? - зэк сует врачу рыбу.

- Очень вкусно, - пробуя протянутую рыбу, улыбается лагерный эскулап.

Надо кончать с этим безобразием. И мы начинаем кампанию жалоб. Пишу в санэпидстанцию: "Пришлите экспертизу. Рыба, которой нас кормят, опасна для жизни. Я храню ее для вас в закрытой банке".

Что последовало в ответ на мою жалобу? Отобрали вещественное доказательство? Ничего подобного! На следующее утро в столовой ко мне подошел повар, бывший солдат РОА.

- Ты чего это всем жизнь портишь? Если сам свинину не жрешь, зачем мешаешь другим есть? Зачем строчишь жалобы, чтобы не варили свинину?

- Откуда вы это взяли?

- Как откуда? Мне врач Петров сказал. А что, не писал ты жалобу?

- Писал только про гнилую рыбу.

- Нет, про мясо писал. Потому его и нет, что ты жалуешься.

Ловко придумали гебешники. Вместо того, чтобы улучшить питание, свалили все на "жидов". Спрашиваю доктора Петрова:

- Откуда вы взяли, что я жаловался, будто свинину все время варят? Вы сказали это повару!

- Идите, Менделевич! Ничего я никому не говорил, а писать жалобы прекратите!

- Не старайся их переубедить, - уговаривал меня Зеэв. - Я сам слышал, как два старика-полицая говорили, что ты жалуешься на тухлое мясо потому, что тебе, мол, курочку подавай!

Аналогичную провокацию устроили с "музыкой". В шесть утра - побудка. Вообще подъем в лагере - тяжелый психологический момент: надо расстаться с миром грез и вернуться в страшную действительность. К тому же начальство использует эти минуты, чтобы лишний раз поиздеваться над заключенными.

Ровно в шесть раздавался сигнал, похожий на вой пожарной сирены. И так несколько раз подряд. Казалось, и мертвый проснется. Но арестант после тяжелого рабочего дня даже не шевелился. Вслед за сигналом раздавался топот сапог, и в барак врывались охранники. Зажигали свет, включали на полную громкость радио, стаскивали с нар тех, кто не успел встать.

Для меня проблема побудки не существовала: чтобы молиться, я вставал на час раньше. Сердце болело за тех, кто только что вернулся с ночной смены и был разбужен окриками надзирателей. Наглость возмущала. Ведь по правилам вторая смена могла отдыхать до восьми утра. Я написал заявление, требуя, чтобы рабочих второй смены держали в отдельном бараке и прекратили включать радио на полную мощность. Мои требования, конечно, не удовлетворили.

Начальство пустило слух, что я добиваюсь прекращения трансляции музыкальных радиопередач. Лагерные бездельники возмутились. Почти все свободное время они слушали советские песни. Страсти накалялись:

- Жидам музыка мешает. Я ему очки сломаю, - кричал, махая кулаками, молодой солдат-дезертир.

На поверке я вышел из строя:

- Гражданин начальник! По лагерю пустили слух, что я требую прекратить передавать музыку. Писал я вам об этом в заявлении или не писал?

Заклученные замерли и с напряженным вниманием ждали, что ответит Журавков.

- Менделевич, почему вы меня допрашиваете?

- Потому что слух пущен администрацией специально, чтобы поддержать антисемитские настроения. Даже бить якобы собираются. Так писал я вам или нет?

- Ну, вы-то, Менделевич, за себя постоять сможете!

Журавков ушел, так и не удостоив меня ответом.

На следующее утро, когда охранники ворвались в барак и включили свет и радио, я на глазах у изумленных эзков и надзирателей выключил и то и другое.

- Ну и наглый же вы, Менделевич! Это даром вам не пройдет! - прорычал охранник.

Меня посадили в карцер, но когда я вернулся, бравурные звуки советского гимна уже не будили по утрам заключенных.

Однако мои столкновения с администрацией лагеря не прекращались. На этот раз судьба свела меня с бывшим полицаем Вальчуком. Он заведовал "ленинским уголком", в котором зэки могли писать письма домой. Часы работы этого "ленинского уголка" подобраны странно: только сядешь писать, как Вальчук уже закрывает. Его особенно раздражали политзаключенные, использовавшие эту комнату для обсуждения своих дел и писания каких-то бумаг. Кагебисты знали об этом и поэтому старались большую часть времени держать помещение закрытым. Но его существование предусматривалось приказом министра внутренних дел. Иногда заключенные возмущались и не уходили из комнаты. Тогда Вальчук звал охранников, и те выводили зэков силой, а потом сажали в карцер, урезывали паек или отменяли очередное свидание. Даже самые низкие арестанты, стукачи и прочий сброд иногда пытались выдавать себя за приличных людей. Этот же настолько обнаглел, что и не думал скрывать свою продажную сущность. Когда рядом никого не было, я бросил ему на ходу:

- Смотри, негодяй! Будешь доносить - пожалеешь!

В тот же день Вальчука перевели в другое отделение лагеря, а на меня завели новое дело: "терроризирование заключенных, вставших на путь исправления".

...После шестилетнего заключения определился мой характер. Все эти столкновения свидетельствовали о том, что я созрел как политзаключенный. Но все же часто моими поступками руководили эмоции. Я никогда не мог смириться с унижением человеческого достоинства.

Операция "СВАДЬБА"

Глава пятая: ПЕРЕД ИСХОДОМ

Как бы то ни было, возвращение Ури в лагерь сыграло важную роль в моей судьбе. Он готовился к освобождению и был озабочен целым рядом задач, которые предстояло решить здесь, еще до выхода на волю. Во-первых, стоит ли направляться домой, где уже семь лет его ждали родители, и оттуда подавать заявление на выезд в Израиль, или лучше - в Москву, к Иде Нудель, нашему доброму ангелу? А может, к моему отцу, в Ригу? Во-вторых, как собирать и хранить информацию, чтобы вынести ее из зоны? Решили, что к родителям ему ехать не стоит, так как за ним будут следить, заставят жить под наблюдением милиции: дважды в день ему придется отмечаться, и практически он лишится возможности репатриации. Часами мы обсуждали, как лучше всего, пересаживаясь из поезда в поезд, сбить агентов со следа и доехать до Риги.

Кроме этих бесконечных обсуждений Ури был занят обработкой собранного материала о положении в лагерях и судьбах заключенных. Этот материал он пересылал в письмах отцу. Смачивая лист бумаги, он накладывал на нее полиэтиленовую пленку и писал. Когда лист высыхал, никакого следа на нем не оставалось. Все это мы с ним проделывали во дворе, сидя на земле и держа в руках письма. Издали казалось, что мы их читаем. Это позволяло вовремя заметить грозящую опасность и спрятать тайнопись. Ури был уверен, что КГБ не знает этого способа - иначе его отец не получал бы все письма. Однако потом выяснилось, что отец их действительно читал, но... в помещении КГБ.

Эти заботы настолько поглотили Ури, что он перестал выполнять многие мицвот и даже решил работать по субботам.

- Если за это меня посадят в карцер, я лишусь возможности осуществить задуманное, - объяснял он.

- Сбор информации ни в коем случае не важнее соблюдения субботы, - возражал я. - Без нее нет жизни, а без информации - проживем!

Я поделился с Ури всем, что имел: выписками из Торы, записями уроков иврита и молитвенником (Зеэв достал мне еще один Сидур). Несколько суббот Ури все же работал, а потом перестал. Начальство пыталось его заставить, но не смогло. Не поддавался. Его оставили в покое: до освобождения ему всего лишь месяц. И

принялись за меня. Сначала стащили детали, заготовленные мною в течение недели. Когда в субботу я пришел на завод, бригадир-заключенный, который по договоренности со мной брал мою норму из тайника, сказал: "Нет твоих деталей, пропали!" Я расстроился. Политзаключенные, узнав о случившемся, сдали за меня норму и принялись искать виновников. Но, конечно, ни Федоров, ни Журавков ни о чем понятия не имели. Они думали, что, не найдя своих запасов, я со страху начну работать. Вообще в моем поведении они видели проявление слабости и поэтому решили, что меня можно заставить работать.

Антисемиты испокон веков считали верующего еврея человеком слабовольным и трусливым. Мне предстояло доказать, что это не так. Я обдумывал, как лучше отреагировать на пропажу. Заявить открыто, что я не подчинюсь их законам, и по субботам вообще не выходить на завод? Но за это тюрьма. Продолжать молчаливую тактику? В конечном счете решил не проявлять инициативы. Соблюдение субботы для меня не политический шаг, и, следовательно, демонстрации мне не нужны. Однако кое-что в своем поведении я изменил. По-прежнему выходил на завод и заранее готовил детали к субботе, но больше уже не прятался по углам, а открыто сидел летом на улице, а зимой - в раздевалке. Меня, конечно, могли посадить в тюрьму, но они хотели меня сломить иначе. Я это понимал... Пусть делают со мной все, что угодно, - никто не заставит меня отказаться от веры. Я как песок: меня будут топтать, но при первой возможности я вернусь в прежнее состояние.

Итак, каждую субботу с обреченностью смертника я отправлялся на завод, садился на свое излюбленное место и начинал молиться. В 8.15 первый обход надзирателей. Те, кто поленивее, ограничивались только замечаниями:

- А, Менделевич, снова не работаете? Давно не наказывали вас?

Другие издевались, находя в этом особое удовольствие. Например, сержант Зейнатуллин, служивший ранее в охране мавзолея Ленина, что составляло предмет его гордости. Он ходил по зоне, выпятив вперед грудь и чеканя шаг, словно в карауле на Красной площади. Зейнатуллин мог подолгу простаивать около меня и горланить грязные речи, в которых изливалась вся его ненависть к евреям и Израилю. Он явно хотел спровоцировать меня на спор. Но я сидел спокойно: у меня суббота и о других делах говорить не полагается. Однако я понимал, что его угрозы - не пустые слова. Теперь почти за каждую нерабочую субботу приходилось платить заключением в карцер, уменьшением нормы питания или - еще того хуже - лишением свидания.

Прибег я и к другому методу. Садо работал в кочегарке. В его распоряжении были группы по разгрузке угля. Договорился с ним о том, что по вечерам буду работать с одной из групп и это мне зачтется за субботу. Но у администрации свои планы. В первый же вечер к машинам с углем прибежал майор Федоров:

- Ну-ка, Менделевич, кончайте разгрузку и идите в жилую зону!

- Почему? Ведь разгрузить нужно!

- Это вас не касается! Прекратите пререкаться! Ступайте!

Дело приближалось к развязке. В следующую субботу Федоров решил добиться успеха там, где потерпел поражение сержант Зейнатуллин.

- Менделевич, идите работать!

- Не пойду!

- Почему?

- Евреям в субботу работать нельзя!

- Здесь действуют только советские законы!

- Ничто не заставит меня преступить запрет!

- Приступайте к работе, иначе будем судить за тунеядство!

Я промолчал. Что поделаешь?! Он понял наконец, что тюрьмой меня не возьмешь, но не уяснил себе одного: в этой ситуации у меня вообще не было пути к отступлению. Ведь за нашим поединком наблюдала вся зона: кто победит - еврей или советская власть.

Через несколько дней зачитали приказ: "За неоднократный отказ от работы и отрицательное влияние на других заключенных - месяц ареста в ПКТ". Таков порядок: до суда заключенного сажают в ПКТ. Это последнее предупреждение. Если и это не помогает - тюрьма.

Я собрал свои вещи: мыло, кружку, полотенце и иврит-русский словарь. Книги взять не мог - предстоял шмон. В помещении для обыска приказали раздеться догола, и началась проверка каждой вещи. Не очень приятно стоять голым на виду у надзирателей.словно конь на базаре. Но что поделаешь? Приходилось подавлять в себе чувство стыда, а это не просто.

С ПКТ я и прежде был знаком. Это тот же карцер, где я сидел несколько раз. Разница в том, что в ПКТ на ночь дают матрац и одеяло, а в карцере нет. В ПКТ имеется радиоточка, можно слушать Москву и читать газеты. Выводят на прогулку в проволочную клетку размером 2 на 5 метров. Всего тридцать минут. Ты как зверь мечешься взад и вперед под пристальным наблюдением надзирателей. Все время один. Особенно тяжело по вечерам. Темно, тихо, как в могиле. Тут начинаешь чувствовать, как недостижимо исполнение мечты. Где Израиль и где ты? Отец так далеко. Ты лишен семьи и даже представления о нормальной жизни, здесь все направлено против человека. Неужели кто-то по утрам идет в синагогу, а потом на работу? Может, это фантазия? А реальность - ежедневные издевательства и унижения. Ты поставлен в положение несмышленика, которого все время одергивают: Менделевич, не разговаривайте... не стойте... не сидите... не пойте... не спите... не спорьте...

Единственная отдушина - беседы с Евгеном Сверстюком. Он сидит в камере напротив и, когда надзиратель выходит из коридора, мы успеваем перекинуться через дверь несколькими фразами. Договорились, что в рабочей камере, где мы

ежедневно работаем в две смены, будем оставлять записки в патроне лампочки. Работа - нарезка резьбы на гайках. Вручную надо нарезать больше килограмма. Если работать по правилам, нормы не выполнить. Это значит продление срока и новые наказания. Я нашел выход: зажимаю в тисках не вертикально, как положено по инструкции, одну деталь, а горизонтально - тридцать штук и нарезаю их сперва с одной стороны, потом с другой. Нужна быстрота - я ведь делаю заготовки на субботу. Готовые гаечки нанизываю на нитку и получившееся ожерелье прячу в щели пола.

В пятницу ведут работать в 16.00, еще до наступления субботы. Ловлю момент, когда надзиратель выходит, и вытаскиваю заготовленные детали. Пока не наступит суббота, работаю - чтобы тюремщик видел. Оставшиеся часы просиживаю за станком. В окне луна. Весь мир вымер. А я сижу в каменной холодной клетке. Один в мире - без ощущения времени и места - праздную свою субботу. Произношу все молитвы, какие помню. Открывается глазок в двери:

- Менделевич, почему не работаете?

- Я уже норму выполнил.

Надзиратель поражен. Как, уже? Но норма действительно готова. Начальство понимает, что я опять играю.

Только не может понять, где я прячу детали. Иногда меня наказывают, иногда - нет. К наказаниям надо привыкнуть. Сами по себе они не тяжелы. Не дают есть. Ну и что? Главное - не бояться, не гадать: накажут - не накажут? Какое это теперь имеет значение? Я делаю свое, а они - свое.

В ПКТ меня посадили в канун Хануки. Первая свечка - в годовщину суда над нами. По традиции, объявляю в этот день голодовку. Пишу заявление: "Отказываюсь от советского гражданства. Требую свободы вероисповедания. Требую освобождения. Требую права всем евреям выехать из СССР". В ответ - лишение очередной посылки.

Кагебисты возмущены: "Сколько ни наказывай, а он еще чего-то требует. Наглец! Не ест? Ничего, свиньям больше достанется!" (В зоне есть свиноферма, куда попадают объедки из тюремной столовой.)

Вечером заканчиваю голодовку. Первая свечка приготовлена из ниток, которые удалось пронести в камеру. Но вот незадача - нить не горит. На следующий день рисую две свечи на стене. Стены в камере изрезаны надписями. Здесь, конечно, и мои субботние свечи и мои стихи о море, о солнце, которое освещает голубизну вод.

Из камеры Сверстюка раздается:

- Вы понимаете, что вас готовят к тюрьме?

- Да, понимаю! - Теперь моя задача выйти в жилую зону, попрощаться с друзьями, собрать вещи.

В карцере чувствую себя, как дома. На этот раз у двери, как ни странно, лежит половик. Беру его в руки - да ведь это кусок старого одеяла! Сразу же прошу

включить воду и стираю его. Теперь на нем можно спать. Кладу половик снова у входа, чтобы не забрали, и когда вечером объявляют отбой, начинаю готовиться ко сну: половик кладу под рубашку на спину. Носки распределяю так: один натягиваю на обе руки - здесь они сильно мерзнут. Одна нога остается без носка, но зато в ботинке, другая с носком, но без ботинка. Он под головой. В этот ботинок вставляю кружку, а сверху кладу войлочную стельку. Это моя подушка. Куртку снимаю и один ее рукав надеваю на голову, а в другой завертываюсь до поясицы. На нее кладу кусок старой газеты. Итак, все наиболее чувствительные места защищены. Надзиратель с удивлением наблюдает за моими приготовлениями. Но я отношусь к ним серьезно: от этого зависит мой сон и завтрашнее самочувствие. Читаю "Шма Исраэль".

Не всегда удается уснуть. Встаю и делаю физические упражнения. Пар идет изо рта. Надзиратель смотрит через глазок и смеясь подбадривает: "Ну, давай, спортсмен, давай!" А мне не до смеха. Заболеешь в карцере - кто поможет?

Доктор Петров уже давно определил свою позицию: "Я прежде всего чекист, а лишь потом врач". Поэтому он относится к больным, как к врагам.

Однажды было так холодно, что пришлось звать дежурного. У того было хорошее настроение, и он пообещал мне дать ватник. Вот это счастье. Целый день согревался ожиданием теплой ночи. Но теперь дежурил капитан Рак. Я пожаловался на холод в камере. Рак принес градусник и принялся измерять температуру, стоя в проеме дверей.

- Гражданин начальник! Вы измеряете температуру в коридоре. Зайдите в камеру!
- Не могу! Вы - особо опасный преступник! А вдруг нападете!
- Тогда дайте его мне, я измерю сам!
- Нечего мерить, смотрите: плюс шестнадцать!
- Какие там плюс шестнадцать, если стена покрыта инеем!
- Прекратить пререкания! - С грохотом захлопнулась дверь.

В эту ночь спать не пришлось. Но зато на следующую отогрелся новостью: из Владимирской тюрьмы освобожден Буковский. Об этом писали советские газеты. Я позволил себе немного распуститься, помечтать о том, как я прилетаю в Израиль, встречаю родных, иду к Стене плача...

Шел 1977 год. Моя последняя суббота в ПКТ чуть не обернулась для меня продолжением срока. Когда, присев на корточки, я принялся вытаскивать из-под пола детали, вдруг послышались шаги надзирателя. Поторопился - оборвалась нитка, и все мое "богатство" рассыпалось. Но шесть лагерных лет научили меня не строить расчетов на зыбком песке. Я заготовил деталей в три раза больше, чем полагалось, и следующая попытка их вытащить оказалась удачной. Надзиратели ничего не заметили.

Словно в награду за успех мне разрешили вернуться в зону. Вышел из ПКТ обогащенный знанием своих возможностей. Меня хотели запугать, а я, наоборот, убедился, что ничего страшного в наказаниях нет. Все зависит от того, как к ним относишься. Стоит лишь себя убедить, что карцер вполне переносим, и его действительно можно выдержать.

В лагере меня ждали любопытные новости. Прибыл Таратухин, арестованный в возрасте двадцати одного года за создание в Башкирии организации, боровшейся против башкирского засилья в государственном и партийном аппарате республики. Во время следствия он согласился сотрудничать с КГБ. За это обещали освобождение и помощь при поступлении в институт. По его словам, принимая такое предложение, он преследовал и иные цели: выявить агентов КГБ. Но вот спустя два года работы на органы он вдруг на имя XXIV съезда КПСС написал заявление, в котором разоблачил себя как агента КГБ и отказался от советского гражданства. В лагере Таратухин поддерживал хорошие отношения со всеми евреями, а также с такими диссидентами, как Ковалев и Сверстюк.

Так мы узнали, какого рода задания он выполнял в прошлом. Например, одно заключалось в том, чтобы все беседы с заключенными переводить в антисемитское русло. Другое - войти в доверие к евреям, потому что с ними имеются определенные трудности и нет надежного источника информации. Потом указание: прекратить агентурную деятельность и готовиться к аналогичной на воле. Связи Таратухина с КГБ осуществлялись через врача: Таратухин часто жаловался на боли в сердце и попадал на прием к Петрову, который действительно был кагебешником, а не врачом. Он и давал ему инструкции, а также расплачивался с ним - плитками шоколада. Мы часто замечали, что Таратухин гуляет один. Думали, так ему легче. Оказалось, он тайком ест шоколад. Выяснилось, что это он, Таратухин, рассказал КГБ о моей роли в организации забастовки. Теперь стало ясно, почему меня преследовали за соблюдение субботы.

Обнаружилось и другое. Когда шла борьба за статус политзаключенного, диссидент Олег Воробьев пытался убедить одного парня не принимать участия в этой борьбе. Но переубедить его не смог, тот все же написал заявление. Начальство решило, что это результат влияния Олега. Его посадили в карцер на десять суток. Все происходило на глазах у Таратухина. Следовательно, администрация знала истинную позицию Олега! И все же его уперли в карцер. Возникло подозрение, что наказание инсценировано КГБ, чтобы обелить своего агента и постоянно иметь от него точную информацию о наших настроениях.

Кто мог бы подумать! Человек, известный своей готовностью пожертвовать сном и покоем, чтобы вовремя размножить листовки, был профессиональным агентом? Другое дело Таратухин. Вначале он объяснял свое саморазоблачение тем, что решил "кончить игру", так как не сумел выявить других агентов. Потом признался, что отомстил кагебешникам за обман - его не освободили в обещанный срок. Но что можно ожидать от юнца, который хотел изгнать башкир из Башкирии и однажды, еще на воле, добыл деньги, угрожая игрушечным пистолетом кассирше прачечной? Поэтому, когда мы возмущались его предательством, Евгений Сверстюк справедливо заметил:

- А что, разве раньше вы не понимали, кто он? Почему вы не осуждали его за грабеж?

Он был прав. В лагере обычно не придают значения моральной стороне поступков, совершенных на воле. Выходит, что цель оправдывает средства.

Таратухину объявили бойкот. Он снова гулял вдалеке от всех, но теперь уже без шоколада. Только Ковалев взял его под свою опеку: "Надо, мол, проявлять христианскую любовь даже к предателю".

Но у Ковалева были свои беды. Геморрой, которым он страдал много лет, обострился. Врачи подозревали у него рак. Предлагали операцию в тюремной больнице. Это было бы самоубийством - лечь под нож Петрова. Ковалев потребовал перевода в центральную тюремную больницу и свидания с женой перед операцией. В феврале он начал голодовку. На пятые сутки его изолировали. Однако на прогулке я мог перекинуться с ним двумя-тремя фразами на английском, который я к тому времени уже подучил.

Между тем, мы прочли статью Липавского в "Известиях", где он доказывал связь сионистов с ЦРУ. Среди "шпионов" и "агентов ЦРУ" - знакомые фамилии: Воронель, Шахновский, Щаранский. Их мы знали по фотографиям, которые присылала нам Ида Нудель. Сомнений быть не могло - готовились аресты.

Однажды, когда на прогулке я встретился с Сергеем Ковалевым, он произнес на английском: "В тюрьму", - и взмахнул руками, как крыльями. Приставленный к нему капитан Рак отогнал меня:

- Не подходить! Что, карцера захотел?

Но мне было не до угроз. Что имел в виду Ковалев? А, понял! Арестован Орлов! Та же судьба уготовлена и Гинзбургу, и Щаранскому. Действительно, через несколько дней мы узнали, что арестован Анатолий Щаранский. Но заключенные особый народ - не унывают: "Скоро, значит, увидимся. Интересно, какой срок получат, куда попадут. Может, к нам на зону?" Казалось бы, безжалостно? Но в лагере на это смотрят иначе. Здесь тоже жизнь! Нечего делать из этого трагедии!

Весной 1977 года этапом прибыли из 35-й зоны Светличный и Глузман. Семен Глузман разыскал меня:

- Хочу поговорить с тобой. В том лагере сионисты меня не признавали. Требовали, чтобы я учил иврит, а после освобождения ехал в Израиль. Но я не могу так. Я нашел себя в демократическом движении. Кроме того, я пишущий человек. Стихи, рассказы. Что мне делать в Израиле? Я должен жить на Западе, там, где мои единомышленники. Но это не значит, что я не люблю Израиль. Он моя духовная родина.

Я не мог оттолкнуть его. Если Симха (так Семен просил называть его) хочет считаться сионистом, зачем мешать ему? Чем он хуже евреев, не живущих в Израиле и считающих себя сионистами? И вообще, что такое сионист? Можно ли

называться им после создания еврейского государства? Главное для меня - быть евреем, жить на земле Израиля с нашей вечной Торой.

Но я не стал объяснять ему все это. Он жил другим. У него не было времени читать письма из Израиля. И в открытках оттуда он не видел смысла. Его арестовали за предание гласности факта помещения политзаключенных в психиатрические больницы. Сын известного психиатра, сам врач-психиатр, Семен собрал обширный материал и передал его за границу. Акция была серьезной и важной. Попав в 35-ю зону, он стал ее лидером, мозговым центром. Ему удавалось переправлять на волю "Хронику лагерных событий".

К нам в лагерь был этапирован также Михаил Казахов. Его мать - еврейка, отец - русский. Михаил решил уехать за границу и занялся переправкой туда ценных картин, книг и икон. Осуществлял это через сотрудника посольства Заира. Когда значительная часть коллекции оказалась на Западе, он принялся разрабатывать план бегства. Ему, физику, не дали бы разрешения на выезд из СССР. Может, обратиться за помощью к Америке? Назначил свидание с американским консулом в Ленинграде. Оно состоялось... на лестничной площадке дома, где жил консул. Михаил принес список ученых, имевших допуск к секретной информации. Как органы узнали о встрече, трудно сказать, но не прошло и недели, как Михаил был арестован и потом осужден на пятнадцать лет.

Казахов считал, что суровая мера наказания преследует цель запугать тех ленинградских ученых, которые хотят выехать из Советского Союза. На суде он признал себя виновным и раскаялся. "Моя вина заключается в том, что я всегда был эгоистом и до других мне не было дела". Хотя на суде редко говорят правду, но это была сущая правда. Он действительно во всем искал личную выгоду. Оказавшись в лагере, он стал прикидывать, что выгоднее: стать сионистом или диссидентом. Кто наверняка сможет помочь освободиться - Израиль или Америка?

Был еще третий вариант - сотрудничество с КГБ. Михаил располагал фактами, порочащими некоторых членов Ленинградского обкома партии: они присваивали себе государственные ценности и через подставных лиц переправляли все за границу. Михаил предложил кагебешникам дать особо важные сведения в обмен на освобождение. Но приехавший из Москвы работник государственной безопасности никакого интереса к информации не проявил. Возможно, ему лично выгоднее было не ввязываться в это темное дело. Так или иначе, но у Казахова ничего не вышло. Его определили в наш барак, и мы спали на двухъярусных нарах: он наверху, а я внизу. Вместе мы проводили большую часть дня. Я познакомил его с Ковалевым, Сверстюком, Глузманом. Последний его очень заинтересовал. Еще бы! Друг академика Сахарова, известный диссидент! Не то что какой-то сионист, к тому же верующий и изучающий иврит.

- Мораль - это чистая условность, - говорил Михаил. - Моя мораль - делать так, как мне удобно.

Я ему возражал:

- Нет, если бы люди сами для себя устанавливали нормы поведения, то мир не мог

бы просуществовать ни одного дня. Все от Б-га!

- Завидую тебе, Йосеф. Я тоже хотел бы верить. Но вот посмотреть бы на тебя этак года через три. Останешься ли ты прежним?

Симха был иным. Он искал смысла в жизни, искал веры. Помню, как он сказал мне:

- Не могу принять христианства. Оно мне чуждо своим вечным сознанием вины и отсутствием радости жизни, жизненной энергии.

Ребята были недовольны мной за то, что я признал его сионистом.

- Ох, уж эта твоя вечная мягкотелость, - журил меня Марк. - Завтра, если Федоров попросит, признаешь его Герцлем!

И все же на Песах мы пригласили Симху, а не Михаила. Снова, как прежде, возник вопрос о маце. Где и как ее достать в нужном количестве? Отец прислал мацу в бандероли. Срок выдачи наступал после Песах. Я пытался уговорить начальство - не помогло. На мое счастье приехал полковник Миков. Он делал обход на заводе. Подойдя к моему станку, остановился, наблюдая за скоростью моей работы. Я вскочил с места. В руках у меня был гаечный ключ - чинил станок.

- Гражданин начальник, прошу выдать мне мацу до Пасхи, иначе она мне не нужна. Если не разрешите, приму меры!

- Не надо, не надо мер, - пяясь назад, бормотал Миков.

Я забыл, что в руках у меня гаечный ключ, а он испугался - подумал, что хочу ударить его.

После работы меня вызвали в штаб. Начальник оперативного отдела Рожков выдал мацу. Все знали, что он вручал бандероли только своим агентам. Это была провокация. Значит, хотят скомпрометировать меня.

- Ну что, получил?-спрашивали, гнусно улыбаясь, всякие сволочи: мол, и ты такой же, как мы.

Но мне было безразлично. Главное - маца. Праздник мы устроили на славу. Симху поразил компот и пирог из мацы. И все же он спросил:

- Стоит ли столько времени тратить на еду?

- Для тебя главное - еще одна жалоба, а для нас - еврейский праздник. Это не менее важно, чем передать информацию из лагеря.

12 апреля 1977 года Марк принес мне первый кусок хлеба - все восемь дней Песах у меня не было мацы, а хлеба я не ел. Не успел поднести хлеб ко рту, как пришли два надзирателя: "Собирайте вещи!" - Сердце екнуло: отправляют на суд. Я был готов к этому: заранее все упаковал и еще месяц назад написал речь на иврите.

Долго трясла меня машина по ледяным дорогам Урала. Вокруг лес, грязный снег, вдалеке горы. На выезде из особой зоны пьяный охранник в мятой шинели вылез из будки и открыл шлагбаум. Машина подъезжала к зданию с табличкой: "Чусовской народный суд". Два солдата с автоматами и овчарками повели меня в зал суда.

Шесть часов вечера. Рабочий день закончился. Теперь самое время судить политзаключенного. На судейском кресле одноглазая женщина. О ней рассказывали многие осужденные. "Представители народа" - две секретарши. Прокурор - Долматов, брат офицера нашего лагеря. "Общественный" обвинитель - лейтенант Рожков.

Перед началом допроса я предупредил:

- Мой родной язык - иврит. Моя речь написана на иврите. Требую переводчика и адвоката.

- Переводчика и адвоката вам не положено, - резко ответила на мое требование судья.

- Но мне будет трудно переводить речь с иврита!

- Это нас не касается!

Тогда я решил говорить на русском: ведь им выгодно, чтобы я молчал. Значит, надо поступать наоборот.

- Меня обвиняют в том, что я отказывался от работы, - начал я. - Но это не так. Я не отказывался, а лишь просил перенести выходной день с воскресенья на субботу.

Удивительно, судью не подготовили. Думала - перед ней обычный тунеядец, а он, оказывается, не работает из принципа. Это вызвало замешательство. Она распорядилась принести календарь. Стала проверять даты. Действительно - все субботы.

Затем Рожков зачитал обвинение, в котором среди прочего содержалось признание в ошибке начальства: мне, якобы, одно время позволили не работать по субботам. Но я дурно влиял на других, и поэтому мне место в спецтюрьме.

В последнем слове я заявил:

- Меня арестовали незаконно. Не я виноват, что советская власть не дала мне разрешения на выезд и тем самым вынудила предпринять попытку бегства из Советского Союза. Поэтому приговор по моему делу я не признаю законным. Поскольку приговор незаконен, все требования лагерной администрации тоже незаконны. Я не преступник. Ни в одной стране мира не запрещается верующим, даже если они заключенные, исполнять предписания своей веры. В Советском Союзе это запрещено даже свободным людям. Я требую освобождения и разрешения на выезд в Израиль! - Менделевич, вы ведете себя вызывающе! Слишком много о себе думаете! Это клевета на Советский Союз! - пыталась раззадорить себя судья.

Не знаю почему, но все тюремщики считали мое поведение наглым. На их языке верность принципам называется наглостью.

Суд удалился на совещание. Приговор был таким, как требовал КГБ, - три года тюрьмы. Однако в приговоре судья почему-то сочла нужным сделать оговорку, что я не работал по субботам из религиозных соображений. Зачем? Не знаю.

Меня повезли в тюрьму. Что это? Флаги на улицах! А, день советских космонавтов. Вот и меня запускают в "космос".

...Как правило, после суда, пока не оформят документы, месяца два держат в лагере. Однако меня не вернули на прежнее место, а запрятали в ШИЗО тридцать седьмого лагеря, находившегося на станции Половинка. Очевидно, опасались, что зэки могут провести акцию протеста в связи с судом надо мной.

В Половинке я жил в полной изоляции от всех. Даже в баню водили ночью. Смешно мыться в полночь в огромной пустой бане под неусыпным оком двух надзирателей.

Сидеть в одиночке не легко. Я был болен, обострилась болезнь желудка. Помощи нет. Однажды принесли какие-то серые таблетки. Я их выбросил - кто знает, что за отравка. В соседнюю камеру посадили Таратухина. Он уже перебрался сюда. Говорит, что его тоже судили. Что это - провокация? Снова взялся за свое? Но я не стал с ним переговариваться.

Затем из Перми приехали посмотреть на редкое животное, на сиониста, работники органов. Молодые, сытые, довольные собой. Меня будто не замечают.

- Что это у него? - спрашивают, указывая на консервную банку, из которой я пил воду.
- Не положено, отобрать!

Но меня это не трогает. Моих секретов они не знают. Когда зэка переводят из одного лагеря в другой, выдают все принадлежащие ему вещи, которые хранились на складе. Так я получил свой Танах, талит и переписанные молитвы. Я был занят своим делом. У меня норма - в день выучить на память псалом, затем учить утреннюю молитву. Собственно говоря, я начал это еще в лагере, когда выяснилось, что молиться по Сидуру мне не дадут. Однажды ранним утром, до подъема, стал молиться. Меня увидел капитан Чукаинов и пригрозил, что если еще раз заметит, мне не сдобровать. Через несколько дней из тумбочки пропал Сидур. Только благодаря Садо, который заявил, что книга принадлежит ему лично, удалось получить ее обратно.

Итак, дни, проведенные в изоляторе, оказались самыми спокойными и счастливыми в моем многолетнем заключении. Я избавился от постоянного напряжения, связанного с борьбой за кипу, за субботу, словом, за все. Наконец я остался наедине с самим собой, лагере с трудом можно найти место, где нет народа.

Вокруг тебя всегда кто-то есть. Это порой угнетает больше, чем одиночество.

Пребывание на станции Половинка затянулось. Как-то Дзюба, убирая коридор изолятора, улучил момент, когда рядом с ним не было надзирателей, и шепнул:

- Вас, видно, хотят освободить.

В это время в СССР готовилась новая конституция, и все заключенные, разумеется, надеялись на изменение уголовного кодекса и освобождение. В тюрьмах не проходило дня без надежды на помилование. Большинство арестантов этим живет. Но я давно прекратил рассчитывать на чудесное избавление. Отец, по моей просьбе, больше не писал о всевозможных вариантах спасения. Я думал, что и ему так лучше. Ведь освобождение Сильвы, Кудирки и Буковского вселяло новые надежды. А потом тяжелые разочарования: в моем положении не было перемен.

В субботу, 4 июня, почти через два месяца после суда надо мной, по радио начали передавать текст новой конституции. Громкоговорители включили на полную мощность. Интересно, как будет звучать закон о советском гражданстве? Но в тот день я так и не узнал, какие новые права появились у советского гражданина. Вдруг дверь отворилась, ворвались надзиратели:

- Живее! Живее! - торопили меня.

Этап?.. Неужели специально субботу выбрали?

- А это что за макулатура? - бросали на пол израильские открытки. - Собираете всякую ерунду!

- Мое дело, что собирать!

- Ладно! Не огрызаться! Хватит болтать! Давай, собирай поскорее вещи!

Повезли на станцию, посадили в поезд и на исходе субботы доставили в кировскую городскую тюрьму. Камера в подвале. Вонючая, с лужами мочи на полу, с комариной кровью, размазанной по стенам. Перед тем как лечь спать я попросил у надзирателя свежую газету.

- А зачем тебе? Про конституцию читать?

- Да, про конституцию.

- Ничего там нет! Какой была, такой и осталась!

Не знаю, почему старик-старшина так откровенно высказался. Ведь его слова - явная антисоветчина.

В правоте его слов я убедился на следующее утро. Принесли газету. Я жадно стал искать то место в конституции, где говорилось о советском гражданстве. Действительно, на этот раз принят такой закон со всякими пунктами и подпунктами. Теперь советский гражданин может заявить о своем желании сменить гражданство. Однако ниже перечислялись случаи, когда такое право предоставлено быть не может. Одним словом, типичный советский стиль: закон без закона. Формулировка преамбулы гласит: "Как правило...", что означает: есть исключения, о числе которых никто точно не знает.

Я читал эту галиматью, а за дверью слышались голоса:

- Ну, Гена, написал?

- Нет, не могу! Как прочту приговор, так темно становится. Ни слова правды!

- Пиши, говорю тебе. Не думай об этом и пиши! Жалко ведь с жизнью расставаться!

Это надзирательница убеждала заключенного, приговоренного к смертной казни, написать прошение о помиловании. Парень явно был уголовником.

- Эй, новичок, ты откуда приехал? - закричал мне Гена.

- Я политический.

- А я жду расстрела. В лагере одного стукача придавил. Вот мне вышку и приклеили! Слушай, у тебя поесть не найдется?

У меня было пятьдесят граммов сахара, которые выдали перед этапом в тюрьму. Я попросил надзирательницу передать Гене сахар.

- Ну, спасибо тебе! А чайку нет?

- Нет, сам в тюрьму еду!

- Эх, жаль! Для меня чай - последнее удовольствие! Напиться бы перед смертью!

Договорить нам не удалось - меня повели на прогулку. Прогулочные дворики размещены на крыше тюрьмы. Окна женского корпуса выходят туда. Сейчас гуляли мужчины. Каждый сантиметр серого асфальта двора покрыт плевками, окурками и жидкостью подозрительного запаха. Никакого ощущения, что гуляешь на свежем воздухе. Мужчины обмениваются с женщинами "комплиментами". Все ругательства, какие только существуют в русском языке, пускали в ход, причем женщины в этом "искусстве" не уступали мужчинам. После каждого словесного выстрела раздавался взрыв ржания и рева. Чтобы помешать таким "разговорам", на крышах установили громкоговорители, через которые лилась самая что ни на есть советская песня: "Я, ты, он, она - вместе целая страна..." Страна преступников. Но рев репродуктора не мог заглушить грязный мат арестантов. Он как бы служил рефреном к песне о силе советского народа. Так и остался в моей памяти грязный дворик, грязные слова и бравурные звуки советской песни.

После прогулки повели к воронку.

- Кто такой? - кричит конвойный.

- Я особо опасный государственный преступник.

- Давай его к "особо опасным"! Так я очутился в одном отсеке с ворами-рецидивистами и убийцами.

- Эй, земляк, вещички есть?

- Нет ничего!

- Да не заливай, есть, конечно! Дай маечку шелковую или носочки!

Меня действительно раздели бы тут же, если бы за решеткой двери не сидели

солдаты с автоматами. У них свой бизнес:

- Ну что, ребята, одеколону хотите?

- А какой у тебя? Сколько просишь?

- "Тройной" и "Шипр". Два куска (т. е. пятьдесят рублей).

Потянулись руки с деньгами. Деньги заключенным держать строго запрещено, и солдаты обязаны их отбирать. Но зачем наносить себе ущерб? Получив флакон, заключенный с удовольствием опорожнял его, а потом, как положено, сдавал пустую тару.

От места выгрузки до вагона метров триста. Я задыхался от тяжести двух чемоданов, набитых книгами и письмами. У меня накопилась огромная подшивка переписки, главным образом с отцом и матерью. Почетное место принадлежало и письмам Меира Шилоаха из Квудат Явне. Он писал мне каждую неделю в течение всего срока заключения.

- Эй, что у тебя в чемоданах?

- Давно пора бы сжечь! Ну, куда их несешь? Кидай сейчас же!

Но как выбросить все это, да еще недельные главы Торы?

- Давай, быстрее, быстрее, - подгоняет конвойный.

Колонна заключенных устремляется вперед, и я стараюсь не отставать. Сердце учащенно бьется. Конвульсивно сжимаю ручки чемоданов. Я весь в бешеном марафоне. Наверно так, под окрики гитлеровских солдат, бежали мои родные в Двинске.

Свет не без добрых людей. Один арестант протягивает руку: "Давай помогу!" Другой хватает мой мешок, и я бегу налегке. Конвой недоволен: "Жид всегда устроится".

Поезд шел всего одну ночь. Но она пригодилась для подготовки к тюрьме. Надо было придумать, как пронести малый талит¹ в тюремную камеру. Придумал! Главное в талите - это цицит². Я вытащил их и привязал к белым шерстяным носкам. Теперь они выглядят как часть носков и вполне могут пройти обыск.

Наконец поезд прибыл во Владимир, город, известный иностранным туристам своими церквями и не известный - своей тюрьмой. Нас высаживают прямо на вокзале - здешний народ привык к заключенным. Красивый вокзал из бетона и стекла и куча арестантов - существ, не принадлежащих к этому современному миру.

Машина заезжает сначала в женскую тюрьму - оставить там часть груза, потом в специальную СТ-2. Какая-то женщина забыла кусок хозяйственного мыла, и солдат почему-то отдал его мне. Я рад - хватит на полгода стирать белье.

В тюрьме нас встретил дежурный майор:

- Ну, вам повезло!

- В чем?

- А здесь кормят сытно!

Отбирают все вещи, а меня самого - в этапку, камеру для новых арестантов. Она большая, рассчитана человек на пятьдесят. У стен - деревянные нары. Пол не чище, чем асфальт Кировского прогулочного дворика. На полу валяются куски пыльного черного хлеба. Но молиться я все равно должен! Достая свой блокнот, в котором переписана утренняя молитва.

Съедаю последние два сухаря и жду. Пять часов утра. Тюрма начинает работу в 8.00. До этого времени мне необходимо полностью отключиться. О чем думать? О прошлом? За семь лет передумано обо всем. О будущем? Когда оно еще наступит? Но я научился терпению. Словно каменный. Сказался арестантский многолетний опыт. Ждать... И вот наконец дождался! Вызывает специалист по венерическим болезням - ведь я такой же уголовник, как остальные.

- Сифилиса нет, - делает заключение врач. - На что жалуетесь?

- Ни на что. (Не сказать же: на власть!)

Затем наступает самая серьезная часть приема - досмотр вещей. Мне во что бы то ни стало надо получить Танах, тетради с молитвами, тапочки, в которых зашита сотня, и мочалку, куда засунул пятьдесят рублей.

Приказывают раздеться догола. Вещи - в одну сторону, мне велят отойти в другую. Лагерную одежду забирают: а вдруг в ней что-то зашито? Вместо нее выдают новые арестантские штаны и рубашку. Оставляют одну пару теплого белья. Остальное отбрасывают, не отдадут.

- Но ведь холодно!

В ответ молчание. Нашел где спорить!

- Трусы одни, - считает надзиратель.

- Но ведь белье менять надо!

Опять молчание. В конце концов я замолкаю и, как воришка, выкрадываю по мелочам свои же вещи и сую в свой мешок. Все это в голем виде. Разрешение одеться еще не получено. Отобрали ремень, кружку, ложку, зеркало - все, что только можно. Да, здесь пожестче, чем в лагере. Наступает очередь "бумаг".

- Израильские открытки? Не положено. Письма? Записи? Нет! Чистые тетради? Ладно, давай, давай!

Так срабатывает мой "патент": тетрадь с записями молитв проходит как чистая, потому что первые и последние листы совершенно чистые, без единой пометки. Тапочки и мочалка не вызывают подозрений. В общем, каждая мелочь - борьба, нервы, надежды, разочарования. Спички, шарф, носки. Носки? Две пары? - А если порвутся? Но я уже не спрашиваю. Спорить бесполезно. Беру две положенные пары

- те, что с цицит, и нештопаные, целые. Как только попал в камеру, цицит заняли свое место на шерстяном шарфе, который подарил мне Гилель Шур в 1971 году. С тех пор я не расставался с малым талитом. Отобрать его у меня не могли - шарф положен по Правилам внутреннего распорядка. На вопрос, почему я все время хожу с шарфом, отвечал: "Холодно, шарф согревает!" И все последующие пять лет талит меня действительно согревал - с утра до вечера.

Теперь книги. Мой толстый ивритский словарь кладут в специальный аппарат, просвечивают насквозь, а я тем временем, как опытный карманник, тащу к себе Танах. Руки дрожат. Заметят? Не заметили! Пронесло!

- Продукты из лагеря? Не положено!

- Но ведь это остатки моей посылки, первой за шесть лет!

- Какие еще будут вопросы? - нагло спрашивает надзиратель.

10 июня 1977 года. 9.00. Взваливаю на плечи серый мешок и под конвоем прохожу по тюремной территории. Тюрма - целый город. Построена в прошлом веке. После революции из тюремной церкви устроили дополнительный корпус. Тут не до молитв - нет места для заключенных. Еще один корпус построили пленные немцы после войны. Это большое искусство - сохранить стиль. Советская тюрма построена в точности как царская. Огромная, серая, с длинными, наводящими тоску коридорами. В одном таком доме можно поселить человек семьсот. Тюрма вмещает три тысячи. Меня ведут по ее улицам. Здесь кипит жизнь. Конвоируют заключенных. Из вонючей кухни развозят еду. Идут заключенные из обслуги. Шагают надзирательницы. Образцовый советский город.

Меня ведут в третий корпус. Мой конвойный забыл ключи и на минутку оставил меня одного без присмотра. Оглядываю здание. Пять этажей. Окна за густыми решетками. На нижних этажах сверх того дополнительные щиты. Значит, внутри камер - вечная ночь, освещаемая лишь одной лампочкой.

Как только удалился мой охранник, из-за железных ограждений первого этажа раздался глухой голос заживо погребенного:

- Эй, земляк, откуда?

Молчание окон не так поражало, как эти звуки жизни в городе мертвых. Десятки глаз устремлены на меня сквозь узкие щели решеток.

- С Урала, из тридцать шестой зоны!

- А, политик! Яныча знаешь?

- Конечно!

Да это вовсе не город мертвых, а всесоюзный центр по сбору лагерной информации.

- Прекратить разговоры! - кричит возвращаясь охранник.

Что сказать об этой тюрме? Бездушнее ее ничего не придумаешь. А моя камера -

самая плохая из всех: с выбитыми стеклами и облупленными стенами, серая-серая. Настоящая могила. Но, может, отсюда - на волю?

Итак, я вернулся в состояние, в котором находился семь лет назад в день ареста. Лег на койку, перед глазами раскидистое дерево, ветви которого машут мне на прощание всеми своими листочками. Это было семь лет назад, когда поезд вез меня в тюрьму. Жизни нет. У меня ее отняли. За что? Разве я - преступник? Израиль, семья - все это так далеко, недостижимо. Меня ненавидят, презирают, лишают человеческого тепла. Я мертв. За что же меня убили? За что?..

Обед. Приносят миску водянистого супа.

- С мясом?

- Ненормальный! Ты что - спятил? - смеется за дверью раздатчик. - Откуда здесь мясо? На второе каша. Открывается кормушка:

- Давай миску!

Отдаю. Проходит пять минут, потом десять. Стучу ложкой по двери:

- Несите кашу!

- Тебе каша не положена! Строгий режим!

- Как, мне и каша не положена? Другим дают, а мне?..

На следующее утро просыпаюсь от барабанного боя.

Кто-то внизу марширует. Что они, с ума сошли? Заставить арестантов маршировать как на параде?! Потом я узнал, что муштровали слушателей офицерских курсов МВД.

Завтрак. Разносят кашу.

- Это каша? Одна вода!

- Прекратить разговоры! Бери хлеб!

Хлеб - жалкий кусочек. Это мне на день. Явное воровство: какие тут четыреста пятьдесят граммов! Как проверить? А, нашел! Есть резинка. Подвешиваю к ней кружку с водой - четыреста пятьдесят граммов. Отмечаю на какую длину растянулась резинка, затем подвешиваю хлеб. Отметки совпадают. Странно, а я думал: недовес. Теперь каждое утро проделываю эту процедуру и каждый украденный грамм воспринимаю как личное оскорбление. Но как быть? Сказать или нет? Нет, не надо. Почувствуют, что меня это задевает, и станут намеренно издеваться. Я оказался прав: в обед, как бы в награду за молчание, раздатчик, пугливо озираясь, сунул мне полную миску каши. Я удивился:

- Мне же не положено!

- Бери, бери, - улыбается тот.

Привалило счастье! Полная миска горячей, дымящейся каши. Я счастлив не столько

оттого, что теперь буду сыт, сколько оттого, что стена изоляции разрушена. Сухой, бездушный закон побежден солидарностью заключенных. Теперь я могу отложить на субботу немного хлеба. Как я ругаю себя за то, что на этапе отказался от хлеба: "Спасибо, не голоден!" Как сейчас пригодился бы каждый кусочек! Вспоминаю, сколько сухих корок и недоеденных кусков хлеба валялось на дороге. Вот бы их сюда!

Для субботы нужны свечи. Я вывез из лагеря несколько кусочков парафина. Этот парафин достался мне хитростью. Когда выносил его с завода, меня повели на обыск. Ясно: кто-то донес. Парафин я спрятал под пояс и пока мы шли, незаметно переложил его в рукавицы. Не доходя до комнаты обыска, затеял спор с капитаном Раком:

- Почему обыск?

- Это наше дело! Заходите!

- Нет, других не обыскивают, только евреев!

- Заходите, не то получите карцер!

- Ладно! - жестом отчаяния снимаю рукавицы, бросаю их на скамейку у двери и вхожу в помещение.

Рак ничего не заметил. Когда шмон кончился, я вышел и взял рукавицы.

- Вот видите, - сказал я Раку, - обыскивать было незачем!

В тот вечер я зажег свечу. Она уже успела погаснуть, когда явился Рак. Он по-собачьи потянул носом воздух:

- Что здесь горело?

- Это не здесь!

- Нет, здесь! Снова зажигали свечи? Удалось пронести? Ну, смотрите, поймаю - плохо будет!

Но все это происходило в лагере. Здесь, в тюрьме, как ни странно, наблюдение не такое строгое. В лагере надзиратель целый день стоит над твоей душой. Здесь заглянет несколько раз в день в глазок - и все. На сердце легче - не видеть эту мерзкую форму.

Получасовая прогулка. Такой же, как в других тюрьмах, заасфальтированный дворик на одного. Сверху проволочное ограждение. Но, видно, оно здесь не препятствие. Во время прогулки стучат соседи:

- Ты кто?

- Я политзаключенный Менделевич!

На следующий день стук повторился:

- Кидаю - лови!

Еще не поняв, в чем дело, вижу какой-то белый шарик. Надзиратель, по кличке Рыжий, уже заметил. Стоит, расставив ноги, на наблюдательной вышке и смеется:

- Не поднимай! Током убьет!

Выхода нет. Если я не возьму, шарик подберут, и тому, кто бросил, влетит. То же самое произойдет, если я просто положу его в карман. Когда Рыжий отходит от меня, я быстро наклоняюсь, хватаю шарик и сую в рот. Жеваный хлеб. Противно, но ничего не поделаешь - надо глотать.

Прогулка закончена. Рыжий открывает дверь и смеется:

- Что, перехитрил?

В камере пью кружками воду, засовываю два пальца в рот - вернуть назад записку. Ничего не получается, желудок пуст. Ну, ладно. Сегодня пятница, надо готовиться к субботе. Куском тряпки несколько раз мою пол, потом принимаюсь за унитаз. Скребу его до белизны.

Итак, суббота в тюрьме. Отмечал ее кто-нибудь здесь до меня? Молитва, Кидуш, трапеза - как положено в хорошем еврейском доме. И ничего, что хлеб грубый и нет вина, а рыба - вонючая мелкая килька. Но ведь она - основной белок в нашем рационе, наше мясо". Правда, рыбешка соленая, но можно положить ее в воду, а еще лучше - в кипяток. Тогда получается рыбный суп. А еще можно вынуть кости, и мякоть - на хлеб. Сендвич с рыбой. Кости выбросить? Ни в коем случае! Но ни рыбы кости, ни даже незаконная каша не помогают. Силы так быстро покидают меня, что остается только с утра до вечера лежать пластом на нарах. Такая слабость, словно болен. Я, наверное, действительно заболел тюремной болезнью. С трудом передвигаю ноги, мыслей в голове никаких, вернее, только одна: "За что?" Но надо взять себя в руки. Решено: на исходе субботы начинаю учиться, читать, делать физические упражнения. Но мало решить, надо еще собрать остатки воли и прорвать эту пелену безразличия. Ты словно в раскаленной пустыне умираешь без глотка воды, но вот в последнюю минуту: Выдержать! Жить! - Или ты в неуправляемой машине мчишься к неминуемой катастрофе, но рука впивается в руль: Жить! - Ты в железной клети милицейского воронка, ошалев от дикой тряски, хочешь пробить его непробиваемые стены: Жить!..

Я очнулся от трехдневного оцепенения. В голове пусто, ноги еле передвигаются. Встать, чтобы выжить, чтобы быть человеком, чтобы прийти в Иерусалим. И чтобы молиться Творцу, Который дает силы.

Наконец записка, проглоченная мною, нашла свой естественный выход. Бумагу немного разъело, но все же читать не составляло труда:

"Я, Ничепорук Иван Васильевич, 1931 года рождения, арестован в 1949 году по обвинению в краже. Осужден на пять лет. В 1956 году снова приговорили к трем годам заключения... (Далее перечисление арестов и сроков.) Власти преследуют

меня за то, что я не согласен с политикой советского правительства и заявляю об этом открыто. Прошу вашей помощи. Сообщите международной общественности о моей горькой судьбе".

Сколько таких записок я получал потом! Разберись, где правда, а где ложь. Ругает ли он советскую власть потому, что попал в тюрьму за воровство, или его посадили за то, что он ругал советскую власть?! Как бы то ни было, уголовники ее не любят и этим объясняют свои преступления. Но грань между теми, кто сидит за идеи или за воровство, нечеткая. Все страдают, все ненавидят своих мучителей, все мечтают об освобождении. Отсюда тюремная солидарность...

Упаси меня Б-г от дружбы с преступниками, но если дневальный сует тебе лишнюю порцию хлеба, будь он вор или убийца, разве можно не взять, а взяв не поблагодарить? Правда, обычно такие поступки не так уж бескорыстны...

Библиотекарь, разносящий книги по камерам, сует мне в кормушку пакеты с маргарином и сахаром.

- Там письмо. Прочтешь, приготовь расписку.

"Йосеф, добиваемся разрешения сидеть с тобой вместе. Посылаем продукты. Изя и Абрам".

Был ли более светлый день в моей жизни? Я не одинок! Молюсь и плачу от счастья. Снова возвращаюсь в Израиль. Я опять ожил. Учю иврит и Тору. Делаю физзарядку, занимаюсь бегом, а еще веду сделки с дневальными. Вот, например, одному понравились мои очки. Он хочет пользоваться ими как биноклем, чтобы наблюдать за улицей, по ту сторону тюремной стены.

- Принеси кило конфет!

- Ладно, давай очки! День, два жду - не несет.

- Ну, где конфеты?

- Да ты не торопись, сказал принесу, значит принесу!

Вижу, что слова он не сдержал.

- Отдавай очки, а то хуже будет!

- Ты что, сволочь, донесешь на меня?! На, хватай свои очки! - бросает их через кормушку.

Да, пережал пружину. Жаль! Забыл закон: так сделки не заключают. Кончились мои сытые дни. Теперь он и лишней рыбки не кинет, а очки что ему? Попользовался, а надоело - отдал. Да, дельца из меня не вышло. Кто же в тюрьме дает, не требуя платы вперед? Ну, ничего, как-нибудь в другой раз...

15 июня - годовщина ареста. Объявляю голодовку, опять пишу заявление об отказе от советского гражданства, а пока прошу посадить меня вместе с Абрамом и Изей. Приходит худой, длинный и, как всегда, пьяный офицер МВД Дойников, по кличке

Колпак. Официальная должность - "воспитатель". В его обязанности входит "влезать в печенку" и в сердце заключенного, "бить по костям" и "по желудку". Он обещает удовлетворить мою просьбу - объединить меня с товарищами. Это очень важно.

И вот встреча. Нас троих переводят в четвертый корпус. Тащим мешки с книгами и вещами. Разглядываем друг друга. Не изменились. Бородатые и веселые. Вот жизнь-то начнется! Вступаем во владение двадцать седьмой камерой. Кроме нас здесь еще двое - Баграт и Размик. Всего пятеро. Сначала мы не могли наговориться, потом все стало на свои места. Каждый живет по-своему. Абрам с утра весь в чтении газет и книг. Любая строчка об Израиле не проходит мимо. Говоришь с ним, и будто побывал в Израиле. Однако сразу же обнаруживаются разногласия. Абрам - за существующую в Израиле систему выборов. Изя - за власть президента, наподобие американской. Я вообще в стороне. (Я - за власть Торы.) Но любой повод хорош для спора - можно даже и непринципиальный. Например: почему так быстро уходит мыло?

- Ты же знаешь, что в месяц выдают всего один кусок на пятерых, а ты каждый день моешь лицо мылом. Да еще и голову под краном в камере. Неужели не хватает тебе одного раза в неделю в бане?

- Что поделаешь - у меня кожа жирная. Я спать не могу, если не вымою. Мыло не оттого быстро кончается, что я мою им лицо и голову, а оттого, что ты не снимаешь с него пены, а пена разъедает мыло.

- Тогда будем пользоваться черным мылом в камере, а туалетным - в бане.

- Нет, баня один раз в неделю, можно взять и черное, а руки надо мыть хорошим.

- Много ты понимаешь - черное разъедает белье. Если им стирать майку, то через две стирки ее надо выбросить.

- Йосеф, почему молчишь? Ты как думаешь?

- Ребята, я вообще без мыла моюсь, а в бане дают кусочек, и мне вполне хватает.

- Не прикидывайся скромным! Хочешь показать, что ты лучше нас?

Когда друзья день и ночь вместе - тоже плохо. Не разойтись ни на минуту, не уйти в другую комнату. Здесь трудно совладать с собой. Когда-нибудь раздражение должно прорваться.

Вот и разберись в человеке. Один говорит, что не рассчитывает на освобождение, что оно его не интересует, и вдруг оказывается: он только этим и живет, и если рухнули надежды, он злится, бесится и бранится со всеми. Другой чувствует, что над ним смеются, и старается отомстить за насмешки, а заодно и завоевать расположение сокамерников - несовместимые задачи. Третий чувствует, что нравственно опускается, и поэтому с ума сводит друзей своей излишней щепетильностью. У каждого свои слабости. Здесь их не спрячешь... Особенно тяжело, когда один хочет распоряжаться другими.

Как-то на прогулке Абрам рассказал:

- Я привез сюда много стереооткрыток. На шмоне у меня их отобрали и положили в личные вещи. Вызывает Коля Обрубков, ну, знаешь, местный кагебист, и предлагает: "Продай мне открытки! Я их собираю!" Я подумал и согласился. Он стал носить мне хлеб, колбасу, яблоки. Одна открытка - два рубля, с японкой - три. Через некоторое время Коля говорит: "Так неудобно, понимаешь, нужен повод для встреч. Я включу тебя в список агентов, но ты будешь числиться только формально". - И продолжает носить продукты. Потом опять вдруг заявляет: "Начальство требует работы. Может, напишешь какой-нибудь рапорт?" Я согласился, но донос писал вместе с тем эком, на кого настучал. Он собирался в ссылку и хотел протолкнуть начальству туфту. Так и началось. Я пишу ложные доносы, а Обрубков носит мне продукты. Как ты считаешь - продолжать или нет?

- Думаю, надо немедленно прекратить эту игру. Из-за продуктов не стоит с ним связываться!

Он смотрит на меня внимательно. Глаза печальные. Видно, еще что-то хочет сказать, но молчит. На следующий день снова вместе шлепаем по грязным лужам тюремного двора на крыше.

- Я тебе еще не все рассказал, - говорит Абрам. - Теперь доносов им мало. Хотят заслать меня в Израиль. Думаешь, стоит дать согласие?

- Ни в коем случае! Кто знает, что из этого может выйти! Пока ты в их власти!

- Нет, я все-таки продолжу игру с Колей, - вздохнул Абрам.

После каждой встречи с Колей он приносил продукты, а мы их ели и подкармливали других. Вокруг нас всегда движение. Дневальные за взятки передают записки из камеры в камеру, раздатчики - продукты. Конечно, все за определенную плату. Ведем переговоры с Инессой о передаче денег в тюрьму. Инесса - молодая полная надзирательница. Хорошо относится ко всем, разговаривает по-человечески. Это запрещено. Вероятнее всего, она так себя держит не без ведома начальства: важно знать наши финансовые возможности и связи с волей. Впрочем, иногда ее поступки говорят об обратном. Она действует явно в ущерб кагебистам.

- Инесса, передай газеты (или: махорку) в тридцать первую!

Передает сразу, а в махорке - письмо. И она это знает.

Странно видеть женщину в тюрьме. Приходит в хорошем настроении - смеется, поет, все и всем разрешает. Приходит в плохом - на вызовы не идет, ругается, ничего не передает. Мужчин присутствие женщины возбуждает. Из каждой камеры доносятся шуточки. С нашей камерой она в особых отношениях: говорит подолгу, иногда угощает конфетами. Кто ей больше нравится? Мне она безразлична. Если бы меня спросили, какая самая опасная болезнь в тюрьме, я ответил бы: безразличие. От недостатка еды это? От недостатка общения с внешним миром? Кто знает! Но с каждым днем меня все меньше и меньше интересует, что творится за стеной, в другом мире, и "изобилие" продуктов не радует. Действительно изобилие: ложка маргарина, ложка повидла, кусок яблока - вот и все. А разговоров вокруг!

...Абрам достает продукты - значит, он главный. Может, одна из причин его связи с Колей - желание быть кормильцем камеры. Человеком, из рук которого все получают пищу и поэтому должны питать к нему чувство благодарности. А он словно и не претендует на это. По сути дела наши ежедневные мелкие стычки сводились к одному: доказать всем и прежде всего самому себе, что ты необходим другим и в тебе все нуждаются.

- Изя, возьми еще хлеба. У нас много. Йосеф, возьми каши, я достану еще.

- Спасибо, не хочу!

Мой отказ воспринимается как личная обида:

- Но ведь ты обещал, что будешь есть вместе со всеми, чтобы не смущать других.

- Есть, чтобы доставить тебе удовольствие? Каждый ест, сколько хочет!

Я демонстративно показываю, что не нуждаюсь в одолжениях. Изя ест все, а протест выражает иначе. Он не допускает лидерства других. Он слишком независим. Но от этого никто не выигрывает, даже он сам. Споры, бесконечные споры, которые заканчиваются словесным бойкотом на день-два.

Баграт - воплощение слабости человеческой. Он берет все, что дают, не стесняясь, а если можно выбрать лучший кусок, выбирает. Например, осталась буханка хлеба:

- Какой хлеб пошлем в тридцать первую?

- Черный, - отвечает Баграт, - у меня от него желудок болит.

- А сами будем есть белый? У нас желудок нежный, а они как хотят! - гневно спрашиваю я.

Баграт замолкает. Он оскорблен. Абрам делает мне замечание:

- Мы ведь евреи! Здесь, в камере, мы в большинстве, и поэтому должны считаться с тем, что другим в нашем обществе может быть неловко, а ты их еще и оскорбляешь.

- Да я его не оскорблял. То, что предлагает Баграт, нечестно.

- Йосеф, не смущай людей, - говорит Изя. - Дай им жить, как проще.

Изя неглупый парень. Он, возможно, и прав. Но я не согласен жить по его указке.

Вот, история с водой. Днем во всей тюрьме отключают воду. Мы установили дежурство. По ночам, когда подают воду, первым встает дежурный, наполняет посуду, потом будит остальных - в туалет или напиться воды. В полумраке движутся привидения.

Отсутствие воды совпало с посещением тюрьмы прокурором. Он совершал свой обычный обход. Абрам предупредил: не задавать никаких вопросов. Помощник начальника по режиму, Федотов, устраивает повальный шмон после ухода

прокурора, если тому жаловались. В ответ на каждую последующую жалобу отбирает вещи у заключенных. Договорились молчать.

Входит прокурор. "Вопросы есть?" - Молчим. Он удивлен: везде жалуются, а тут молчат. Довольный Федотов объясняет:

- У них вопросов нет. Они едут в Израиль.

Сердце сжимается от стыда: Федотов считает, что мы у него в кармане. И я выступаю вперед:

- Уже неделя как нет воды!

У прокурора ответ готов заранее, и пока он отвечает, Федотов делает первый карательный рейд.

- Что это? Лишний хлеб? Забрать!

- Есть еще вопросы? - спрашивает прокурор.

Больше у меня вопросов нет. Все молчат. Начальство выходит. Двери закрываются. Абрам набрасывается на меня:

- Надо быть ослом, чтобы после моего предупреждения открыть рот.

- Но ведь вся тюрьма жалуется на отсутствие воды, а мы - в кусты?

- Посмей еще раз!

Я не привык, чтобы со мной так говорили, и сразу замолкаю. Долго оба молчим. И только в бане начинаем разговаривать. Здесь, с глазу на глаз, совсем иначе себя чувствуешь. Напряженность исчезает. Такое ощущение, будто все вернулось к прежним, рижским, временам. Мы прощаем друг другу. Но вечером, чтобы взять реванш за уступку, снова начинается спор вокруг еды:

- Йосеф, возьми еще каши, я достал.

- Спасибо, не хочу.

- Нет, возьми, - кладет мне своей ложкой кашу.

- Я вообще есть не буду!

- Почему ты упрямисься?

Бессмысленная борьба из-за мелочей наводит на меня ужас. Мне вдруг становится трудно дышать. Сказать нечего. Я как мальчишка, которого все отчитывают и поучают.

- Не позволю, чтобы мне указывали, что и сколько я должен есть!

- Это глупое упрямство. Ты возводишь ерунду в принцип!

Возможно, действительно глупость. Но в этой "сытой" камере я очень похудел, просвечивали кости. Я ограничивал себя во всем и мечтал о куске хлеба, который съем, когда захочу. Я мечтал побыть одному, не улаживать отношений, не спорить и не молчать перед начальством из-за страха лишиться чего-либо. И от этого желания, так противоречащего нашей мечте о братстве и единстве, невольно наворачивались слезы. Слезы стыда и бессилия. Наш позор, наша слабость оттого, что под видом взаимной выручки мы опутали себя липкой паутиной мелочных интересов.

Но сегодня у нас праздник. Праздник примирения. Мы снова разделяваем рыбу для паштета. Завтра Баграт вынет ее из воды и смешает мякоть с хлебными крошками. Мы склонились над картой Израиля, которую Абрам получил от Коли. Изучаем Синай. Идут переговоры об отводе войск. Считаем количество добываемой нефти, размышляем над альтернативными источниками энергии. Учим с Изей иврит. Он занимается по последней части "Элеф милим". Потом около часа практикуемся в разговорном языке на темы о нашей будущей жизни, о месте жительства, об учебе, о женитьбе.

- Мне найти жену будет просто. Пойду к сватам, и найдут мне, какую захочу, - рассуждает Абрам.

- Это ты серьезно? Нет, я так не хочу, - решает Изя.

Затем начинаем урок Танаха. Изя читает вслух, я кое-где поправляю. Книга еще из лагеря.

А в тюрьме все идет своим чередом: где-то за стеной режутся в карты, быть может, на чью-то жизнь.

- Где Сережа? - спрашиваем как-то у библиотекаря.

Сережа - дневальный. Его уже несколько дней не видно.

- А его зарезали. В карты проиграли, - следует спокойный ответ.

То и дело слышишь: такой-то приговорен к расстрелу за убийство. Такой-то зарезал соседа, сводя с ним личные счеты. И так все время: кровь, ножи, шантаж - обычная тюремная жизнь. А мы здесь читаем Тору...

Дикие вопли из окон. Топот солдат, бегущих расправляться с бунтовщиками. А я за субботним столом делаю Кидуш. Сколько раз я повторял его в разных местах, в разных углах, при разных обстоятельствах. Но всегда одни и те же слова, и та же Царица Суббота незаметно спускается к нам и наполняет камеру ожиданием великого счастья, великого часа - прихода в Иерусалим...

От одного нельзя избавиться в тюрьме - от "коней", запрещенных передач из камеры в камеру. Например, договариваемся с нижней камерой о том, что вышлем им махорку. К длинному шнуру привязывается пакет с махоркой и просовывается в щель между решетками. Снизу ждут передачу, но пакета не видно, так как мешает металлический щит. Прутиком веника ловят пакет и, поймав, тащат в камеру. Вообще это непростое дело, а тут еще застать могут.

Снаружи ведется постоянное наблюдение. Надзиратели срезают "коней" ножницами, насаженными на длинные палки. Для предосторожности зеки расставляют дежурных, которые следят за передвижением надзирателя по коридору. Но, как говорят, "конь о четырех ногах, и то спотыкается". А споткнулись, значит кому-то в карцер.

Там своя система снабжения. В полу камеры над карцером проделано отверстие, через которое спускали продовольствие для отбывающих наказание. Вся тюрьма обычно собирает продукты для них. Собирает все, вплоть до кусков мяса, выловленных из супа. Тут не делали различия между политическим и уголовником - всем поровну. Ну как отказаться от этой небезопасной игры с надзирателями? Как можно не передать продукты, если их ждут наши товарищи в карцерах?

Существовало еще несколько линий связи: "кабур" - отверстие в стене между камерами. Сколько бы ни заделывали эти дыры, их со звериным упорством пробивали заново. Политические этого бы не делали: ради такой дырки сидеть в карцере не стоит. Уголовники не вдавались в расчеты. Для них это была жизнь: дыры, "кони", карцеры, переговоры через унитаз, через трубы... Они жили этим и ради этого. Однажды к нам зашел Дойников: - Вы передаете посылки в другие камеры. Вы же сознательные! Хотя бы проверили, что передаете! Вы им ножи пересылаете, а они потом этими ножами режут друг друга!

У Дойникова на этот счет был богатый опыт. Кто-то из ручки ведра сделал нож и напал на Колпака. Он еле ноги унес и теперь выглядел еще более жалким, чем прежде. Дойников подошел к нашему кабуру и засунул туда ключ - как в змеиную нору. Оттуда действительно раздалось шипение: уголовники слушали весь наш разговор и свое мнение о нем выдали сочным матом.

С уголовниками мы переговаривались через дыру.

Узнав, что за стеной сидят сионисты, они забрасывали нас вопросами об Израиле: "Почему евреи бегут в Израиль, что им, тут плохо?" "Почему Америка поддерживает арабов, ведь Рокфеллер сам еврей?" "Почему Брежнев не едет в Израиль, ведь он жид?" И все в таком же духе. Мы послали им израильские открытки. Одну из них они не хотели вернуть - там изображалась девушка-солдатка с автоматом наперевес. "Вот это - да! Вот это деваха!" - восхищались они.

Уголовники присылали нам через кабур свои дела, чтобы мы, как "грамотные", писали им заявления. Сколько в приговорах было юридической несуразности и небрежности!

Невольно возникал вопрос: кто больший преступник - судьи или осужденные? Заметив, что уголовник, которого случайно посадили в нашу камеру, залез на окно и ковыряет стену, чтобы вытащить кирпич, Абрам спросил:

- Витя, ты зачем это делаешь?

- Убежать хочу!

- Так ведь поймают!

- Поймают, да не сразу! Месяца три погуляю на воле!

- Тебе за это три года прибавят. Стоит ли ради трех месяцев?

- А чего прибавлять? Я ведь снова сбегу. Мне тюрьма - дом родной.

Витю подозревали в сотрудничестве с органами, но Абрам, как "специалист", утверждал, что это не так.

А вот другой канал передач - унитаза. В спичечный коробок засовывали послание, завернутое в полиэтилен. Затем коробок, привязанный к многометровой нитке, спускали в канализацию. В другой камере делали то же самое. В канализационном стойнике, куда попадали нечистоты всего здания, две коробочки сталкивались и сцеплялись. Теперь заинтересованная камера могла, как рыбу на удочке, вытянуть послание. Метод надежный, но требовал ловкости и терпения.

Передачи шли также через заключенных из хозяйственной obsługi. Когда надзиратель не видел, они могли подойти к двери и открыть кормушку. Особых предосторожностей не требовалось, так как в обслугу брали людей с согласия Коли Обрубова. Записки принимали охотно - из них все можно узнать. Конечно, зэки понимали это и писали не обо всем. Однако если заключенные становились чрезмерно осторожными и записки не представляли никакого интереса для Коли, дневальные отказывались их передавать: "Слушай, друг! Не могу. Следят со страшной силой!" А если брали, то требовали за это плату. Она вручалась после того, как приносили расписку о получении.

Нужно понять, на кого работает дневальный. Если на "кума" (начальника оперчасти), то передавать не стоило - за это могло влететь; если на "летчика" (кагебистов, носивших, как и летчики, синюю форму) - можно не бояться: Коля не наказывал. Но не спрашивать же в самом деле: "Слушай, на кого ты работаешь? На Колю или на Федю?" Поэтому по-прежнему в ходу был способ передачи записок на прогулочном дворике. Только успевала захлопнуться его дверь, как из соседнего дворика раздавались глухие стуки в стену:

- Какая?

- Два-шесть!

- Принимай!

И улучив момент, когда охранник на помосте отходил к другому дворiku, бросали посылку или "маляву" (записку). Посылки бывали разные - весом до двух килограммов. Чего только ни посылали! Сахар, маргарин, чай, трусы, майки, носки, куски железа, напильники, гаечные ключи. Вся операция занимала считанные секунды, но надзирателей трудно было провести. Благо они были очень ленивы.

Если записка маленькая, ее кидали с размаха, и она, пролетев несколько двориков, попадала в цель. Никто из нас не любил участвовать в этих передачах. Уголовникам редко попадало за них, а нам, если ловили, - всегда. Но уголовники как назло при каждом удобном случае старались использовать нас. Отказать им невозможно, ведь вся Хроника тюремных событий передавалась на волю через них.

Владимирская тюрьма, очевидно, одна из немногих, где содержались настоящие "воры в законе", такие, как еврей Бриллиант и армянин Андо. Начальство вело с ними беспощадную войну. Их держали в подвале, где окна были затянуты дополнительной мелкой сеткой, чтобы не протащить "коня". Однако вся тюрьма работала на них, и, вне сомнения, многие надзиратели состояли у них на содержании. Ашот Навосардян рассказывал мне, что в Тбилиси местные воры пригласили его к себе в камеру. Его привел туда подкупленный ими офицер. Вслед за ним внесли ящики с вином и закуской.

Мы не могли отказываться от межкамерных передач еще и потому, что именно мы, политические, были разобщены, содержались в разных камерах, и для нас такие передачи являлись единственным способом общения. В этих рискованных операциях закалялся характер эков. Передача происходит на глазах у охраны, и тот, кто не рискует, остается в проигрыше.

Приобретенные навыки скоро пригодились, так как меня неожиданно отправили в больницу. Анализ, который я сдал месяца три назад, оказался плохим, и меня решили госпитализировать.

- Почему сказали только сейчас?

- Забыли.

Эта "забывчивость" выглядела странно и подозрительно, но делать нечего - пришлось идти. А вдруг действительно болен? В больнице я встретил уже знакомых уголовников - Витю Анисимова и Баграта. Они "обжирались". Здесь давали стакан молока и тридцать граммов масла в день. Однако сама мысль о переедании была мне противна, я продолжал худеть и ждать лечения. Что я, гусь, чтобы объедаться?

- Может, все-таки проверите еще раз? Может, ошибка?

- Нет, не ошибка. Вот таблетки, принимайте!

Выхода нет - нужно глотать. Начался сильнейший понос, и возникли дополнительные трудности. Больница в этом смысле - самое страшное место в тюрьме. В камере-палате, рассчитанной на одного человека, лежат трое. Канализации нет. Один вонючий бачок. На оправку выводят точно по расписанию. Я попросил другое лекарство. Мне снова выдали таблетки. Их здесь не жалеют, но неизвестно ни их название, ни их назначение. С тех пор начались мои мучения с желудком. Все "лечение", как потом оказалось, было нужно для того, чтобы изолировать меня от Изи и Абрама.

4 апреля 1978 года меня выписали из больницы и посадили в камеру номер тридцать один. Здесь находились Анисимов, Загробян, Приходько и Шелудько. Витя Анисимов получил пять лет тюрьмы за то, что, выскочив из камеры, избил раздатчика - тот дал ему меньше, чем положено. Загробян - армянский националист. В день приезда Косыгина в Ереван он на центральной площади города сжег портрет Ленина. Дали пять лет. Приходько, в прошлом офицер, специалист по ракетным установкам, получил пятнадцать лет за участие в борьбе за права человека. Гена Шелудько -

молодой спекулянт. Совершив побег из лагеря, он угнал в Хельсинки самолет с пассажирами, и там, после трехдневной осады, сдался финским властям. Его выдали СССР, и в 1977 году приговорили к пятнадцати годам заключения. Все они люди разные; ничего, кроме камеры, их не объединяло. У каждого куча обид друг на друга, масса претензий. У одного - жажда власти, у другого - мания преследования, у третьего просто больные нервы. Я потребовал вернуть меня к друзьям. Дойников отказался, и я объявил голодовку. Мне обещали перевести дней через десять.

Приближался Песах. Неужели придется встречать праздник в этой компании? Ничего не поделаешь. Прежде всего объявил всем, что один угол в камере считаю своим. Вычистил оттуда весь хамец³. К вечеру зажег свечку и стал искать крошки квасного. Заключенные смотрели на меня с удивлением: вроде бы нормальный, а при свете ищет чего-то со свечкой. Я им все объяснил. На следующий день сжег собранные крошки. Трудность заключалась в том, что рядом со мной продолжали есть хлеб и крошки падали на пол. Сказать, чтобы не ели? Они и так принимали меня за чудака. Я предупредил их, что отдам им свой хлеб и всю остальную пищу, потому что они квасные. Для этого пришлось объяснить Приходько, как самому разумному из них, что мне можно, а чего нельзя есть в Песах. Дал им попробовать немного мацы. В камере закон: все поровну. И хотя сказал, что не могу есть квасное, они не приняли это всерьез. Мама испекла мне из израильских продуктов особые пасхальные коржи, которые должны были заменить все. Пришлось поделиться с сокамерниками. Никто из них не догадался предложить мне взамен что-нибудь из того, что я мог есть.

Я вновь по памяти записал текст пасхальной Агады. Править Седер помогла израильская открытка, на которой изображалось пасхальное блюдо со всем необходимым для Седера.

Загробян взялся передать мацу Изе и Абраму. Для этого он, встав на меня, перебрал в камеру к уголовникам мешочек с мацой и изюмом. Потом те переправили Изе и Абраму. Теперь они тоже могли встречать праздник.

Накануне Песах я получил письмо из дома. Отец несколько месяцев тяжело болел. Начался отек легких, поднялось давление. После выписки из больницы они с мамой решили, что надо уезжать в Израиль. Получить разрешение на выезд в 1978 году было несложно. В письме они даже сообщили о дне отъезда из Риги. Хотя причина такого решения была малоутешительной, меня не оставляло чувство радости: наконец-то они будут жить в Израиле!

С этим чувством я праздновал Песах, дни Исхода. А ведь мы тоже поколение Исхода. Казалось бы, нам грозила полная ассимиляция. Но искра любви к еврейскому народу, к Земле Израиля дала нам силы подняться, и она с Б-жьей помощью выведет нас на свободу.

Первый Седер. На стол, сооруженный из куска картона, положил мацу и начал читать Агаду. Трое гоев уставились на меня в изумлении и все мои действия воспринимали как спектакль. Когда он им надоел, они бесцеремонно потеснили меня, хотя я еще не закончил. Вдруг приспичило писать письма. Но они не могли мне помешать. Я был так далеко от них!

Восемь дней Песах. Восемь голодных дней. Я знал, что в голод, когда жизни грозит опасность, разрешается есть хлеб даже в Песах. Но я считал, что здесь смертельной угрозы нет. От раввина Хаима Друкмана я получил официальное письмо с разрешением есть все, что дают. То же самое раввин Шломо Горен сказал моей сестре Еве.

Прошла неделя после Песах, а меня все еще не переводили к ребятам. Утром принесли хлеб - я не взял. Принесли сахар, кашу - не взял. Прибежал Дойников и объяснил, что произошла задержка. Сегодня же переведут. Действительно, спустя несколько часов я был уже в прежней камере. Это произошло в День Независимости. Праздник я отмечал дважды: сначала один, так как по моим подсчетам он выпал на вторник, а потом вместе с Абрамом, по расчетам которого он приходился на среду. Во второй раз это был настоящий праздник. И потому, что мы отмечали День Независимости, и потому, что вновь встретились. Конечно, было о чем рассказать - ведь прошло два месяца, как мы не виделись. Конечно, я набросился на израильские письма...

По времени это совпало с началом судов над Орловым, Гинзбургом, Щаранским. Витю Анисимова вызвали в качестве свидетеля на суд над Орловым. От Вити требовалось рассказать об условиях содержания заключенных Владимирской тюрьмы. Естественно, Анисимов дал показания, нужные суду. На вопрос о том, как ему лично живется в тюрьме, он ответил, что "неплохо". Действительно, как агент-осведомитель он жил там вполне сносно. Вернувшись, он оправдывался: "Но ведь я сказал правду о себе, а о других меня не спрашивали!"

Несомненно, его "правду" истолковали так, как требовалось органам: все заключенные во Владимирской тюрьме содержатся в нормальных условиях, а Орлов злобно оклеветал советские порядки. За свидетельские услуги Анисимову обещали сократить срок. Но в тюрьме ему объявили бойкот. На этом настоял Гарик Суперфин. Он давно знал Витю и считал его предателем. Теперь его подозрения подтвердились. Гарик со звериной злобой кидался на дверь, когда мимо проходил Витя. Трудно точно сказать, чем объяснялась такая крайняя нетерпимость. Возможно, тем, что ему надо было восстановить свое доброе имя.

Еврей по национальности, Гарик рос в ассимилированной семье. Его арестовали за диссидентство. Сначала он отказывался давать показания, а потом, очевидно, его сломили. Хранитель архива самиздата, он обладал феноменальной памятью и выложил кагебистам все, что знал о людях, способах связи, каналах информации. За такую услугу Гарик получил небольшой срок. Оказавшись в лагере, он снова почувствовал себя борцом против советской власти. Этот кающийся грешник отличался крайней нетерпимостью к любым проявлениям чужой слабости. В это время у него умерла мать, и несчастье его еще больше ожесточило. Вместо того, чтобы спорить с ним, я послал ему сиротский Кадиш (поминальную молитву). Он попросил объяснить значение некоторых слов. Я переслал Гарику уроки иврита. Он заинтересовался. Так незаметно для самого себя стал изучать иврит. Связь между нами велась по "кабуру": он сидел через камеру от меня, и уголовники передавали нашу "почту". Кто знает, чем был вызван его неожиданный интерес к ивриту? Может быть, тем, что он филолог, или же за этим стояло нечто большее? Во всяком случае,

он интересовался смыслом заповедей. Гарик носил крест, хотя не был крещен. Он страдал оттого, что его еврейская душа не находила себя в чужом мире...

Недолго мне пришлось сидеть с Абрамом: срок его тюремного заключения кончился. Меня перевели в прежнюю камеру, где уже не было Анисимова. Не в силах выдержать общее презрение, он упросил начальство отправить его в третий корпус. Приходько и Шелудько получили по пятнадцати суток карцера за переговоры с другой камерой. Мы с Загробяном остались вдвоем в пятиместной камере. Вначале любопытно выслушать историю жизни нового человека, рассказать свою. Но не дай Б-г сидеть с ним дольше, когда устаешь от него и можешь сцепиться с ним мертвой хваткой.

Однажды утром, до подъема, меня разбудила Инесса:

- Щаранского привезли.

- Где он?

- Сидит в этапке. Страшно бледный, слабый. Есть ему не дают, а держат уже всю ночь.

- Я ему передам что-нибудь поесть. Отнесете?

- Нет, не могу. Там внизу дежурят.

- Ну, может, пачку махорки? - Я хотел положить туда записку, и она, разумеется, поняла.

- Сказала: не могу.

На этом разговор закончился. Я бросился к унитазу - вызывать нижний этаж. Из карцера отозвался украинский националист Гайдук:

- С этапкой связаться не могу. Она изолирована от других камер.

Тогда я попытался переговорить по трубе с камерой, ближайшей к этапке, но никто не отозвался. Вчера зэки во время обхода отказались там встать с коек. За это их посадили в карцер. В камере остался дед, которого прозвали Буратино за деревянные протезы рук и ног. Дед был глухой и не мог разобрать, что я ему говорю.

За моими метаниями от унитаза к трубе смеясь наблюдала Инесса. Действительно со стороны, должно быть, смешно на это глядеть. Для того, чтобы говорить по унитазу, надо было предварительно тряпкой выкачать оттуда воду - занятие не из приятных. Затем засунуть голову в толчок и накрыться чем-нибудь, чтобы тебя не слышали на другом конце коридора. Но вот Инесса подошла: "Ну, кончай, сейчас на смену заступит другой". Так я не смог связаться с Натаном, а ведь его надо предупредить о провокаторах и, главное, об Анисимове.

С провокаторами дело обстояло сложно. В тюрьме каждый подозревается в стукачестве, а доказать удавалось редко. Иногда в порыве откровения люди сами раскрываются, как, например, двадцатипятилетний Лукьяненко. Он согласился

работать на Колю за белый хлеб и колбасу. Раз в неделю приходит к нему. Регулярно.

Однажды два украинских националиста, Турик и Гайдук, разоткровенничались о том, как КГБ вербует агентов. Турик подытожил:

- А что, ради дела можно и поработать на них...

Гайдук решил, что Турик прощупывает почву, и резко оборвал его:

- Даже ради пользы дела нельзя работать на КГБ!

Приходько, находившийся тут же, поддержал Турика. И Гайдук вдруг осенило: оба они агенты КГБ. Он отказался сидеть с ними в одной камере. За это отсидел в карцере, а когда его опять привели в ту же камеру, отказался войти. Он снова получил карцер, потом опять его попытались затолкать в ту же камеру, но там он увидел своего идейного врага - не Турика, которого отправили досиживать срок в лагерь, а Приходько.

Гайдук остановился на пороге: войти или нет? Возвращаться из-за этого в карцер? Пока он раздумывал, два здоровенных надзирателя втолкнули его в камеру. Роман Гайдук задрожал от гнева и досады, разрыдался. Я не был с ним знаком, но мне его стало жаль. Я подошел к нему, чтобы как-то успокоить:

- Роман, здесь ведь не один Приходько. Будете сидеть с нами, а не с ним!

Принес ему миску каши, дал ложку. Он принялся есть и немного успокоился. Когда дней через пять Приходько уже этапировали в зону, Романа снова посадили на пятнадцать суток за старый отказ войти в камеру.

Да, не стоит возводить мелочи в принцип. Иногда доходило до смешного. Бондарь в знак протеста против несправедливости решил не разговаривать с работниками органов. Однако вскоре до него дошло, что этот протест бесполезен и создает непредвиденные трудности: нужно чего-то требовать, добиваться, но как? И он нашел выход из положения: объясняться с дежурными на пальцах или писать на бумаге. Антонюк в знак протеста против плохого лечения отказался ходить к врачу. Но поскольку лечиться ему все-таки нужно было, он просил эков приносить ему лекарства. Другой зек уверял, что для подавления воли в еду добавляют специальные препараты. Когда Загробян предложил съесть его порцию, тот отказался и молча сам все съел. Ничего с ним не случилось.

Или, например, кампания заявлений. Первое место во Владимирской тюрьме занимал, вероятно, Ури. Ему пачками привозили бумагу и конверты, которые он закупал в ларьке. Однажды к своему очередному заявлению он приклеил дохлую муху - вещественное доказательство антисанитарии в тюрьме. В день писались сотни заявлений по всякому поводу и без повода вовсе. Не всегда зэки выражались прилично. Часто шел сплошной мат. Так зэки сами сводили на нет значение своих заявлений.

Между тем меня, Гайдука и Заряна перевели в другую камеру. Окна закрыты железным щитом, пол влажный, от свежевыкрашенных стен исходил отвратительный затхлый запах. Вдобавок ко всему камера маленькая и приходилось целый день сидеть, втиснувшись между койкой и столом. Единственное, в чем повезло, - репродуктор. Его можно было выключать. Прежде он был вмонтирован в стену и орал круглые сутки. Но Зарян засунул в него гвоздь, и репродуктор замолк. Вызвали техника: ведь согласно Правилам нам положено слушать пропагандистские передачи. Тот починил радио, разбив стену, но заделывать ее снова не стал. Так у нас появилась возможность регулировать громкость. В большинстве случаев радио вызывало дополнительные конфликты. Одному оно мешает читать, другому делать нечего и хочется его слушать. Начинается ругань, ссоры. Многие камеры решили вообще не слушать передач.

Итак, пока мы втроем - Загробян, Зарян и я. Ждем Гайдука из очередной отсидки. Каждый от своей порции оставляет немного для него. Возвратится, захочет есть. Говорим о том, как меняются времена. Раньше некоторые надзиратели приносили еду нашим ребятам в карцер. Но все испортил Сергиенко. Ему кто-то дал бутерброд. Он съел, и через час у него разболелся живот. "Ясно: КГБ отравило!" И он завопил:

- Провокация! Отравили!

Прибежали надзиратели, началось разбирательство. Оказалось, что дежурный незаконно передал Сергиенко хлеб. Дежурного уволили, а за Сергиенко закрепилась плохая репутация. Хлеб перестали носить: "Еще донесете, с работы уволят".

Привели из карцера Романа Гайдука. Худой, обросший бородой. Накинулся на еду. Мы сидели вокруг него и слушали, как было дело. Вдруг принесли письма. Мне тоже. На этот раз из Риги, от Сарры Зинабург. Она должна была сообщить об отъезде родителей. Сарра пишет: "Иосиф, надеюсь, вы уже оправились от потери. Ваш отец был светлым человеком, которого любили все..."

Строчки поплыли перед глазами. Что это значит? О какой потере она говорит? Почему "любили"? Нет, не верю! Из письма ничего не ясно. Надо проверить. Это ошибка! Они в Израиле. Отца нет?! Не может быть! Меня охватил ужас. Отчаяние и безнадежность...

- Ребята, умер отец...

Прекратились разговоры, все смотрят на меня:

- Как?

- Не знаю...

Молчание. Затем соболезнования. - Вдруг все рухнуло, я осиротел...

...Последние дни перед отъездом были невыносимо тяжелы для отца. Для получения визы надо было сначала сдать свою квартиру в домоуправление и жить в чужой. Но главное не в этом. Он не мог примириться с мыслью, что оставляет меня одного. И

сердце не выдержало... Еще накануне вечером он обсуждал с мамой последние известия, говорил с теми, кто собирался уезжать. Лег спать. Ночь семнадцатого тамуза. Мама услышала: "Мне плохо". Подошла, но было уже поздно...

В пустой, залитой лунным светом комнате, мама просидела всю ночь. Причитала: "Хотя бы один день, Моше, только бы доехать! Мы же обо всем договорились: как будем жить в Иерусалиме и как встретим Йосефа. Об одном не договорились: что мне делать без тебя".

Что же теперь? Ехать? Ждать Йосефа? И ей послышался ответ отца: "Я хочу ждать Йосефа в Иерусалиме".

Оторвавшись от холодного тела, эта мужественная женщина отправилась выполнять последнюю волю мужа. Было трудно. Все против. Зачем помогать отцу преступника? К тому же законы СССР не позволяли вывозить тела умерших. Да и как вывозить?

- Тело надо положить в формалин, в серную кислоту!

- Но ведь кислота разъест тело?

- Ничего не знаю, такова инструкция.

Увидев муку в глазах женщины, чиновник уступил:

- Ладно, подпишу и без этого!

Теперь предстояло получить разрешение вывезти тело. Помогли ходатайства премьер-министра Израиля Менахема Бегина и министра Ландау, а также Генри Киссинджера.

Восьмого ава мама привезла тело отца в Иерусалим, где будет жить его сын. Теперь с Масличной горы он видит Храмовую гору и всю Святую Землю.

Отец умер 17-го Тамуза, в день, когда евреи на протяжении многих веков соблюдают пост в память о бедствиях, постигших народ. А тело отца предали земле 9-го Ава, в день поста и траура по разрушению Храма.

Так, не зная о личной потере, я плакал и постился вместе со всем народом. Я соблюдал траур, не зная о смерти отца. Почему скрыли? Может, чувствовали свою вину? Может, опасались моей реакции? Да, через четыре недели после смерти открыть уже можно...

Перед отъездом в Израиль мама приехала в тюрьму. Проститься. Свидания не дали.

- Вы уже иностранная гражданка.

- Но ведь я мать, при чем здесь гражданство?

- Ничего не знаем. Не положено!

Все письма и телеграммы перехвачены. Для КГБ отец страшен и мертвый...

Тяжесть моей потери не ослабляется временем. Я плачу не стесняясь, не могу

сдерживать слез. Я плачу о своей нелепой судьбе, о тяжелой жизни отца. Я так радовался его отъезду - и вдруг смерть! Но вот я начинаю понимать, что он - это я. Отец жив во мне. Только на третьи сутки я смог есть. Поднялся с койки и стал разговаривать. В трудную минуту Загробьян оказался другом. Пока я не ел, он хранил мой хлеб, сахар и даже вареную картошку:

- Йосеф, поешьте! - он обнял меня, утешил.

За согласие не протестовать против изъятия писем и против лишения свидания с матерью Дойников перевел меня в камеру к Бутману. Туда мы перешли вместе с Размиком Загробьяном. С Гилей Бутманом у нас много общего - прошлое и иврит. В нашем корпусе сидел и Натан Щаранский. Оказывается, его действительно держали вместе с Анисимовым. Но Натан быстро раскусил этого типа. Теперь Щаранский сидел вместе с Шелудько. Бутман когда-то подарил Гене Шелудько иврит-русский словарь. Узнав об этом, я удивился: зачем русскому ивритский словарь? Но добрые дела приносят плоды: Шелудько отдал словарь Щаранскому. Гиля уговорил библиотекаря передавать записки Натану и приносить ответ от него. Станный это был библиотекарь - платы за услуги у нас не брал. Должно быть, КГБ платило.

Гиля полгода провел в тюрьме строгого режима. Во Владимире уже второй раз. Здоровье его было подорвано, но держался он мужественно. Три года тюрьмы он получил за выступление в защиту товарища. Когда бывший полицейский обозвал Израиля Залмансона жидом, тот одним ударом сбил его с ног. За это попал в тюрьму. Тогда Бутман нацепил желтую звезду Давида и вышел с ней к штабу лагеря с плакатом: "В этой стране право на стороне убийц евреев".

Между тем мы с нетерпением ждали записок от Натана. Он подробно писал о зарубежных группах и организациях, помогающих советским евреям, о национальном движении в России. Письма по-прежнему шли через библиотекаря, который открывал кормушку, клал на нее книгу, а в ней - записки Натана на иврите. Он писал и о том, как ходил на прием к министру внутренних дел, требуя нашего освобождения, и как встречался с Эдвардом Кеннеди, и как во время судебного процесса голодал, отказавшись признать обвинение в шпионаже.

Чтобы найти предлог для процесса, КГБ подослал к нему какого-то научного сотрудника, работавшего в одном из институтов Москвы. Тот занимался телепатией и попросил передать какие-то свои работы на Запад, так как в Советском Союзе его не печатали. Натан познакомил его с американским корреспондентом Тодтом. В момент передачи рукописей Тодт и ученый были задержаны. За передачу иностранному агенту материалов служебного пользования Натану дали тринадцать лет.

Иногда на прогулке нам удавалось через стену перекинуться с Натаном на иврите:

- Натан, ты умеешь добывать дополнительную еду?

- Нет, - смеется в ответ.

- Ты же занимался политикой, общался с людьми!

- Но я не бизнесмен.

Иврит у него отличный, изучал в Москве. Вся получасовая прогулка проходит под аккомпанемент ивритских песен, которые они распевают с Геней. Я бегаю по дворику, иногда попадаю в грязные лужи. Гиля занимается физзарядкой. Молчим. Хотим, чтобы Натана перевели к нам. Он даст нам второе дыхание.

...Смерть отца словно все перевернула во мне. Я вдруг понял, что один на свете, что сижу уже восемь лет. Эта цифра поразила. Почему-то угнетали не оставшиеся четыре года отсидки, а восемь, прожитых в заключении. Да, я много испытал! Слишком много!

В субботу вечером приказали собираться с вещами.

Дату Абрам знал от Коли. В связи с предстоящей олимпиадой нас решили увезти подальше от туристского центра. В Татарию. В Чистопольскую тюрьму.

8 октября 1978 года. Всех раздели догола и выдали новую одежду. Это в целях предосторожности, чтобы ничего не вывезли из Владимира.

В вагоне весело. "Полосатые", особо опасные рецидивисты, отказались надевать новую одежду:

- Отдайте нам наши вещи! - Ругаются матом. Требуют чай.

А мы с Гилей едем в отдельной клетке. Получили хлеб на двоих и две большие соленые рыбины. Мы бедны и свободны от вещей, но настроение хорошее. Всю дорогу говорим на иврите и поем израильские песни. Охранник принял меня за израильского шпиона, и когда я заговорил с ним по-русски, удивленно спросил:

- А ты откуда знаешь русский?

- В школе учил.

- В Израиле есть русские школы?

- Я в Израиле никогда не был. Только собираюсь.

Тут он понял свою оплошность.

А Натана мне увидеть не удалось. Чтобы предотвратить встречу сионистов, нас поместили в разные концы вагона. Натана даже водят в офицерский туалет, чтобы не проходил мимо нас. Но однажды Гиля как-то весь изогнулся и увидел его:

- Маленький такой. Метр шестьдесят с шапкой.

Поговорить мы все же успели. Решили по приезду требовать, чтобы поместили нас всех вместе.

Приехали. Пересадка в Казани в воронки до Чистополя. Тюрьма занимает одно трехэтажное здание. Построено еще до революции. Пока все довольны: камеры чистые, крашенные. Пол деревянный. Нас четверо, а камера большая. Кормят чистой пищей: рыба хорошая, хлеб вкусный. Надзиратели ведут себя прилично.

- Нас привезли сюда, чтобы продемонстрировать, как советская власть умеет соблюдать законы, - говорит Бутман. - Вот увидите!

- Да ну, что ты, Гиля! С какой стати советская власть будет тебе такое доказывать! - возражаю я.

Накануне Йом-Кипур - обыск и выдача вещей. Отстаиваем каждое письмо, каждую открытку. Танах удастся получить без труда. Когда шмонщик отворачивается, прячу в мешок тетрадь с записями молитв. Но запихнуть в карман блокнот с утренней молитвой не удается:

- Так нечестно, Менделевич!

- Почему нечестно? Это ведь мои вещи. Не я их у вас забрал, а вы у меня!

Он вытаращил на меня глаза. Моя наглость его удивила. Шмон продолжался. Открытки с видами Израиля не выдали - сионистская пропаганда. Вынюхивали и ощупывали дотошно.

И все же теперь у меня есть Хумаш, молитвы. "Агада" Бялика и Равницкого, учебник иврита. Начинаются тюремные будни: подъем, молитвы, еда, прогулка, учеба, еда, учеба, отбой.

Приносят работу. Здесь, в отличие от Владимирской тюрьмы, заставляют работать - плести сетки для овощей. Плетут их в камере вручную. Одну за полтора часа. Всего надо сделать восемь штук. Кто не выполнит нормы, сидит на голодном пайке. Я здорово отощал во Владимире. Когда привезли сюда и раздели догола, начальник Чистопольской тюрьмы спросил:

- Вас что, там не кормили?

- Почему?

- Одни кости остались. Ничего, будете работать - подкормим.

Продукты - в обрез. Меня назначили продуктовым старостой камеры. Выдаю каждому поровну и слежу за тем, чтобы хватило до конца месяца. Научился точности и аккуратности: в столовую ложку набираю маргарин и все неровности обрезаю по линейке. Получается миндалина. Одна на человека в день. Еще из Владимира осталось подсолнечное масло. Каждому по ложке в день. Но переливать из бутылки в ложку нельзя - можно пролить. Приходится только зачерпывать. Нужен самоконтроль, потому что без еды даже добрый становится зверем, выбирает миску, где суп и каша погуще.

Роман Гайдук изготовил специальный прибор, чтобы делить рыбный паштет на три равные части. К чему эта мелочность? Легче проявить мужество в критический момент, чем день за днем терпеть сосущий, унижающий тебя голод, дрожь в пальцах, сжимающих теплую миску.

С каждым днем мне все труднее достается беспристрастие при дневной дележке. Кажется, что твоя порция больше. Неужели я ослабел настолько? Я отказываюсь брать дополнительные продукты. Товарищам даю, а сам делаю вид, что уже съел. Сразу стало легче.

По субботам устраиваем грандиозный "пир". Владимирские запасы позволяют не работать по субботам. Начальство, вероятно, думало взять евреев голыми руками. Но у нас - конфеты, белые сухари, сахар. В пятницу вечером едим пирог, который я сам изготовил из раскрошенных белых сухарей, размоченных в конфетной воде. К этой массе добавляю сахарный крем.

Гиля уплетает за обе щеки:

- Никогда таких вкусных вещей не ел. Ты настоящий кулинар!

У нас есть даже рыбные консервы. Это тоже на субботу. Перемешиваю с хлебом, ставлю на батарею, грею "гефилте фиш". После субботней трапезы читаем старые письма из Израиля, я - недельную главу Торы. Живем в общем неплохо, даже весело. Иногда, правда, ссоримся по мелочам, изредка - по-крупному. Но все же вместе.

Добиваемся перевода к нам Натана, строчим жалобы. Получаем отказы. Я предлагаю объявить голодовку, но Гиля уже голодал тридцать дней. Ему нельзя. Из лагеря привозят Казахова и Балахонова. Они начинают голодовку в поддержку нашего требования. Шелудько отказался сидеть с Натаном - сажайте его с евреями! Размик тоже потребовал перевода в другую камеру.

Согласно Правилам заключенного нельзя держать в одиночке больше месяца. У начальства нет иного выхода - придется посадить Натана с нами. Все кроме нас отказались. Однако выход нашли: Щаранского поместили с Виктором Пяткусом. У Пяткуса второй срок, а у Натана первый. По закону запрещается держать таких вместе. Но начальник заявляет Бутману:

- Я получил разрешение Москвы!

Да, если надо, можно и закон обойти. Можно вообще не передавать писем из Израиля. Об этом я узнал еще во Владимире. Коля рассказал Абраму, что принято решение считать все письма из Израиля сионистской пропагандой, даже письма от детей, даже просто открытки. Все это подлежит конфискации, и никакие жалобы не помогают. Ответ один: "Никаких писем нет". Натану не выдают писем от Авиталь из Израиля. Гиля решает передавать письма сам. Но как? Здесь не Владимир. Нет тех связей. Раздатчик Егор, парень с квадратным черепом, не берет ни красивой ручки, ни открытки. Относить записки Натану отказывается. Менты как звери: не подходят, не разговаривают. Их, видно, сильно напугали: "особо опасные государственные преступники".

- Есть выход! - вдруг кричит Гиля. - Письмо складываем, обмазываем мылом и приклеиваем в бане под скамейку. Попробуем!

Связь с Натаном - по унитазу. Сообщаем ему все детали операции. Возвращаясь из бани, он бросает: "Шалом!" Значит, все в порядке. Но через неделю мы не слышим

"Шалом". Натан в карцере. Его заметили в бане, когда он вытаскивал нашу записку и вкладывал свою. Начался обыск. Письмо обнаружили в мыльнице. За межкамерную связь - десять суток ареста. После его возвращения спрашиваем:

- Ну, как там?

- Лучше, чем во Владимире. Тепло. Белье не отбирают. Только в туалет не водят - параша целый день полная.

Главное - тепло, чего не скажешь про нашу камеру. Здесь коченеют руки и от холода уснуть невозможно. Зато есть еда. Мы работаем. Гиля изобрел метод, благодаря которому можно продержаться до конца срока. Трое сдают за одного. Только так можно выполнить норму. Одному с ней не справиться. Тогда из заработка половину отчисляют в пользу тюрьмы, и еще пятнадцать рублей за питание, баню и электричество. На покупку в ларьке ничего не остается. По системе Гили месяц вообще ничего выдавать не надо, а потом сразу все. Преимущество этой тюрьмы состоит и в том, что за тобой не следят. Главное - сдать продукцию. Вполне можно сначала ее заготовить впрок и спрятать, а потом лишь выдавать. Поэтому суббота у нас выходной, а воскресенье - рабочий день.

...Подготовка к Хануке идет вовсю. На заработанные деньги купили продукты. Готовимся зажигать свечи. В качестве фитиля приспособливаем нитки. У меня есть льняной мешок, который папа прислал мне еще в начале срока. Из него я делаю фитиль, макаю в растительное масло и втыкаю в кусок черного хлеба.

Связываюсь с Натаном:

- Натан, мы зажигаем свечи, а ты?

- А из чего делать фитиль?

- Из нитки.

- По-моему, нитка не годится. Это хлопок, а нужен лен или шерсть. Так я учил.

- Ты верующий?

- Нет, я ведь не все мицвот выполняю!

Неужели он не считает себя верующим потому, что не выполняет всех заповедей? Я тоже всех не выполняю, но стараюсь. Вот и осталось неясным: не признает себя верующим потому, что не выполняет всех мицвот, или потому, что еще не пришел к вере?

Так через повседневные тюремные будни тащился наш срок. Мы то погрязали в слухах, мелких ссорах и обидах, то выбирались из них и хватались за изучение языков. Как мне все надоело! А что делать? Время не движется. Утренняя прогулка не в радость. Холодно, пасмурно, двор завален снегом. Каждый день разгребаем его лопатой, но работа не согревает, а снега не становится меньше. Минус тридцать пять. Бегаю по двору, раздевшись до нижней рубашки. Бегаю из принципа: раньше бегал и сейчас должен. Если перестану, значит сдался. Бежать по снегу трудно.

Падаю. Ловлю на себе насмешливые взгляды Гили. На ходу вытираю нос рукавицей. Постоянно простужен. Но зато все у меня по заведенному порядку. Подъем, молитва, еда, прогулка. Танах, английский, ужин, арабский язык. Отбой. Так вертится круг за кругом. Кружится голова. Но менять темп нельзя. Я в плену у собственного бега. Бегу, потому что боюсь: остановлюсь - погибну.

В письмах жалуясь на пустоту. Но разве в этом дело? Невыносима безвыходность: ты постоянно находишься вместе с людьми, далекими тебе по духу. К ним нужно приноравливаться, держать себя в руках, чтобы не взорваться или не распусться... А в общем жизнь течет нормально. Слушаем радио, обсуждаем новости, шутим, опять готовимся к празднику.

Не так-то просто готовиться к Песах в тюрьме. Полгода назад купили в ларьке кило лука. Ели по субботам и праздникам. Последнюю луковицу я не выдал: поставил в банку с водой. Гилель удивился:

- Ты что, садоводством занимаешься?

Я загадочно улыбнулся. Сделаю для него сюрприз. Оставшуюся с Песах 1978 года горсть изюма бросил во флягу, засыпал накопленным за несколько месяцев сахаром. Флягу завернул в тряпку и засунул под нары, туда, где под полом проходит труба с горячей водой. Полкилограмма мацы должно прийти бандеролью. Теперь надо подготовиться к другой стороне праздника.

- Гилия, давай устроим настоящий седер, с чтением Агады.

- Хорошо, но символически - ведь я ничего не пойму!

За день до Песах делаю проверку на хамец. Это, как всегда, вызывает интерес. Гилия объясняет Гене Шелудько - его перевели третьим в нашу камеру - смысл моих действий. Я сажусь за перевод пасхальной Агады, чтобы Гиле было понятно.

Из щепотки яичного порошка, который у меня хранится для этой цели три года, леплю яйцо. На бумажке пишу "зроа"⁴. На столе хлебные крошки, и поэтому я накрываю у себя на нарах. Ставлю блюдо, раскладываю все по порядку. Агада у меня есть настоящая - плод сотрудничества Абрама с Колей Обрубовым. Мы садимся с Гилей на нары. Гена - за столом. Он зритель. Даю Гиле русский текст Агады. Он удивлен:

- Что это?

- Ты же сказал, что языка не поймешь, вот я и перевел.

- Нет, ничего, ты мне лучше переводи во время чтения.

- Ладно!

Начинаем седер как положено. Я не спешу. Хочу продлить удовольствие. Мы счастливы, что сидим за пасхальным столом и в нашей жизни появилось новое, светлое, и куда-то пропали, словно провалились, камера, решетки и унитаза. Всю

свою душу, всю свою надежду вкладываю в слова: "В следующем году в Иерусалиме".

- Впервые присутствую на таком пасхальном седере. Это символично, - говорит сорокадвухлетний Гиля, праздновавший свой первый Песах в советской тюрьме.

На следующий день, перед самым отбоем, неожиданно :

- Бутман, собирайте вещи!

Гадаем: почему? куда? Гилю перевели в другую камеру, а утром, сразу после проверки, слышим его прощальное:

- Шалом, друзья!

Что означает этот неожиданный этап? Неужели?.. Неужели?!

Выводят на прогулку. Первый весенний день. Небо синее, капель... Как хочется верить, чтобы еще возможно счастье и не все потеряно! Но я говорю Гене:

- Не думаю, что его освободили!

Человек всегда должен быть готов к худшему. Нечего распускаться! А в душе мечутся два слова: "Неужели свобода? Свобода?"

Связались с другими камерами. Там считают, что речь идет об освобождении. Через две недели из писем Иды, Наташи Розенштейн и Наташи Хасиной понял, что это так. Освобождены еще несколько человек. По случаю освобождения Гиля устроил Гене и себе торжественный ужин.

Боясь разочарования, я старался подавить в себе мечту о воле. Снова вернулся к учебе и ежедневному бегу. Перестал мечтать о скором освобождении. Решил спокойно ждать конца срока, а там видно будет. Однако трудно жить без веры и надежды. Я верил в Б-га и сознавал, что Его замыслы от меня скрыты.

Моему сокамернику Гене заключение давалось еще труднее. Он ничего не умел, к учебе и чтению его не тянуло. Целыми днями лежал на койке и с регулярностью автомата чесал голову. Ходил по камере с высунутым языком и безумными пустыми глазами. Он витал в другом мире. Находиться рядом с невменяемым было невыносимо. Он имел обыкновение стоять у меня за спиной и производить какие-то движения руками, касаясь моей головы. Я отрывался от книги и спрашивал его ласково:

- Что с тобой, Гена? Почитай что-нибудь!

- Все в порядке, Иосиф, все в порядке, - отвечал он с улыбкой идиота.

Но явно не все в порядке. Его мечты о скором освобождении не сбылись. Нужно было искать какой-то выход.

- Иосиф, у меня желтуха, - сказал он мне в субботу утром, после того, как всю ночь метался по камере, не давая спать. - Это заразная болезнь. Меня, наверно, пошлют в больницу и, если не смогут вылечить, освободят.

Лицо пожелтело, глаза красные, дыхание тяжелое. Я вызвал фельдшера. Тот измерил температуру - нормальная. Пощупал пульс, посмотрел язык.

- Пока ничего страшного. Зайду завтра.

Гена полежал немного, потом вскочил и принялся бегать. Остановился у стены, как-то по-своему стал молиться. Обернулся ко мне. Улыбнулся. Вид вполне нормальный.

- Б-г помог мне, Иосиф. Я излечился!

Но он не излечился... В воскресенье вечером я написал заявление по поводу того, что уже несколько месяцев мне не выдают писем из Израиля. В понедельник утром я молился у окна и вдруг услышал, как Гена рвет бумагу. Я продолжал молиться, а когда закончил, подошел туда, где накануне оставил свое заявление. Его не было. Клочки бумаги валялись в мусорном ящике. Я задумался. Вспомнил о "пресс-камере", в которой зэку создают такую обстановку, что жизнь становится невыносимой. Единственный способ уйти из такой камеры - подчиниться начальству. Но я не хотел верить, что Гена - орудие такой грязной игры. Я подошел к нему:

- Зачем ты это сделал, Гена?

Он дружелюбно улыбнулся:

- Что, Иосиф?

- Зачем ты порвал мое заявление?

- А я не рвал его...

- Гена, скажи всю правду, прошу тебя! - по-дружески обнял я сокамерника.

Он отстранился.

- Что ты, Иосиф, все в порядке! - и весело зашагал по камере, напевая какую-то песенку.

Я заплакал. Это были слезы жалости к молодому парню, который не выдержал и сдался. Слезы стыда и позора. Он же не понимал низости и унизости своего поведения. И вместе с тем созрело решение. Неважно, симулирует он сумасшествие по собственной воле или по заданию. Может, он в самом деле сошел с ума. В любом случае мне в этой камере делать нечего.

Обычно перевод из камеры в камеру по личной просьбе невозможен. Остается искать другие способы. В этом отношении у меня никаких иллюзий не было: всякий раз, когда я мог добиться чего-то настойчивыми требованиями или делом, я действовал, а не писал заявления. Заявление я все же написал - для порядка: "Прошу перевести меня в другую камеру". Никаких объяснений не приводил, ведь это равносильно доносу.

Раздался тревожно-пронзительный звонок. Проверка. Захлопали двери. Вот открылась и наша, вошел дежурный. В руках список заключенных. Я доложил:

- В камере двое!

Он отметил что-то у себя и направился к двери. В тот момент, когда он еще не успел ее закрыть, я выскочил вслед за ним и протянул ему свое заявление. Выход из камеры расценивается как попытка к бегству, и охрана имеет право стрелять. Три надзирателя схватили меня и попытались втолкнуть обратно, Я не давался. Хотели скрутить руки. Не удалось. Я вырвался и кинулся на решетки. Меня оторвали от них и втолкнули в другую камеру. Этого я и ждал. Пришло чувство свободы: удалось бежать от безумного взгляда Гены, от серой, унижительной жизни вдвоем. Хотя я понимал, что получу карцер, настроение поднялось и я запел "Давид, царь Израиля, жив..."

Узнав о моем переводе в другую камеру, Балахонов решил, что меня, как и Бутмана, освободят. Он закричал:

- Иосиф, передайте на Запад, что в тюрьме для подавления воли дают специальное лекарство.

Вот этого делать не стоило. Нарвется на неприятность. Ответить ему? Меня обязательно накажут. Но если я не отвечу, он продолжит кричать и получит карцер.

- Успокойтесь, Володя, меня в Женеву еще не везут! - проговорил я тихо.

Не знаю, услышал ли он, но надзиратель все уловил:

- Менделевич, прекратить разговоры!

Ладно, одним наказанием больше, одним меньше - это не меняет дела. Меня все еще не покидало радостное настроение. Пришел Николаев, заместитель начальника тюрьмы. Он играл роль "добряка".

- Что же вы, Менделевич, не подождали, пока мы разберем ваше заявление?

- Я не мог ждать!

- Ну что ж, теперь у вас будет время обдумать свое поведение: за выход из камеры, сопротивление охране и разговоры с заключенными - десять суток карцера.

- Я готов!

Я знал, что карцера мне не миновать, и поэтому заранее припас теплые носки и белье. Карцер для политзаключенных находился в подвале и представлял собой довольно большое помещение, 3 на 2 метра. У стены - деревянные нары, закрытые днем на замок. Но после пережитого карцер был для меня настоящим домом отдыха. Наконец-то я один.

Постепенно подкрадывались раздумья, сомнения, вопросы, бесконечные вопросы. Что это? Простая несовместимость характеров или нечто более серьезное? В последнее время Гена вел себя странно. Евреи относились к нему по-дружески. Он казался простым парнем, чуть-чуть наивным. Когда Гена возвратился из карцера, Гиля Бутман отдал ему свой хлеб. Он учил его ивриту и подарил свой ивритский словарь. Потом Гена сидел с Натаном, и они стали друзьями. Натан даже дал ему несколько фотографий. Ради того, чтобы Натан сидел с нами, евреями, в одной камере, Гена Шелудько пошел на столкновение с начальством и угодил за это в карцер. Только я не мог с ним ужиться. Почему? Не могу спокойно смотреть на превращение доброго мальчика в негодяя! В течение долгих тюремных лет меня, наверно, измотали различные проявления человеческой слабости. Я пытался не реагировать на них. Вот и в случае с Геной я долго подавлял в себе чувство неприязни к нему. А потом последняя капля, переполнившая чашу терпения.

Так я размышлял, пока не почувствовал себя худо. Ноги налились свинцовой тяжестью, закололо тысячью иголок в левой руке, и она отяжелела. Дышать стало трудно. Я еще не умел объяснить свое состояние, но тем не менее понял, что слабость надо во что бы то ни стало преодолеть. Я принялся быстро шагать, потом бегать и прыгать. Разогрелся. Физическое напряжение развеяло все дурные мысли, и я размышлял об освобождении, о встрече с друзьями. Постепенно мечты окрашивались в реальные цвета. Впервые за долгое время я забыл о том, что нахожусь в тюрьме. Раньше я остановился бы - опасная игра, но теперь, когда резервы исчерпаны, мечты об освобождении были единственным спасением. Когда они улетучатся, мне придется расплачиваться за расточительность. Но пока мечты помогали выжить.

Отбой! Открыли нары, и началась подготовка ко сну по разработанной схеме: кружку под голову, носки на руки, рукав на голову, носовой платок на рот. Теперь уснуть. Это жизненно важно. Главное - не думать о тюрьме.

...Вот бредет стадо белых овец, а рядом черная собака. Нет, не помогает! Верблюд шагает по пустыне, и вокруг пальмы, холмы, камни... Нет, и это не помогает! Вот окунаюсь в микву. Раз, два, три... Телу тепло. Просыпаюсь от чирикания воробьев. Восход солнца. Подъем через час. Порядок! Выполнил норму сна.

Еще до подъема начинается оживление. В больших ящиках несут черный хлеб, в бумажках - кусочки селедки. Открывают кормушки:

- Хлеб!

Вот раздатчик достает из ящика мою порцию. Как приятно смотреть на черные, блестящие спинки буханок! Неужели я когда-нибудь смогу купить хлеба, сколько захочу?

- Кипяток берешь?

- Беру, беру! А можно потом еще взять?

- Ладно, стукнешь в дверь - подойду!

Какой добрый! Даст мне еще воды. Беру кружку в обе руки, сажусь на дощечку, привинченную к столу. Пар поднимается из кружки. Ее горячие стенки согревают руки, сердце. Что за чудо - вода!

Первый глоток. Какая горячая, живая вода! Надо пить больше. Кипяток очищает тело. Скорее выпить, чтобы получить еще. Глотаю обжигающую жидкость и снова бегу к двери. Стучу. Шаги:

- Чего стучишь? Голос незнакомый.

- Кипятка не осталось?

- Получил и хватит!

Эх, жаль, опоздал! Заступила дневная смена. От этих не дождешься. Снова сажусь на скамеечку. В руках пайка. Какой мягкий, душистый, домашний хлеб! А корочка коричневая, с пупырышками. Верхняя корочка отошла и приоткрыла мякоть внутри. Так, сидя у стола, засыпаю. Сидя спать можно. Конечно, могут помешать, но не более того.

Возвращаюсь из сна в камеру: надо молиться. Хорошо, что почти все помню на память. Молюсь не спеша. Молитва уносит меня далеко-далеко, а потом спускаюсь на землю. Так продолжается несколько часов. Не спешу расстаться с молитвой - я живу в ней.

Молитва кончена. Омываю руки и отламываю от пайки верхнюю корочку. Пальцами отщипываю мякоть. Хорошо, что до молитвы нельзя есть. Так у меня останется больше хлеба к обеду. Теперь начинается "разделка" хлеба. Нашел деревянную палочку - валялась в камере. Это мой нож, им я обрезаю корку с трех сторон. А вот эта часть самая сладкая, она останется на субботу. Остальное нарезаю тонкими ломтиками. Когда-то Абрам сказал, что свежий хлеб вреден для желудка, поэтому его надо подсушивать. Может быть, для больных это и верно, но нам дают так мало хлеба, что нет смысла его сушить. Хотя сухари полезнее. Здесь выдают 450 граммов в день, а мне столько и не надо! Решил вынести из карцера пайку хлеба. Может, даже целых две. А сэкономить надо три.

В тюрьме существует неписанный закон: в последний день отсидки в карцере не есть хлеб, а оставлять тому, кто придет после тебя. В первый же день я нашел спрятанную пайку, но она вся заплесневела и зачерствела, так что ее невозможно было есть. Все равно хлеб нужно оставить. Разрезав, кладу на обрывки газет и сушу. Это запрещено. Надо прятать понадежнее. А газету я пронес в камеру, завернув в нее кусок хлеба. Это "Moscow News". Читаю по-английски вслух, а затем перевожу на иврит. Темы, затронутые в статьях, обсуждаю сам с собой - тоже на иврите. Нельзя ни на день прекращать практиковаться в разговорной речи.

Сегодня тема статьи "Жилищное строительство в СССР". Я рассуждаю о том, почему не хватает жилищ в Советском Союзе. Потом проверяю, подсушился ли хлеб. У окна ломтики сохнут лучше, а под окном - хуже. Приходится их время от времени переключивать. Чтобы залезть на окно, надо подтащить парашу и встать на нее. Это

опасно: выглядит подозрительно. Поэтому я проделываю все быстро, предварительно убедившись, что надзирателя нет поблизости. Но и торопиться тоже нельзя - хлеб крошится и жалко, если от неосторожного движения крошки упадут на пол. Прежде чем завернуть высушенные сухари в газету, я легонько ударяю ими о стол. Крошки сыплются на подложенную бумагу. Я их собираю и ем. Самые крепкие сухари оставляю на субботу.

В карцере вместо унитаза - железный бачок с острыми краями. Сидеть на нем неудобно, но я подкладываю куски тряпки, которую выдают по утрам для уборки камеры. Здесь сидение на параше имеет свои преимущества: ты один, никто не ждет своей очереди, никто не торопит тебя.

Нет, ошибся. Я заметил, что как только сажусь, начинают разливать кипяток. Неприятно, если кормушка открывается в тот момент, когда я занят другим делом. Раздатчик кричит, торопит:

- Ну, чего там? Не хочешь кипятка, что ли?

Нет, кипяток я хочу, и даже очень. Он основной источник тепла.

Здесь, в карцере, с утра до вечера я занят едой. Осматриваю свои продовольственные запасы. Это дает мне ощущение независимости: у меня много еды, захочу - съем все сразу. Я не ем лишь потому, что не хочу. Но нельзя же все время думать только об этом!

И тогда наплывают другие думы, неотвязные, тяжелые: как получается, что человек, отправлявшийся в Израиль, оказался в вонючем тюремном подвале в тысячах километров от Иерусалима? И вообще, зачем люди живут на земле? Для чего?..

А вот еще и другое занятие: уловить время послеполуденной молитвы Минха. Задача довольно сложная: свет через окно не проходит, и разницы между двумя и пятью часами дня для тебя нет. Только по радио, которое находилось где-то очень далеко, можно приблизительно определить время. После вечерней молитвы, считай, день прошел. Делаю отметку на стене. Что дальше? До Израиля еще тысячи километров и тысячи часов.

Снова проклятой тяжестью наливается тело. Я был прав: пять лет просидеть - куда ни шло, а больше невозможно. Все работает на износ. И так изо дня в день. В пятницу вечером длинная молитва, затем "сытый" ужин из запасов, собранных за неделю. Потом - танцы. Когда на моей свадьбе в Иерусалиме я танцевал три часа подряд, меня спросили, где я учился этому, я ответил: "В карцере Чистопольской тюрьмы". Правда, в тюрьме танцевал не от избытка чувств, а от их недостатка. Вначале то был скорбный танец, а затем передо мной возникал Иерусалим и счастье переполняло меня. Движения ускорялись. Я танцевал так, что от пола откалывался цемент. Это был танец узника, которому хочется вырваться, бежать, освободиться...

- Менделевич, прекратите шум! В тюрьме танцевать запрещено!

- Сегодня праздник!

- Что за праздник такой?

- Моих товарищей освободили. Они теперь в Израиле. Знаете Бутмана? Он сидел здесь. Теперь он в Иерусалиме!

- Что же тебя не освободят?

- Освободят и меня!

- А все же, почему их освободили, а тебя нет?

Вот уж не собираюсь искать логики в действиях советской власти! Надзиратель отошел от моей камеры. Теперь с его слов все знают о странном еврее, который танцует в одиночке: "Нашел, где танцевать! Что за народ евреи. Его в карцер, а он радуется!"

Но отношение ко мне меняется. Уже по второму заходу дают кипяток, не придираются, когда я молюсь вслух.

За день до выхода из карцера пришел лейтенант КГБ Галкин:

- Со Щаранским все равно не посадим вместе. Можете хоть сто раз выбегать из камеры!

Наконец меня выводят. Несу две порции хлеба. Сделали вид, что не замечают. С кем же теперь сидеть? Посадили с Размиком Загробяном. Малоразговорчивый, думающий парень. Первые несколько месяцев после карцера прошли хорошо. Учеба, разговоры, физзарядка. Снова принял на себя функции хозяйственника. Впервые за год удалось подкупить раздатчика хлеба и получить лишнюю пайку. Плату - махорку - мы бросали в мусор, который он каждое утро выносил из камер. Хлеб шел в пользу Размика. Он был худ и серьезно болен. Занимался йогой и часами стоял на голове, считая, что от этого голова перестанет болеть. Переубедить его в чем-либо почти невозможно. Он был категоричен в своих суждениях. Спорить с ним бесполезно. Я и не спорил.

Вот довольно типичная картина нашей жизни. Я учу иврит, а Размик в углу стоит на голове.

- Что-то мне плохо, Иосиф!

- Это оттого, что вы на голове стоите!

- Нет, это мне помогает от головной боли, - и стояние продолжается.

Нельзя сказать, что он был завистлив, но какое-то неосознанное чувство обиды на то, что обо мне заботятся за границей, а о нем нет, постоянно сквозило в его рассуждениях. Он считал, что я верю в скорое освобождение, но не подаю вида. Это было не совсем так. Я и верил, и не верил. А ему хотелось меня "разоблачить" и доказать, что мои надежды не осуществляются. Каждое сообщение о прекращении переговоров SALT-2 вызывало его бурную радость: "Все кончено. Русские никогда больше не договорятся с американцами".

Порою, сам того не сознавая, он причинял мне боль. Я же испытывал неловкость, словно на глазах у голодного сытно ем. Я старался избегать темы об освобождении, но он упорно возвращался к ней, беспрестанно ковыряя свои болячки. Его истинное отношение ко мне особенно резко проявилось во время голодовки.

Дело обстояло так: Натан получил свидание с матерью. После свидания он постучал в забор прогулочного дворика, где мы с Размиком гуляли, и начал рассказывать новости:

- Освободили Альтмана, Хноха, Пэнсона и Залмансона. Кузнецова и Дымшица обменяли на советских шпионов. Это в рамках соглашения об ограничении стратегического вооружения. Брежнев обещал после ратификации сенатом SALT-2 освободить меня, тебя, Иду Нудель, Федорова и Мурженко. Ожидается, что договор ратифицируют 25 ноября.

Дальше нам говорить не пришлось: Размик подал знак, что охранник направляется в нашу сторону. В октябре 1979 года Натан, проходя мимо моей камеры, бросил в мусорный ящик записку. Вернувшись с прогулки, я занес мусорный ящик в камеру. Натан писал: "13 октября все политзаключенные начинают голодовку с требованием выдавать письма". Время для забастовки неудачное для меня. Только вчера прошел Йом-Кипур. Опять поститься? Есть ли в этом смысл?

Однако к вечеру мое мнение изменилось. Я услышал разговор между Натаном и Мишей Казаховым. Они говорили по-английски. Миша голодал одиннадцать месяцев. Ему насильно вливали питательный раствор. Били, сажали в карцер, но он стоял на своем: пока администрация не отошлет матери его сорокастраничное письмо от 15 декабря 1978 года и не отдаст ему все ее посылки, не прекратит голодать.

- Если поддержим тебя, кончишь голодовку? - спрашивает его Натан.

- Да, при условии, что администрация согласится отдавать посылки и лечить меня.

Итак, наша голодовка могла помочь Мише прекратить медленное самоубийство. Поэтому, несмотря на то, что приближался праздник Сукот, я решил присоединиться. Правда, мои требования отличались от других: "Прошу выдавать мне все письма из Израиля, поступившие на мое имя от матери и сестер", - писал я в заявлении. Размик отказался от участия в голодовке, так как она может подорвать его здоровье. В последнее время он не участвовал в коллективных действиях. В нашей камере я голодал один. Чтобы не видеть, как Размик ест, я отворачивался от него, а он, словно не понимая, как нарочно предлагал:

- Иосиф, съешьте вот это! Еды хватит на двоих! Хотите, я вас буду кормить тайком, чтобы никто не знал?

- Нет, я ведь объявил голодовку.

- Но никто не увидит! Перед кем вы хотите быть честным?

- Перед самим собой!

И Размик изображал страдание от того, что вынужден есть в моем присутствии. Постоянно говорил о нравственных муках, которые испытывает, видя, что я не ем. Он нервничал, глотал таблетки, по его словам сердечные, и часто хватался за сердце. Так он продолжал есть и извиняться, а я голодать и успокаивать его. Размику не удалось склонить меня на обман.

Постепенно я так привык к состоянию голода, что по своему поведению ничем не отличался от тех, кто ел. Врачи несколько раз приходили осматривать меня. Смотреть было не на что и без голодовки. Кожа да кости. Тем не менее я продолжал бегать трусцой на прогулках. Количество кругов уменьшалось, так как ноги сводило судорогой, но я продолжал бегать назло всем. Врачи с наблюдательной вышки следили за мной:

- Восьмые сутки голодает, а бегаёт. Откуда силы берутся?

Сил было еще много. Не физических. Просто я понял, что если изменю образ жизни, будет еще хуже. И я продолжал. На восьмые сутки получил пять писем из Израиля, на девятые - десять, на десятые - еще восемь. Подсчитал, что если голодать целый год, смогу получать ежедневно все отправляемые мне письма. Голодовку закончил. Миша тоже прекратил.

Был вечер Гошана Рабаб. Размик припас для меня хлеб, кашу и рыбу. Мы пировали победу. Действительно, победа. Я с трудом уснул, и снились мне какие-то удивительные сны. До сих пор помню их, но смысла понять не могу. Знаю лишь, что они были связаны с прошлым и будущим моего народа. Проснулся совершенно разбитым. Есть не мог. Левая нога так болела, что пришлось прекратить физические упражнения. Смешно: пока голодал - бегал, теперь ем - и не могу.

На прогулке удалось связаться с Натаном. Я спросил его прекратить голодовку. Ведь он уже получил несколько открыток из Москвы. Через день Щаранский перестал держать голодовку. Теперь, казалось, дела должны идти лучше, но все наоборот. Ратификация SALT-2 в Сенате задерживалась. Размик торжествовал - он ведь предсказывал, что ничего не получится. Теперь я не мог прикрываться безразличием: после рассказа Натана о свидании с матерью, после заявления в советской прессе о предстоящем подписании договора перспектива освобождения выглядела весьма реальной, и когда она стала удаляться, моим надеждам был нанесен чувствительный удар.

Пропал интерес к занятиям. Да и вообще, что могло интересовать после десяти лет заключения? Правда, я продолжал заниматься, но эффективность резко упала. Чтобы снять свинцовую тяжесть тела, все чаще и чаще приходилось делать гимнастику. В эти часы нашу камеру можно было принять за арену цирка или палату психиатрической лечебницы. Размик отжимался от пола раз сто пятьдесят, затем становился на голову. Я делал десять приседаний, потом почти столько же с подскоком, потом, лежа на спине, "велосипед". Пятнадцать минут - бег на месте в быстром темпе. Это согревало и как-то взбодряло. Так дотягивали до ночи. На самом деле дотягивали. Размик становился все более замкнутым и неразговорчивым, хотя причин для ссоры вроде и не было.

Как-то дежурный офицер заметил, что мы оставляем махорку в мусорном ящике и раздатчик ее подбирает. Раздатчика сменили, и новый не приносил нам ничего. Наблюдая за Размиком, я почувствовал, что ему голодно. Предложил хлеба от своей порции. Он отказался:

- Вам положено не меньше, чем мне. И вообще не хочу от вас ничего брать!

Но я не отступал и искал выхода. В утреннюю раздачу хлеба, нагнувшись к кормушке, я осмотрел коридор. Надзирателя не было.

- Вот американская авторучка, - тихо сказал я раздатчику, - приноси каждый день сто пятьдесят граммов хлеба.

Он схватил ручку и сунул мне толстый ломоть хлеба. Довольный, я дал свою добычу Размику.

- Мне не надо, - отвернулся он. - Если вам не хватает, вы и ешьте!

Размик насупился и замолчал. Не разговаривал два или три дня. Его молчание давило меня. Хоть бы знать, в чем дело. После субботней трапезы я решил поговорить с ним:

- Размик, я чувствую себя так, будто меня судят, лишая права защиты. Почему вы молчите? В чем я виноват? Я все время старался быть добрым к вам.

- Вот именно, вы всегда старались быть добрым ко мне, - он передразнил меня. - Вы любите быть хорошим и добрым, чтобы вас благодарили.

- Но при чем здесь хлеб?

- Все это время, все эти месяцы вы издевались надо мной, желая показать, что вы сильный, а я слабовольный и не могу заставить себя голодать, не могу совладать с собой. Для этого вы и придумали всю комедию с добавкой хлеба.

У меня поплыло в глазах. Надо же, полгода я издеваюсь над ним, отдавая свой хлеб! Почему же он раньше ел? Обвинение звучало так дико, что я засомневался, понимает ли он, что говорит. Одно было ясно: оставаться с ним вместе я больше не могу. В подобной ситуации другие зеки обменялись бы удивленными взглядами и продолжали бы сидеть вместе, не обращая внимания на соседа, а иногда даже обсуждая с ним последние известия. Оказалось, что я не такой: не думать о соседе не могу, не могу делать вид, что не замечаю его косых взглядов. Я предлагаю ему свою помощь, дружбу и жду от него того же. А он не принимает - и все тут. Не понимает меня и превратно истолковывает все мои намерения. Да, вот она причина! Невозможность быть хорошим для всех. Тайная пружина галутной жизни бьет по тебе самому.

Что теперь делать? Затянуть переписку с начальством и проситься в другую камеру? Все остальные способы сопряжены с риском. И тут мне помогла моя нетерпеливость. Зачем ждать? Самая короткая дорога - напрямик.

В субботу вечером я постучал в дверь. Начальства нет,

- Чего надо? - спрашивает надзиратель.

- Позовите дежурного офицера!

- Сейчас!

Вскоре пришел какой-то капитан:

- В чем дело?

- Все время ругаемся с соседом по камере. Переведите меня в другую!

- Через полчаса дам ответ.

Через полчаса приходит:

- Собирайтесь с вещами!

События разворачивались с такой быстротой, что даже Размик забыл о ссоре:

- Не могу понять, почему они так быстро согласились?

В самом деле странно. Обычно просьбы о переводе в другую камеру не удовлетворялись. Приходилось прибегать к длительным голодовкам с минимальной надеждой на успех. Тут это заняло всего лишь час.

Собрал вещи. Открылась дверь. Обменялись с Размиком рукопожатием. Как никак, были друзьями, и только страшный пресс тюрьмы придавил нас. Мы уважали друг друга, но не сумели жить вместе.

Меня перевели в маленькую угловую камеру. Ощущение раскованности и освобождения, которое я пережил при бегстве от Гены, не приходило.

С утра начал требовать выдачи в обед супа, сваренного без мяса. Его варили для сидящих в карцере. Явился сам начальник тюрьмы:

- Не могу вам назначить питание пониженного качества, - зло пробасил он. - Оно выдается только тем, кто в карцере. Мы даем, что положено, и ваше дело - есть или не есть. Напишите заявление врачу, и если он не будет возражать, заменю вам вид питания.

Так я и сделал - написал заявление. Видно, что-то изменилось в отношении ко мне, потому что через несколько дней мне уже выдавали суп без мяса. Там плавали картофель, капуста, лук и лавровый лист. Впервые за долгие годы я ел овощи. Успех придает силы. Я продолжал читать "Агаду" Бялика, учить арабский и даже заниматься физкультурой. Казалось, так отсиджу до конца срока в тюрьме. Оставалось всего пять месяцев. Но опять что-то случилось, и меня перевели в другую камеру, где уже находились Майгонис и Огурцов. Тут сработал какой-то внутренний механизм, и я объявил голодовку: требую перевести меня в одиночку. Снова вступать в камерные конфликты, вести борьбу по пустякам... Устал. С меня хватит!

На третьи сутки голодовки врачи констатировали, что ее продолжение опасно для моего здоровья. И я добился своего: меня снова перевели в одиночную камеру, придав ей статус больничной. Прекратил голодать, попросил кружку кипятка. Отпил немного и начались спазмы в горле. Вдобавок свело судорогой ногу и левую руку. Так доставались мне эти победы. Я себя нисколько не обманывал: еще несколько таких "побед" - и у меня не будет сил бороться за свою жизнь.

В больнице все течет однообразно. Подъем, завтрак, прогулка, учеба. В пять часов вечера все затихает. Письма уже раздали, "Правда" прочитана, ужин съеден. Это самое тяжелое время для меня. Целый день ждешь - а вдруг что-то произойдет: принесут хорошее письмо или по радио сообщат о каком-нибудь успехе в Израиле. Когда ждать уже нечего, впадаешь в состояние полужизни-полусмерти, где нет никаких надежд. Так шло время. Иногда переговаривались через стену. Однажды Владимир Балахонов постучал. Хочет говорить. Опасное занятие - вести получасовые беседы. Володя разговорчив:

- Когда освободитесь, передайте на Запад, что, по моему мнению, здесь применяют лекарственные методы воздействия на заключенных. Врач дает препараты раздатчику, и тот кладет их в пищу. Это вызывает поносы, геморрой.

- Володя, я в это не верю.

- А вы сообщите от моего имени.

Идет надзиратель. Я попался. Открывается кормушка:

- Менделевич, еще раз замечу... Вас не для того положили в больницу.

Он меня не поймал, но догадался, чем я занимаюсь: услышав его шаги, я отскочил от стены и принялся читать заранее положенную на стол газету. Но как сказать Балахонову, чтобы он не ставил меня под удар? Неужели сам не понимает? Нет, сказать нельзя - объяснит все трусостью.

За стенкой другой зэк, сын генерала Шухевича. У того странная привычка звать меня на переговоры через унитаз как раз в субботу. Я сказал ему, что по субботам не стоит. Вроде бы понял. Он болен. У него все болит: глаза, голова, сердце. Сидит с пятнадцатилетнего возраста. Сейчас ему сорок два. Я его понимаю. У меня тоже все болит. Общее недомогание, постоянные головокружения, сердечные боли. По утрам отекающие ноги покрываются какими-то желтыми пятнами. Врач на осмотре качает головой. Наверно, ему надо писать ответ на жалобу, с которой Наташа Розенштейн обратилась в министерство здравоохранения. Ответ стандартный: "Менделевич здоров". А Менделевич уже еле жив. Главное - не сплю. Это самое страшное наказание. Даже ночью нет спасения от тюрьмы. Лежу. Думать не о чем. Спать не могу. Так проходит час за часом. Вот наконец запели птицы - восход солнца. Подъем. Встаю, пытаюсь обмануть себя, что спал всю ночь. Но себя не обманешь - снова болит голова, подкашиваются ноги. Весь мир плоский и одномерный.

...Теперь меня часто спрашивают, пытаются ли в советской тюрьме. Нет. Но разве не пытка доводить человека до такого состояния, когда он противен самому себе и весь мир ему противен тоже? Однако у меня было спасение: вера, народ и земля Израиля.

Хаим писал: "Поверь, это такая прекрасная страна, что есть ради чего жить!" Я в это верю, поэтому, несмотря ни на что, продолжаю жить. Молюсь, занимаюсь, пишу жалобы. Требую разрешить моим родным посетить СССР, чтобы получить свидание со мной. Получаю отказы: "С Израилем нет дипломатических отношений". Наташа приезжала ко мне, но свидания не дали: "Двоюродная сестра - не родственница". Ее семья уже восемь лет в отказе. Власти как бы специально разрешают выехать тем, кто в Израиль не едет. Нам это наносит удар.

Натану до отбытия тюремного заключения остается три месяца, мне - четыре. Ему сидеть не легче, чем мне. Его сосед - пятидесятилетний Виктор Пяткус, участник литовского национального движения. Как-то на прогулочном дворике я услышал их разговор:

- Виктор, вы постоянно пытаетесь мне указывать, что я должен делать! Кто вам дал право так обращаться со мной?

- У меня больший опыт заключения и жизни, чем у вас. Вы еще не понимаете, как надо себя вести!

- Прошу вас держать свое мнение при себе!

Вызываю Натана стуком в забор:

- Как ты можешь терпеть! Требуй немедленного перевода!

- Не хочу, чтобы администрация знала о конфликтах между политическими.

- Из-за этого мучиться?

- Ничего, осталось немного!

Через несколько дней состоялась наша первая и единственная встреча. Шел снег, за ночь навалило его до колена. Лопат не выдавали. На прогулке Натан потребовал, чтобы его отвели обратно в камеру. В этот момент меня выводили на прогулку. Мы встретились. Я сразу узнал его по фотографии, которую Ида Нудель прислала мне в 1975 году. Но как он изменился с тех пор! Лицо серое, остро выступают скулы, и только в глазах теплый, добрый свет.

- Натан!

- Йосеф!

Мы обнялись. Конвой растерялся, впрочем, лишь на несколько секунд. Тут же нас схватили за руки и растащили в разные стороны. Эта встреча дисциплинарных последствий для нас не имела: виноваты были надзиратели. Не обеспечили изоляцию заключенных.

И все-таки помешать нашему общению не могли. Всех дырок не заткнешь, а опыт у нас имелся не меньший, чем у них. Ежедневно, проходя мимо камеры Натана, я здоровался с ним: "Шалом!", обращаясь при этом как будто к конвоиру. Тот недоумевал:

- А, что?

- Ничего, ничего!

В двери моего прогулочного дворика была щель. Прильнув к этой щели, я ждал Натана.

- Шалом, сегодня получил письмо из Израиля.

- А я уже месяц не получаю!

- Прекратить разговоры!

Оказалось, моя камера напротив его. Если говорить тихо, надзиратель не сразу услышит. Но лучше петь. В субботу после трапезы в мрачном одиночестве камеры я согреваюсь песней и словами приветов:

- Натан, Натан, ты слышишь?

- Да, я слышу!

- Шабат шалом, Натан!

- Шабат шалом, Йосеф!

И вот ко мне в камеру входят ангелы мира. Я не один. Рядом со мной друг. Но однажды вместо ответа на "Шабат шалом" я услышал:

- Позавчера мой папа умер...

Тяжелая весть. Я это тоже пережил. Как помочь, как ободрить Натана? Несколько дней не находил покоя. Рядом друг, а я не могу ему помочь. Наконец идея! Начинаю лихорадочно готовиться к завтрашней прогулке. Пишу Кадиш, скатываю в горошину, обматываю более плотной бумагой и начинаю тренироваться - пока что в камере. Пройдет ли этот шарик через сетку над прогулочным двориком? Под каким углом и с какого расстояния бросать? Утром на прогулке стучу в стену. Натан откликается.

- Приготовься к приему!

Задача трудная. Охранник все время над головой. Отходит на несколько минут и сразу же возвращается. Наблюдаю за ним. Как только он поворачивается ко мне спиной, бросаю шарик. Он попадает в сетку и отскакивает от нее. Охранник вернулся, но шарика на земле не заметил - идет снег. Когда он отходит, я поднимаю шарик и снова бросаю. Не попал. Прогулка окончена. Возвращаюсь в камеру в подавленном настроении.

На следующий день новый план. В стене дворика, в самом низу, есть маленькая дырочка, в которую проходит стержень авторучки. Вставляю один стержень в другой и привязываю к его концу нитку с запиской. Стучу в забор и пытаюсь объяснить Натану, что надо делать:

- Я просовываю стержень, ты хватаешь конец и тянешь.

Но он никак не может найти отверстие:

- Где, где?

Прогулка окончена. Снова неудача. Завтра попробую старый метод. Наконец, со второй попытки, шарик попадает в дворик к Натану. Он передает: "Получил!" Для меня нет лучшей вести, чем эта. Получил! Получил! Теперь у него будет молитва. Так налаживается канал связи.

- Йосеф, можешь прислать псалом №27? Авиталь написала, что раввины советуют читать каждый день.

Пишу ему текст псалма и на следующий день переправляю через забор. Хотя я и слаб, но возможность помочь другому придает мне силы. В субботу спрашиваю его:

- Натан, что ты делаешь целый день?

- У меня есть пасхальная Агада, читаю ее. Это помогает мне изучать язык. Я знаю уже все молитвы оттуда. Это поддерживает меня! - все это речитативом.

Какой человек! Я пою в ответ: "Давид, царь Израиля..."

- Менделевич, перестаньте разговаривать со Щаранским!

- Я не говорю, а пою!

- В тюрьме петь не положено!

Кончается трехлетний срок заключения Натана в тюрьме, и теперь его этапируют в уральские лагеря. Через два месяца и я отсижу тюремный срок. Думал, что мои злоключения в Чистополе исчерпаны. Но осталось, видно, пройти последний круг.

Меня переводят в камеру к Балахонову, Огурцову и Майгонису. Находиться в большой камере с тремя зэками гораздо легче, чем с одним, но заключенные - люди не легкие. У каждого своя судьба, свой характер, свои заботы.

Майгониса через два месяца освобождают. Он строит планы встречи с Сахаровым. Его мечта - выехать из Союза. Огурцов в тяжелом состоянии. Он уже не способен ни читать, ни писать. Лежит неподвижно на койке.

Балахонов активнее других. Работает над теорией спасения мира от русских. Раньше он заявлял, что не принадлежит к русской нации и считает себя космополитом. Теперь его позиция изменилась: "Как русский, я должен предупредить мир об опасности, которую представляет русский народ для всего человечества.

Единственное спасение и для нас, и для всего мира - расчленив русскую империю и оставить русским только те земли, на которых они сформировались как нация в XV веке".

Эти рассуждения озлобляют Огурцова, приверженца великой русской империи. Майгонис ненавидит их обоих, оккупантов Латвии. Каждый из них наедине признается мне, что не может больше сидеть с двумя другими:

- Как только вас увезут в лагерь, буду требовать, чтобы меня держали отдельно!

Мне было легче, чем им: вера в Б-га давала мне силы жить. Они же думали, что мой оптимизм вызван реальной надеждой на освобождение, и завидовали мне!

- Не сомневаюсь, что вас освободят раньше срока, - каждый день твердил Балахонов.

А я не ждал от Б-га немедленного освобождения. Я молился о том, чтобы не потерять себя и сохранить любовь к людям.

С утра я спешил занять очередь в туалет и умывальник. Мои сокамерники тоже хотели успеть до завтрака провести "гигиенические мероприятия". Как только прозвучит гонг побудки, Балахонов торопится наполнить водой металлический таз, чтобы мыть в нем ноги. Майгонис соскакивает с верхних нар и, обходя Володю боком, приближается к унитазу. Огурцов, сохраняя достоинство, выполняет на койке упражнения "йогов".

На двух квадратных метрах, свободных от четырех коек, стола и унитаза с умывальником, четыре взрослых человека, не толкаясь и не наступая друг другу на ноги, должны жить. Но мало того, нужно еще никого не обидеть. Несовместимые вещи! В результате напряженность в камере возрастает с каждым часом. Кто-то произнес обидное слово, кто-то не посчитался с сокамерником, и накалилась и без того тяжелая атмосфера.

Зачем, собственно говоря, Володе с утра набирать воду в таз? От того, что он моет ноги в холодной воде, здоровье его не укрепляется, он постоянно чихает и кашляет. Он и в другом ни за что не уступит. Форточка должна быть открыта, потому что без свежего воздуха он задыхается и не может спать. А у Майгониса больные уши, и холод ему вреден. Он не говорит ни слова, закуривает и обвязывает голову полотенцем. За полотенце получает замечание от надзирателя. От курения ему легче не становится, а Игорю оно мешает. Ему осталось отсидеть три года и хочется сохранить здоровье - насколько это вообще возможно в тюрьме.

Володе нужна теплая вода для обмывания - у него геморрой. Геморрой, пожалуй, есть у всех, но лучше не обращать на болезнь внимания. Я не решился бы при всех снимать штаны и садиться в таз с водой, как это ежедневно проделывает Володя. Мы, конечно, стараемся не замечать эти водные процедуры. Давно уже покончено с условностями, все открыто, и кто хочет, может наблюдать за тем, как ты тужишься

над дырой в полу. Мучаешься, и тяжело вдвойне: сидеть на виду у всех и торопиться, ведь вода подается в камеру в определенные часы, и кто опоздал, тот, схватившись за живот, ждет до вечера.

Я вынужден был вставать раньше других, чтобы успеть помыться и приступить к утренней молитве. Я не знал, в какой стороне находится Иерусалим, и поэтому считал правильным молиться, стоя лицом к окну. Попадая в новую камеру, я старался занять койку у окна. Если не удавалось, то просил разрешения стоять там. Хорошо, если разрешали. Всякое бывало. Так я поступил и на этот раз:

- Можно постоять у окна?

- Пожалуйста, не надо и спрашивать!

Хозяин койки демонстративно уступает мне место. Вроде бы все в порядке? Да, если это одноразовая просьба. Но не будешь просить каждый раз. В тюрьме вырабатывается привычка как можно меньше просить. Даже если тебе предлагают, лучше отказаться. Элементарная тюремная философия учит заключенного довольствоваться тем, что у него есть.

Итак, благополучно закончив водные процедуры, я приступал к утренней молитве. Обычно своими молитвами арестанты раздражали надзирателей:

- Что ты там делаешь у окна? Отойди немедленно!.. Что ты там высматриваешь? В побег собрался? А ну, подойди к двери!.. Чем занимаешься? Молишься?..

Естественно, при таком пристальном наблюдении невозможно остаться наедине с самим собой и с Б-гом. Пытаешься забыть об окружающем, но трудно: надзиратель орет, Володя на узкой площадке между столом и дверью делает гимнастику. Только Игорь не мешает - он занимается йогой у себя на нарах. Правда, скоро он закончит и приступит к молитве. Он молится, тоже повернувшись к окну. Спиной я чувствую, как он кладет земные поклоны и крестится. Хорошо, что я уже кончил молиться.

Но тут возникает новая проблема: не стоять же спиной к молящемуся, а отойти некуда - я между окном и нарами. Теснота такая, что один не может сдвинуться с места без того, чтобы всем остальным не пришлось подвинуться. Повторяется это неоднократно, и единственный выход - после молитвы сесть на пол и приступить к чтению Агады Бялика, которую мне удалось пронести с собой.

И вот наступает момент, которого все ждут с нетерпением. В противоположном конце коридора открываются кормушки. Чуткое ухо зэка улавливает желанный звук. Но вот одна из кормушек захлопнулась быстрее, чем обычно. Значит, зэк отказался взять хлеб. Кто-то объявил голодную забастовку. Я приложил ухо к двери, чтобы узнать номер камеры. Восемнадцатая. Там сидит Гена. Что же случилось? Может, удастся узнать позже.

А пока подошла наша очередь получать хлеб. Каждому хочется посмотреть, какой сегодня хлеб: черствый ли, выпеченный, черный как земля или светлее обычного. Качество хлеба как всегда служит темой для оживленной беседы. Хотя речь идет о

нескольких кусках хлеба, дневной пайке, мнения высказываются с достоинством и в изысканных выражениях, как и подобает в высшем свете.

- Хлеб сегодня хорош, - заключает Володя.

- Вовсе нет, Владимир Федорович. Не лучше, чем обычно. Просто больше картошки добавили, - возражает ему Игорь.

- Вот и запах какой-то особый, - настаивает на своем Володя.

Распределение хлеба между сокамерниками - дело нелегкое. Казалось бы, все ломти одинаковы, но глаз голодного человека улавливает различия. Рука инстинктивно тянется к большему куску. И все с трудом отводят глаза, в которых голод и жадный блеск.

Во избежание взаимных обид мы установили определенный порядок: первая порция хлеба - Владимиру, вторая - Игорю, третья - мне. Мы кладем наши пайки на стол. Владимир задумчиво смотрит на свою. Потом вынимает линейку и, измерив толщину ломтя у себя и у Игоря, приходит к выводу, что сегодня ему досталось на пятьдесят граммов больше, чем другим. Он вынимает нитку и принимается отрезать излишек. Разумеется, Игорь ни за что не соглашается взять его себе.

Решаем: в дальнейшем менять порядок раздачи хлеба, и тогда появится вероятность, что в течение недели все получат равные доли. Но каждый понимает, что и эта хитроумная система вряд ли решит основную проблему - голод. У нас дистрофия. Прилагаем невероятные усилия, чтобы не говорить о пище и делать вид, что не так уж она важна. По сути дела "хлебная церемония" должна компенсировать реальный недостаток хлеба. Впрочем, Володя на этот раз не выдерживает.

Открывают дверь для утренней поверки. Вместо того, чтобы доложить о числе заключенных в камере, он кричит на весь коридор:

- Хлеба! Дайте столько хлеба, сколько нужно человеку! На Нюрнбергском процессе судили нацистов и за то, что они морили заключенных голодом, а вы даете еще меньше той, нацистской нормы!

Дежурный сержант невозмутим. Он знает, что эски голодны, но не имеет права выдать больше положенного. Дверь захлопывается.

Я занялся самовнушением: нам выдают вполне достаточное количество. Но поскольку оно ограничено, кажется, что не хватает. Надо съесть меньше, чем дают, тогда все будет хорошо. Я стану независимым. Но тут возникли новые сложности: куда девать оставшийся хлеб? Прежде всего - сушить. А что делать с сухарями? Отдавать Володе. У меня уже был опыт с Размиком. И все же я отдавал Володе хлеб. Невозможно видеть, как человек мучается. Церемония с хлебом - разрезание, медленное разжевывание - довела его до беды. Однажды он так увлекся, что не успел одеться на прогулку и за это получил шесть суток карцера. Все шесть суток он голодал. Не ел и не пил. В камеру вернулся труп с горящими глазами: "Я, ребята, еще держусь, вот глядите!" - И стал плясать вприсядку, показывая, что голодовка ему не страшна. Сделал несколько прыжков и упал. Мы отнесли его на койку.

- Ребята, знаете, о чем я вспоминал во время голодовки? В Женеве, где я работал, есть маленькое кафе. Там можно выпить чашечку кофе и съесть сладкую булочку.

Конечно, таких деликатесов у нас не было, но зато я приготовил для него калорийное блюдо. Сушеные рыбы хвосты, хранившиеся у него в пакетике, я замочил в воде, раскрошил и смешал с хлебными крошками. Это блюдо я добавлял к обеду. Все ели и хвалили: "Иосиф, вам бы в ресторане работать!" Да, с голоду и не такое покажется вкусным.

К обеду все уже наготове. Каждый держит свою миску. Открывается кормушка:

- Обед!

У каждого своя очередь, как и при получении хлеба. Пригнувшись к окошку, наблюдаем, как раздатчик зачерпывает суп:

- Размешивай перед тем, как наливать! Жижу не давай! Лей гущу! Черпай снизу! Чего сверху даешь?

Все ведут себя так, будто решается вопрос о жизни и смерти. Несут миски к столу, разглядывая, что досталось сегодня. Одному попала картошка, другому только капуста. Володя кладет в суп сухари, которые я дал ему утром, и добавляет туда еще пол-литра воды: "Так больше!" Тяжко видеть, как человек теряет человеческий облик!

...Мой последний Песах в тюрьме. (Тогда я не знал, что следующий буду встречать в Хевроне.) Я действительно готовлюсь к Исходу. Не сегодня-завтра этап. Способы приготовления к Песах у меня уже давно разработаны и освоены. Припасено полкило мацы из посылки - основная пища на восемь дней. Снова делаю проверку на квасное. Снова удивленные взгляды обитателей камеры. Станный еврей! Сидит в тюрьме и еще придерживается каких-то обычаев! Перебирает в еде! Они не понимали, что вера поддерживает меня.

- Иосиф, когда приедете в Израиль, будете там национальным героем!

- Что вы, Володя, у нас таких национальных героев три миллиона!

...Потом все происходило быстро. В течение часа я должен был собраться с вещами, причем в присутствии офицера, который все это время не покидал камеры.

Несмотря на это, Володя все же ухитрился передать мне записку.

- Поешьте перед дорогой, - предложил он мне, придвинув повидло.

Зачерпнул ложкой - и записка у меня во рту.

Сборы закончены. Меня отводят в пустую комнату и уносят вещи на обыск. Потом я увидел изъятые у меня израильские открытки, фотографии, записи. Все это объявлено "подозрительным по содержанию".

- Протестую против конфискации!

- Можете протестовать. Это ваше право. Деньги, обнаруженные между страницами книги, будут переданы в казну государства.

- Но ведь это мои деньги!

- Вам иметь деньги запрещено!

Отняли открытку с видом Иерусалима и Храмовой горы за "религиозное содержание".

- Протестую против изъятия израильских открыток. Я получил их в письмах, на законном основании!

- Прекратить пререкания! Собирай вещи, живо! Некогда тут!

Выводят из ворот тюрьмы. Нет, даже после трехлетнего тюремного заключения эта унылая страна не влечет меня. Вокруг поля, поросшие низким кустарником, грязный снег.

В руках у конвоира белый хлеб с яйцами и луком. Он вяло жует. Меня кольнуло: тюремщики едят белый хлеб, а нас морят голодом! Сколько лет я уже не видел яиц, белого хлеба...

Поехали. Дорога длинная. Лед на Волге растаял, и поэтому повезли окольным путем. Шесть часов тряски в закрытом воронке, когда не разобрать, где верх и где низ. Уголовники переговариваются:

- Как привезли политических, стало легче. Не бьют и кормят лучше.

- Да, начальство их побаивается. Чуть что, строчат жалобы.

- А в других тюрьмах что творится! Бьют до смерти. Чуть что - в ящик сажают.

Оказывается, еще повезло. Действительно, куда бы меня ни привезли, ко мне, как к политическому, относились лучше, чем к уголовникам.

Остановка в Бугульминской тюрьме. Записался на прием к врачу. Мне худо. Не знаю, перенесу ли этап. Молодой врач-комсомолец узнал, что я хочу ехать в Израиль, и принялся меня "обрабатывать". Все вычитанное из газет выплескивается на меня. Я молчу. Ведь пришел за медицинской помощью. Но потом не выдержал. Ладно, обойдусь без его лекарств:

- Все, что вы мне тут рассказали, - сплошная чушь. Не хочу ее слушать. Я могу вам рассказать о том, что в ваших газетах не пишут...

После часовой лекции об Израиле я поднялся:

- Ну что ж, пришел за лекарством, а получился у нас спор. Ладно, обойдусь!

- Да нет, почему же! Я вас осмотрю и дам назначения.

Он выписал мне витамины, общеукрепляющие и назначил усиленное питание - дистрофия.

Жаль, усиленного питания не выдали. В эту же ночь повезли дальше. Но реакция этого молодого врача на слова правды запомнилась. Разве люди виноваты в том, что их околпачивают?

Этап продолжался три недели. Это тяжелое испытание для зэка. Чуть ли не каждый день - новая тюрьма. В каждой - обыск. Перебирают оставшиеся израильские открытки.

- Что, сионист?

И приходится опять объясняться. Всякий раз встречают одинаково:

- А, сионист! Тебя давно бы убить, а ты еще жив. А ну, поторапливайся!

Нагруженный двумя чемоданами, бегу под дулами автоматов и лай овчарок. И снова все то же. Прыгаю из вагона. У дверей конвой:

- Эй, что у тебя в чемоданах?

- Книги!

- Не сожгли еще? Жаль! Ну давай! Бегом - марш, политик!

- Что это за права человека? - спросил меня как-то молодой солдат. - Говорят, в Советском Союзе их нет, а мне и не надо. Закончу служить, пойду с девушкой в кино, в ресторан. Какие еще права человека?

Я объяснять не стал. Хватит с меня споров в вагонах. Однажды так разговорился, что до сих пор не понимаю, как не получил дополнительного срока за "пропаганду". Говорил об истории России. Все слушали молча - и зэки, и солдаты. Но когда дошел до захвата власти большевиками, вагон взорвался:

- Ты Ленина не трожь! Он святой! Понимать надо, - кричали уголовники.

Странно, как эта языческая вера уживается у них с реальной жизнью. Ведь ее они знают лучше тех, кто на воле! Они видят огромные города-тюрьмы. Они работают на "стройках коммунизма", которые возводятся на костях таких же заключенных, как они. В газетах пишут, что комсомольцы строили. Зэки знают, что это ложь, и продолжают верить в Ленина...

- Будешь на Западе, расскажи про нас. Я сидел в камере с тремя ребятами. Одному вдруг стало плохо. Позвали врача. Не приходит. Стучим в дверь, барабаним. Тогда надзиратели пустили в камеру удушливый газ. Мы стали терять сознание. Они ворвались к нам и принялись избивать железными прутьями. Потом вытащили окровавленных и бросили в снег, чтобы пришли в себя. Только через два дня явился врач. Двое умерли, а один искалечен на всю жизнь. Меня везут на суд за организацию бунта. Наверно, вышку дадут.

- А я служил в десантных войсках, когда Китай напал на Северный Вьетнам. Нашу часть послали помочь вьетнамским солдатам. Посадили в снег. Кормили раз в день. Мы захватили штаб полка и потребовали улучшить условия. Нас взяли штурмом.

Конечно, трибунал.

- А наш лагерь около Мурманска. Делаем части к военным машинам. Кормят плохо, в еде черви. Надзиратели бьют, издеваются. Нашлись отчаянные ребята, устроили пожар в зоне. Вызвали войска, оцепили место пожара и в каждого, кто пытался спастись, стреляли. Теперь нас, двадцать человек, судят за бунт.

Так каждый старался рассказать, что он пережил. У каждого теплилась надежда, что кто-нибудь на воле услышит и поможет. Поговорят, поговорят - и притихнут. Потом разговоры о водке, о женщинах. Можно подумать, что жизнь в грязи и крови для них обычное дело.

Ночью наш этап прибыл к месту назначения. Но куда? Никто не знает. Сопровождающие молчат. Сердце замирает: "А вдруг это Березняки? А может, везут дальше, в Сибирь?"

Однако по карте, которую мне удалось спрятать при обыске, понял, что привезли в Чусовое. Назад, в "родные" места, в лагерь УЧР ВС 389/36. Приехал как к себе "домой". Интересно, кто из товарищей еще там? Кто из начальства остался? Но долго гадать не пришлось. Началась выгрузка. Каждая группа направляется в свой лагерь. Действует железный механизм ГУЛАГа. Теперь моя очередь. С двумя чемоданами в руках бегу по коридору вагона и прыгаю вниз - во тьму и снег. Снова вдогонку те же слова:

- Политик! Давно пора убить, а с ним еще возятся!

- Мой брат погиб в Афганистане, а этот еще ходит!

Откуда у них, вчерашних школьников, столько звериной злобы?

Меня встречает сам начальник лагеря, майор Журавков. Не очень-то радует эта встреча. Он знает все мои больные места: суббота, книги, молитвы, кашрут. Да, неплохо бы попасть в другую зону, где легче обойти бдительность надзирателей. Но что поделаешь? Выбора нет. Рассчитывать на помощь не приходится. Тащусь в темноте к воронку.

Один. Всегда один. Десять лет научили меня ни на кого не надеяться. Не ждать ни от кого помощи. Считается, что человек - существо общественное, но в лагере нет общества. У каждого своя боль, свои надежды, свои расчеты... А как же заповедь "люби ближнего твоего, как самого себя"? Моя потребность любить ближнего не находит выхода, и я чувствую гнетущее внутреннее беспокойство. Вокруг пустота. Ближнего нет. Быть может, он ждет меня в зоне?

Втискиваюсь в глухой металлический отсек воронка. Начинается дикая "пляска" по немощным дорогам Урала. Я сворачиваюсь в клубок, чтобы меньше трясло и не укачало, и пытаюсь отвлечься от неотступной мысли: "Что ждет впереди?" Меня кидает по отсеку, но я переношу все молча, без стонов.

Наконец въезжаем в Кучино. Лагерь разросся. На месте деревянного барака - двухэтажная каменная крепость для солдат и охраны. Зэки называют лагерь империей "Кучинвальд". Но здесь не убивают, как в нацистском лагере. Просто каплю за каплей выдавливают из зэка то, что составляет человеческую личность.

Конвоиры с интересом разглядывают меня. Когда я попал в тюрьму, они только пошли в школу. "Особо опасный государственный преступник". Меня конвоирует сам капитан Белов. Предстоит карантин. Изоляция на несколько недель. Для испытания нервов на прочность. А вдруг не выдержат, сдадут? Вот тут-то мы ему и обломаем рога! Ночь, но зэки во внутренней тюрьме не спят. Из какой-то камеры Леха Сафронов подает голос. Отвечать запрещено. Но лагерная солидарность сильнее запрета.

- Кто прибыл?

- Менделевич из Чистополя!

- Еще одно слово - в карцер, - грозит Белов.

Привели. Обыск. Стою с отсутствующим видом. Если покажешь, что волнуешься, обыскивать станут тщательнее. На глазах грабят. Семь тысяч дней тебя обирают, убивают в тебе все человеческое, а ты должен молчать и терпеть... - И вот мне представляется, что по иерусалимским улицам идет человек. Он как все. Только внутри у него мрак допросов, обысков, предательств и унижений! Как он сможет жить с этим?!

А пока обыск продолжается. Капитан Белов рад бы отобрать все:

- Книги на иврите - не положено! Теплые вещи - нарушение правил ношения одежды! Открытки из Израиля - запрещено!

И все-таки удалось кое-что отстоять: еврейский календарь на 1973 год и металлическую кружку, полученную от отца в семьдесят первом году.

Утро. В коридоре делят пайки. Дневальный хотел дать чуть побольше, но его на этом поймали. Итак, тридцать граммов крупы, двести граммов хлеба, пятнадцать граммов сахара. Что-то должно и охраннику остаться.

Открывается глухая железная дверь. За ней вторая - из решеток. Дневальный зэк протягивает миску мутной баланды. Его пальцы тонут в ней.

- Что так жидко?

- Другим еще жиже.

Дневальный - человек во всех отношениях "надежный". Это Миша Чепоренко. В 1941 году, в Черновцах, он убил шестерых евреев, которые прятались на мельнице. Теперь он друг евреев и лагерного начальства...

После завтрака удалось связаться с заключенными внутренней тюрьмы. Здесь Сергей Ковалев, издатель "Хроники", Маринович, член киевской группы защиты Прав человека, здесь и Леха Сафронов. Все они требуют перевести их в тюрьму. Это общая лагерная кампания. В тюрьме лучше. В некотором смысле это так. Я убедился на собственном опыте. Запертый в камере, меньше подвергаешься придиркам надзирателей. Каждый делает свой выбор.

- Иосиф, - говорит Сафронов, - Вадим хочет с тобой поговорить.

- Кто он?

- Сам тебе расскажет.

Открываю крышку унитаза. Слышу глухой голос:

- Шалом! Я еврей, сижу с 1979 года за попытку бегства в Израиль. Хотел захватить самолет и требовать освобождения Щаранского, Иды Нудель и Слепака... Йосеф, ты знаешь иврит?

- Да. Встретимся, будем заниматься вместе. А почему у тебя нееврейское имя?

- Выбери мне еврейское!

- Хорошо. Буду звать тебя Даном.

Имя понравилось. На следующий день я увидел Дана через глазок своей камеры. Высокий, спортивного вида парень, лет двадцати - не больше. Простодушное лицо. Сидеть ему тринадцать лет. Но теперь мы вместе!

Меня продолжали держать в карантине. Но вот наступил день, когда приказали собирать вещи и готовиться к выходу. Начальник оперативного отдела распорядился не выдавать письма и открытки.

В 16.00 меня должны были вывести в зону, а в 16.30 - проверка заключенных. Значит времени на обыск у них мало, будут торопиться. Так и вышло. Ограничились переключиванием вещей с места на место.

- Эти книги изданы в СССР?

- Да, конечно, - не моргнув глазом отвечаю я.

Открытки привлекают к себе внимание. Таких красивых, блестящих открыток они никогда не видели: "Что это?" - И я с радостью объясняю. Удивительный это обыск. Так можно искать только пулемет. В последний момент офицер засомневался и решил оставить книги на просмотр:

- Заберете их в другую смену!

Это хуже. В следующую смену заступает капитан Рак, мой старый знакомый. Он ничего не пропустит. Вхожу в лагерь с тем, что мне разрешили взять.

Итак, я вернулся на место, которое покинул три года назад. На старое обжитое место. Но никто меня здесь не ждал. Все друзья в Израиле. Ни на стенах, ни на нарах ни слова от них. А вот на последнем этапе в Пермской тюрьме я видел надпись: "В следующем году в Иерусалиме. - Альтман, Залмансон. Ияр 5739". Это писали год назад, на пути к свободе. Тогда они еще не знали, куда их везут. Я добавил к этой подписи свою: "Йосеф Менделевич. В следующем году в Иерусалиме".

Грустно. Раньше в этом лагере кипела жизнь. Здесь были мои друзья. Теперь вновь знакомиться с людьми. Но есть и такие, которые еще помнят меня. Это старожилы с пятнадцатилетними и двадцатипятилетними сроками.

- Почему ты здесь? А мы думали, что тебя давно освободили!

От этих вопросов как-то неловко. Вот и они считают, что я никому не нужен. Но это не так. Почему власти меня не освободили? А почему не освободили Щаранского, Иду Нудель, Бегуна?

Оказалось, что в зоне есть евреи. Лудман и Свердлин. Леонид Лудман - высокий мужчина лет сорока. Ленинградец. Инженер. Собирался ехать в Израиль. Попытался переправить на Запад статьи, в которых содержалась критика режима. Туриста с рукописями Лудмана задержали на таможне. За разглашение государственной тайны - а в тексте упоминался военный объект, на котором работал Лудман, - он получил двенадцать лет.

Познакомившись со мной, Лудман отвел меня подальше от бараков, почти в самое болото, и начал:

- Приветствую вас как гражданин Израиля. Должен вам сообщить кое-что по секрету. Постарайтесь слушать, но не думать. Они умеют читать мысли на расстоянии. Если знаете иврит, думайте на иврите. Они не понимают нашего языка.

Он ждет моего ответа, а я молчу.

- Китайская народная республика наградила меня орденом за великое открытие: КГБ пользуется радиоволнами, чтобы проникать в наши мысли...

Его лицо исказилось болью:

- Снова начали меня пытать, сволочи! В мою верхнюю челюсть вмонтирован радиоприемник, куда они посылают сигналы и вызывают зубную боль. Сейчас спровоцировали понос. Это за то, что я вам рассказываю. Но я не могу молчать. Это мой национальный долг!

Он выжидающе посмотрел на меня и спросил:

- Ну, что вы по этому поводу думаете?

- Учту, - коротко ответил я.

Он явно разочарован моей вялой реакцией. Позже я узнал, что в лагере спорят о Лудмане: кто он - симулянт или больной? Возможно то и другое. Действительно, получив ни за что такой срок, можно сойти с ума. Сидеть ему очень трудно. Он не в состоянии ни читать, ни писать. Грустно видеть маску тупой сонливости на этом еврейском лице. Чувствую, что от него надо держаться подальше. Но на следующий день он подошел ко мне:

- Почему вы меня избегаете? Ведь мы здесь единственные израильтяне!

Неужели после моего односложного ответа он все еще ждал сближения? Но многие не прочь послушать о новых "секретах советского радиооружия". Бесплатный театр.

Меня тревожило другое. Дождавшись конца смены капитана Рака, я обратился к заступившему на дежурство капитану Ляпунову:

- Майор Чукаинов при обыске оставил мои вещи. Он сказал, что их выдадут в другую смену.

Капитан Ляпунов лентяй:

- Почему я должен выполнять его работу?

Все-таки за десять лет заключения начинаешь немного понимать лагерный механизм. При сдаче смены Ляпунов докладывает начальнику, что Чукаинов не хочет работать. Тот получает приказ: "Немедленно завершить обыск".

Приходит Чукаинов, багровый от выпитой водки:

- Почему наврали? Я не переносил обыск на другую смену. Забирайте свой чемодан!

Так у меня оказались все книги без проверки. Теперь моя жизнь вновь наполняется смыслом. Надо учить Танах, Агаду.

Дан кончил голодовку. Все-таки послушался моего совета. Я "назначил" ему усиленное питание. У парня отличный аппетит. Съедает по две порции и хочет еще. К счастью, есть возможность достать. Через повара. Во время войны он сотрудничал с немцами, но виновным себя не признал. В лагере он почему-то доброжелательно относился к политическим.

Каждый день у нас с Даном урок иврита. У него есть учебник, который Дымшиц оставил Лехе Сафронову. Дан учится неплохо, но я не доволен - мог бы лучше. Он несерьезно относится к делу. Любит играть на гитаре, петь песни, пить чай в компании с Григоряном. Григорян - в прошлом лейтенант КГБ. Его отец сидел в тюрьме за незаконную торговлю. Сам он предложил свои услуги военному атташе американского посольства в Москве. Три года успешно работал на него, потом арестовали и осудили на пятнадцать лет.

Есть и еще один бывший лейтенант КГБ - Владимир Свердлин. Он был одним из самых способных в Высшей школе КГБ в Москве. Ему прочили блестящую карьеру. Его невестой была дочь Русакова, члена ЦК КПСС, ближайшего друга Брежнева. Но кто-то написал на Володю анонимку, в которой сообщалось, что он гомосексуалист.

Его персональное дело рассматривалось на партбюро, и он вынужден был уйти из школы КГБ. Потом поступил в университет на юридический факультет. Окончив его, стал юристом. Все время мечтал отомстить органам. Искал связи с американской разведкой. Случайно познакомился с каким-то иракским студентом и попросил его связаться с американским военным атташе: "Я располагаю интересными сведениями для разведки", - якобы сообщил он студенту. Назначили встречу, на которую явился кагебешник. Иракский студент оказался агентом КГБ. Володя получил восемь лет. Вся история выглядела абсурдной, да и этот длинный человек с капризно оттопыренной нижней губой, бегающими глазками и унылым утиным носом не вызывал к себе особого доверия. Никаких секретов он не знал - прошло десять лет со времени его ухода из органов. Но общее представление о работе партийной инквизиции я от него получил.

Вполне естественно, что в лагере, где каждый считал другого агентом КГБ, никто не сомневался в том, что Григорян и Свердлин - кагебешники. По мнению Григоряна, за ним наблюдал Свердлин, а Свердлин считал, что за ним следил Григорян. Сам я не мог бы разобраться, кто есть кто, если бы не Зиновий Красивский.

В 1945 году его арестовали за участие в освободительной борьбе украинцев. Он отсидел несколько лет. Оказавшись на воле, создал украинский национальный фронт и снова попал в тюрьму, на этот раз на пятнадцать лет. В 1971 году Зиновия поместили в казанскую психбольницу закрытого тюремного типа, а через восемь лет выписали с диагнозом психически больного. Отправили в Карпаты. Но там он принялся создавать комитеты по наблюдению за выполнением Хельсинкского соглашения. Его опять посадили. В лагерь он попал за месяц до моего прибытия.

Знакомство с ним принесло мне пользу. Он меня морально поддерживал, и в этом смысле мне повезло. Зиновий действительно являлся для меня авторитетом. Богатый жизненный опыт: война, партизанская борьба, тюрьмы, подпольная деятельность, университет, психушка, лагеря... При этом он сумел сохранить здравый глубокий ум, чувство юмора, простоту и человеческое достоинство. Убежденный украинский националист, он считал, что путь к независимости проходит не через сотрудничество с русскими демократами, а через самостоятельную борьбу. Он признавал право евреев на свою землю, был сдержан во внутри-лагерных конфликтах, умея отличать общие цели от личных, корыстных.

Трезвый взгляд в лагере очень важен. Я тоже пришел к выводу, что не всякая "борьба" ведется во имя идеи. Но открыто признать это у меня не хватало смелости. Когда я попал в зону, там была забастовка. Каждый участвовал в ней по личным соображениям. Некоторые вообще не понимали, почему они бастуют. Надо бороться и все! Но борьба ради борьбы мне не по душе. Моя задача теперь - помочь Дану учить иврит.

Я устроил так, что меня с Даном послали бетонировать дорожку. Перетаскивая землю, цемент и железо, я рассказывал ему о еврействе, и он как губка впитывал мои слова. Пришло время пригласить его на субботу. Парень стал ходить в шапке, отказался есть свинину и старался не работать по субботам. Нам не мешали по вечерам разгружать машины. Зато в субботу мы получали выходной. - После

освобождения моих седельников я был реальным кандидатом на волю. Поэтому начальство меня не преследовало. Но когда поняли, что Дан находится под моим влиянием, забили тревогу:

- Менделевич, бросьте агитировать Аренберга. Он в Израиль не поедет! - заявил мне Журавков.

- Прекратите оказывать на Аренберга давление! Не занимайтесь сионистской пропагандой! - настойчиво повторяли приказ.

- Это не сионистская пропаганда! Мы учим еврейский язык.

Свердлин и Лудман тоже занимались со мной ивритом - каждый в отдельности.

На Рош-Гашана я решил устроить настоящий праздник. Никто из этих моих учеников еврейских праздников не отмечал. Я постарался достать продукты и приготовить ребятам хорошее угощение. Как празднуется Рош-Гашана я и сам толком не знал, но понимал, что все должно выглядеть празднично. Поставил на стол открытку Иерусалима и горы Сион, а также положил несколько новогодних поздравлений. Надел в честь праздника белую нижнюю рубашку, которую папа прислал мне еще в 1970 году в ленинградскую тюрьму. Произнес все брахот перед трапезой и сказал, что даже в Уральских горах евреи должны быть вместе.

Я надеялся, что Лудман, видя дружеское к себе отношение, перестанет играть дурачка. Но вышло иначе. Поняв, что я хочу объединить евреев, он постарался опорочить в моих глазах Свердлина и Дана, назвал последнего вруном и агентом КГБ. Дан был того же мнения о Свердiline, а к Лудману он не знал, как относиться. Итак, не успев сблизиться, мы уже друг другу не доверяли. Кроме того, как ни странно, каждый ревновал меня к другому.

Я решил устроить сбор рябины, надеясь, что общее занятие сплотит нас и как-то смягчит конфликт. В тридцать шестой зоне на центральной аллее росли вперемежку черемуха с рябиной. Я раздобыл длинную палку, вбил в нее гвоздь. Этим приспособлением я пригибал ветки к земле. Так мне удалось набрать крупные красные гроздья рябины. Потом я сварил варенье, которое мы ели по субботам.

Но одно дерево не давало мне покоя - самое красивое, с самыми сочными ягодами. Оно росло у входа в штаб, и поэтому никто не осмеливался даже приблизиться к нему. Я предложил Ионасу Симукайтису, осужденному на десять лет за попытку бегства за границу, отправиться со мной на "уборку урожая". Он согласился. Я принес помост, которым пользовались при ремонте дома, и палку с гвоздем. Залез на рябину, а Ионас - на помост. Оба мы принялись за работу: я нагибать ветви, а Ионас срывать ягоды. Работали как на своей плантации. Вдруг из помещения штаба показалось волоокое краснолицее чудовище - прапорщик Чудинов. Стоит, смотрит на нас и не знает, что делать. Запретить? Разрешить? Я воспользовался его нерешительностью и не дав ему рта раскрыть, начал:

- Ну и дерево, эта рябина! Лучшее лекарство и от желудка, и от головы, и от сердца!

Он постоял немного и ушел. Все расценили его уход как молчаливое разрешение и, осмелев, стали просить у нас ягод. Вся лагерная знать - повар, завхоз, нарядчик - получили свою долю.

Я хотел также устроить праздник Сукот для нашего "ульпана". Но тут нам не повезло. Мы расположились в "ленинской комнате". По идее, там надо изучать классиков марксизма-ленинизма. Но никто их не изучает. Пьют чай, болтают. Вот и мы устроились там. Вошел зэк Потемкин. Он работал переводчиком в гестапо. Потом, после войны, окончил университет по специальности германская филология - пригодилась военная практика. Попав в лагерь, он взялся писать доносы на тех полицаев, которых еще не выловили. Время от времени его возили свидетелем на суды. Потом мы читали в газетах о смертных приговорах, вынесенных бывшим пособникам фашистов. После очередного суда он возвращался в лагерь. Пока не доходило опять до крупных дел, он довольствовался мелкими доносами. Вот он неслышно подкрадывается к нам, тихий такой старичок в очках, садится в уголок с книжкой. Что ни говори, "ленинская комната"! А нам становится как-то нехорошо в его присутствии. Самым смелым из нас оказался Леонид:

- А ты не вышел бы отсюда, приятель?

- Да нет! Я здесь посижу. Вы мне не мешаете!

- Ах ты, сволочь фашистская! Мы тебе не мешаем! Но ты нам мешаешь. Дуй отсюда, пока жив!

Потемкин ушел. Но тут же явились надзиратели и Лудмана с Аренбергом взяли на заметку. Наутро Лудмана посадили на шесть месяцев в ПКТ. Эти полгода превратились в целый год, потому что в ПКТ Лудман отказался работать. Дан получил "всего" пятнадцать суток карцера за то, что залез на крышу лесопилки, чтобы поймать голубя и изжарить его к субботе. Пока я объяснял Дану, что этого делать нельзя, его заметила охрана. Вот и сел. Когда из карцера его привели в баню, он умудрился там надеть на себя две пары трусов и две майки - так теплее. Рака заметил и стал его раздевать, а стоявший рядом с ним прапорщик несколько раз ударил Дана в почки - чтобы советский закон не нарушал. Дан, в прошлом занимавшийся карате, так рассвирепел, что схватил Рака за голову и стал таранить им стенку. За повреждение стены Дан получил дополнительно десять суток карцера.

Пока Дан отдыхал в карцере, я не бездельничал: Свердловин хотел заниматься со мной еврейской историей и ивритом. Он не мог не плакаться кому-нибудь и не искать защиты у других, в основном у меня или у Зиновия. Он действительно попал в переделку. После приезда в лагерь он обратился к одному из руководителей украинского подполья, Антонюку, с предложением организовать среди зэков антисоветскую группу. Антонюк усмотрел в этом предложении провокацию КГБ и решил перехитрить Свердлина. По его команде человек десять написали в КГБ жалобу на Свердлина, провоцирующего их на антисоветские действия.

Позже мы с Зиновием обсуждали это с Лехой Сафроновым, который к тому времени стал одним из руководителей лагерного актива.

- Леша, если Свердлин не агент, получается, что они написали донос на заключенного?

- А если он агент?

- Тогда какой смысл вообще писать заявления в КГБ? Прогоните его из своей компании и все.

- Я чувствую, что он агент.

- С каких пор факты заменяются чувством?

Но Леха был уверен, что Свердлин кагебешник, и думаю, что еврейская физиономия Свердлина укрепляла его в этом мнении.

Когда Володю Свердлина изгнали из общества "приличных" арестантов, его приласкал Аркян - один из руководителей объединенной армянской партии, молодой и очень способный парень. Свердлин договорился с мастером завода, вольнонаемным, чтобы тот приносил ему с Аркяном продукты, разумеется, за деньги. Дальше - больше. За деньги он пересылал на волю письма. Потом попался. Началось следствие о взятках. - Ведь Свердлин и Аркян подкупили вольнонаемного. В общем, грозили большие неприятности. Решили, видно, отучить зэков от денежных сделок с персоналом, а персонал - от сделок с зэками. Виновными суд признал двоих - мастера и Аркяна, а Свердлина оправдали. Значило ли это, что мы с Зиновием ошиблись и Свердлин действительно агент?..

Все это произошло в тридцать пятом лагере, а к нам в тридцать шестой он приехал через месяц после прибытия Щаранского в тридцать пятую зону. По его словам, он очень подружился с Натаном и тот рассказал ему все подробности своего дела.

- Я как юрист дал ему консультацию, - заявил он нам. - В его деле есть выигрышные моменты.

Это мне совсем не понравилось. Ложь. Натан не станет посвящать его в подробности.

Между тем, в нашем лагере разворачивалась операция КГБ по закрытию каналов связи. Для передачи информации мы пользовались услугами двух надзирателей, по кличке "Немец" и "Таракан". За плату они соглашались передавать письма на волю. Но денег не было, и тогда договорились, что на имя "Немца" поступит посылка, а там в коробке с сигаретами будет четыреста рублей... О деньгах в посылке Немец не знал. Конечно, мы подозревали, что оба надзиратели получают зарплату от КГБ, но это не означало, что нужно прекращать игру. Пришел Немец, принес посылку, а сигарет в ней не оказалось.

- Где сигареты?

- Выкурил.

Даже виду не подал, что забрал четыреста рублей. Потом был шмон. Отобрали продукты из посылки: "Это в зоне не продается". Одним словом, начальство продемонстрировало, что торговле пришел конец. Но не все это поняли. Леха был настроен решительно:

- Немец украл деньги! Сообщим начальнику лагеря!

- Но мы ведь политические! Как можно доносить?

- Ничего, зато другие не посмеют красть!

- А не получится ли так, что за донос на своего же товарища они начнут с нами войну?

...Я давно уже советовал Дану переправить его дело на Запад. Он старался, но никак не удавалось. Однажды он поделился со мной:

- Я Клопу заплачу. Он согласен переслать мое обвинительное заключение.

Пока я думал, как быть и что посоветовать, Дан отдал документы. В душе шевельнулась тревога: не стоило. Но что делать? На следующий день Дана посадили в ПКТ на шесть месяцев за "нарушение режима".

Конечно, не сообщили причину.

Теперь я остался в лагере только с одним евреем, Свердловным. Я учил с ним недельную главу Торы. Он внимательно слушал, записывал. Обычно ивритские книги я уносил на ночь на склад - там безопаснее, реже обыски. На этот раз не отнес. Вернувшись с работы понял: был шмон. Ищу свои книги - нет! Отобрали! Пошел к Журавкову:

- Отдайте мои книги!

- Они написаны по-еврейски. Пошлем на перевод. Кроме того, они изданы не в СССР. Обложки к ним приклеены фальшивые.

Все-таки догадались! Ну, ничего, восемь лет я ими пользовался.

- Книги служили вам для сионистской пропаганды!

Вот тут-то все и раскрылось! Значит, не случайный обыск! Что делать, не знаю. За десять лет борьбы я порядком устал... Ладно, как бы то ни было надо о Дане позаботиться, переслать ему еду. Мои сухари хранились на складе. Я пошел за ними. Но там стояли Рак и Рутенко. Кого-то ждали.

- А, Менделевич, вас-то нам и надо! Где ваши чемоданы?

Сердце екнуло - ищут книги. Я к этому был готов. Два чемодана и мешок хранились на складе в разных местах. Показал им чемодан и мешок. Обыскали. Ничего запрещенного не нашли. Собрались уходить. Вдруг взгляд Рутенко упирается в другой мой чемодан, стоявший в стороне:

- А это не ваш?

- Мой.

- Почему спрятали?

- Я ничего не прятал!

Сердце упало в пятки, а потом меня вдруг охватил какой-то задор. Такого уже давно не испытывал. Я открыл чемодан. Они схватили Агаду, стихи Бялика, учебники грамматики, истории. Рак взял в руки Танах, повертел, прочел заглавие: "Стихи еврейских поэтов на идиш". Положил на место. Так, благодаря тому, что я приладил титульный лист советской книги к Танаху, он у меня сохранился. Остальное конфисковали. Теперь я уже знал, что делать, - голодать. Голодать долго - месяц, два - сколько потребуется. Когда я объявлю голодовку, меня переведут в ПКТ. Я буду рядом с Даном и смогу его поддержать.

Решено: голодовка. И от этого простого решения стало легче на душе. Значит, во мне еще есть силы. Я поделился своими планами с Зиновием - нужно все трезво взвесить. Он одобрил. Необходимо настоять на своем: не позволить отбирать еврейские книги.

Я его предупредил, что предельный срок голодовки - сто дней. После этого политзаключенные должны обратиться ко мне с просьбой снять голодовку, чтобы не подвергать опасности жизнь. Это даст мне повод почетно закончить голодовку. Впрочем, я могу ее прекратить в любой день, когда сочту нужным.

Главное теперь - сообщить на волю, а потом начинать. Так я и сделал. Оставалось только получить подтверждение из Москвы. По совету Зиновия, я тотчас потребую вернуть все, что забрали. Конечно, я понимал, что всего не отдадут...

Тем временем из ПКТ вышел Ковалев. Туда он попал за отказ работать и за требование перевести его в тюрьму. За десять месяцев заключения в ПКТ он сильно сдал, постарел... С самого начала его забастовки было видно, что она задумана неудачно. А все оттого, что она вызвана отчаянием. Нужно было вовремя отступить и не доводить себя до истощения. Это на руку только КГБ. Я говорил с Сергеем, как только он вышел из ПКТ. Он и сам видел, что нужно кончать забастовку, но решиться не мог. Тогда я собрал эзков, и мы попросили Ковалева выйти на работу, чтобы не обострять и без того тяжелое положение. Я сам проводил его до заводских ворот: как бы он вдруг не передумал. Со стороны могло показаться, будто я хочу того же, что и администрация. Меня могли заподозрить и в сотрудничестве с ней - я это хорошо знал. И все же я не мог поступить иначе: нужно спасти человека.

Вслед за Ковалевым из ПКТ выпустили Мариновича и Сафронова. Они попали туда по той же причине, что и Ковалев. Теперь они вышли на работу, а через месяц все добились своего - их отправили в тюрьму. Я поздравил ребят с победой. Если с этим стоило поздравлять.

Наконец пришло подтверждение из Москвы: открытка с изображением леса. Значит, там знают, что я буду голодать. Теперь можно начинать.

Не выйти на работу - самое простое дело. Сидишь в бараке, входит дежурный:

- Менделевич, почему не работаете?

- Объявил голодовку!

- Ничего не знаю, в моих списках не значится! Приступайте к работе!

Это он говорит по долгу службы. Его слова меня не трогают. Я голодаю. Вот и все.

Но как быть с ларьком? В начале месяца там продают продукты. Как мне, голодающему, их покупать? Все же, собравшись с духом, иду в ларек. Покупаю литр подсолнечного масла и килограмм лука. Вдруг замечаю стеклянные банки, заплесневевшие изнутри. Наверно, списывают, но ведь банки целые, и если их вымыть и сдать, можно получить рубль. Решил позвать Леху Сафронова. Он в ПКТ очень изголодался. Рядом с банками я заметил ящик с крошками сухарей. Видно, собрали, когда чистили полки... Операцию по сбору крошек и изъятию банок провели блестяще. На вырученные деньги купили продукты. Они оченьгодились Лехе, исхудавшему в ПКТ.

А на работе надо было сгружать с грузовиков тяжелые мотки провода, каждый весом в шестьдесят килограммов. Потом эти мотки нужно насаживать на оси станков, которые со страшным грохотом и скрежетом разматывали их. Глохнешь от шума, задыхаешься от железной пыли, от постоянных окриков: "Давай, давай! Живей, живей!" Работаем в ночную смену. К утру, обессиленные, валимся на нары. И так всю неделю, а я ведь голодаю. Кровь стучит в висках, руки и ноги дрожат, и наконец не выдерживаю - валюсь на бетонный пол. Все, хватит! Не карцера боюсь, а того, что посадят за отказ от работы. Мне же нужно, чтобы за голодовку. Все эти дни начальство игнорировало мое заявление о ней. На заводе часто показывалась длинная фигура Журавкова, но он ко мне не подходил. На восьмой день, когда я уже не мог подняться, чтобы идти на работу, в бараке появились Рак и Рутенко.

- Собрать вещи! Согласно инструкции о голодовке - изоляция!

Я уже давно приготовился. Особенно тщательно продумал, что взять с собой: учебник по истории Востока, изданный в СССР, и иврит-русский словарь, в который вклеена страница из Сидура с отрывком из Торы, где говорится о том, как Моше получает на Синае вторые скрижали Завета. Эта страница мне дорога как память о Берге-Рабиновиче, который в 1975 году, сидя во Владимирской тюрьме, объявил голодовку в знак протеста против изъятия этой странички. Он голодал целый месяц и добился своего - возвратили.

Не новы для меня водворение в изолятор и увещевания надзирателей:

- Кончайте голодовку! Пожалейте себя! Вам скоро освободиться!

Ново, пожалуй, мое собственное состояние: уверенность в победе. На моей стороне многолетний лагерный и тюремный опыт, умение трезво оценивать обстановку и знание своих возможностей.

Мой день в карцере проходил по заранее продуманному еще в зоне порядку. Утром, конечно, молитва. Затем гимнастика: приседания, прыжки, бег, ходьба. Затем работа. Сначала систематизация ивритского словаря наиболее употребительных слов. Их около двух тысяч. Потом составление грамматического курса иврита и, наконец, учебника с текстами, упражнениями и даже иллюстрациями. Все это для Дана. Кто знает, увидимся ли! Днем - сон. Затем продолжение работы над курсом еврейской истории от Авраама, Ицхака и Якова. Остается выяснить лишь, как все это переправить Дану. С ним я связался сразу же, как только попал в карцер. По трубам и унитазу прокричал:

- Дан, чем ты занят?

- Лежу, читаю книжки! - был ответ.

- Ты думаешь учить иврит?

- Конечно, но ведь учебник забрали!

- Я начал голодовку. Требую вернуть все конфискованные книги.

- Присоединяюсь!

Как же мне передать весь материал Дану?

Стояла зима, выпал глубокий снег. Тем не менее я ежедневно выходил на прогулку, расчищал лопатой снег и сгребал его в углы дворика. Часть снега я сгреб в такое место, которое не просматривалось из сторожевой будки. Выходя на прогулку, я брал с собой пакет с записями. Он был зажат в руке, которую я не вынимал из кармана. Каждый мой шаг теперь был рассчитан. Хожу взад и вперед, слежу за будкой. В момент, когда часовой повернулся, рука вылетала из кармана, как шпага из ножен. Пакет летит в заранее приготовленную ямку, и я быстро выхожу из мертвой зоны, словно ничего и не было. Потом снова, улучив момент, заравниваю ямку и бросаю на нее красную нитку. Выводят на прогулку Дана. Долго делятся его тридцать прогулочных минут. Возвращаясь, он проходит мимо моей камеры и сквозь зубы бросает: "Бэсэ-дэр!" (в порядке). С каким нетерпением ждал я этого слова! А вечером, когда сменялся караул, я устроил ему экзамен:

- Ну что выучил за день?

Оказалось, почти ничего. Я очень расстроился, и он обещал подтянуться.

...На двадцатые сутки голодовки явились надзиратели, врач и начальник лагеря. Я понял, что готовится процедура искусственного кормления. Обычно она происходит на вторую неделю, но тут, видно, решили потянуть время. Может, и так сдастся, не выдержит. А теперь:

- Менделевич, принимайте пищу!

- Не буду!

- Ну что ж, придется кормить насильно.

- Не имеете права, не позволю!

Протестуй - не протестуй, ты в тюрьме. Здоровенные надзиратели быстро и легко справляются с моим исхудавшим и ослабевшим телом. Силой усаживают на стул и распинают меня. Насильно открывают рот и вталкивают в него резиновую трубку. Одним махом вливают литр какой-то мутной жидкости. Журавков, пришедший посмотреть на этот спектакль, не выдержал и убежал, прикрывая рот рукой. Дверь камеры закрылась, все ушли. Обессиленный, я свалился на койку. Боль в желудке и пищеводе, головокружение. Через каждые пять-семь дней все повторяется сначала.

В конце первого месяца голодовки появился Федоров.

- Менделевич, вы специально приурочили свою голодовку к Мадридской конференции? Смотрите, это будет расценено как политический акт! Вам же хуже!

Такой поворот дела меня не устраивал. Я добивался получения конфискованных книг. Конечно, понимал, что голодовка получит огласку на Западе, но мне нужно было доказать, что голодовка не преследует политических целей.

В это время начали действовать мои друзья в Израиле. Не сидела сложа руки и моя сестра Ривка. Мать троих детей, она вылетела в Мадрид, чтобы принять участие в конференции. Глен Рихтер и Давид Стол организовали в Америке движение в мою защиту. Эдгар Бронфман, председатель Всемирного еврейского конгресса, встретился с послом СССР в США Добрыниным и вел с ним переговоры о моем освобождении. А в Иерусалиме молодая тунисская еврейка, родившаяся в Париже, Кати Саруси, в течение нескольких лет борющаяся за мое освобождение, узнав о моей голодовке, проплакала всю ночь. Наутро с тысячами иерусалимцев она вышла на демонстрацию в мою защиту. Теперь Кати моя жена.

...Я продолжал голодовку. На пятидесятый день явился ко мне майор Журавков:

- На Западе подняли шумиху. Прекращайте голодовку. Получите все, что просили.

Итак, настойчивость и твердость одержали верх. Мне выдали письма из Израиля, учебники иврита и еврейской истории, карту Израиля. Я потребовал встречи с Даном. Дали. Мы обнялись. Победа! Я отдал Дану учебник иврита - пусть занимается!

Голодовка продолжалась еще неделю. Я требовал лечения и специального питания, положенного прекращающим голодать. Пока на моем заявлении не появилась соответствующая резолюция, я голодал. Однако Дан оказался слабее, чем я предполагал. Получив лишь словесное заверение в том, что будут удовлетворены все его требования, он тотчас же принялся есть. Так не годится. - Раз ты ешь, значит здоров, а посему досиживай в карцере.

Меня же перевели в медпункт, где строго запрещалось общаться со мной. Кормили в полной изоляции. Условия жизни были неплохие. Однако переход из напряженного в расслабленное состояние подействовал на меня подавляюще. Образовалась пустота. Что делать? Начинал подумывать уже о продолжении голодовки. Но меня изгнали из медчасти за контакты с друзьями по зоне. И снова - к проволоке, шуму и пыли.

От ээка, поступившего к нам из тридцать седьмого лагеря, узнал новости о Натане. Он там единственный политзаключенный. С ним содержатся фашистские преступники, воры-рецидивисты. Среди них, как водится, много осведомителей. Жизнь невыносима. Натан работает у токарного станка. До рычагов не дотянуться. Специально для него соорудили помост - чтобы работал. Ему приходится поднимать тяжелые детали весом в тридцать-сорок килограммов. Однако Натан выполняет норму. Старается не конфликтовать по мелочам. А начальство специально ищет, к чему бы придраться. В конце 1980 года его послали убирать запретную полосу. Если ээк переступит ее, охрана без предупреждения стреляет. Повторилась та же провокация, какую устроили Дымшицу, когда в 1972 году его пытались заставить работать около запретной полосы. Он отказался.

В Хануку Натану удалось раздобыть свечи. Их обнаружили и отобрали. И тут он понял, что его не оставят в покое. Объявил забастовку, требуя возвратить свечи. За отказ от работы положен карцер. Он получил его, при этом срок пребывания там постоянно продлевали. Я стал думать, как бы оказаться в одном лагере с Натаном. Я ведь знал, как в первые годы трудно войти в лагерную жизнь.

В это время к нам в зону прибыл бывший солдат, приговоренный к семи годам за поиски связи с иностранцами. Скорее всего это была детская игра, а не серьезное намерение. Как бы то ни было, он получил срок. Я присматривался к нему. Молодой, красивый, смысленый. Кто он: русский, нерусский?

- Саша, хочу спросить тебя кое о чем...

Он усмехнулся и, не дав мне задать вопроса, сказал:

- Да, я еврей. По матери. Но кагебешник запретил мне говорить вам об этом, потому что вы - сионист.

Я почувствовал, что парень тянется ко мне. У меня вновь появилась конкретная цель.

...10 февраля 1981 года к моему рабочему месту подошел дежурный офицер.

- Менделевич, собирайтесь с вещами!

- Новый этап?

Молчание. Обыск.

- Куда везут?

Молчание. Приносят часы и деньги:

- Это ваше, но получите позже.

Что это значит?! Ведь заключенному деньги иметь не положено! Теряюсь в догадках.

Сажая в джип. Сопровождающие - офицеры КГБ. На заднем сиденье огромная овчарка. Положила морду мне на плечо. Не шелохнуться. Едем в полнейшей темноте. Пересадка на поезд. Днем везут в тюрьму. Ночь - в самолете. Все это передвижение происходит под конвоем группы специального назначения. Пытаюсь

завязать разговор. Тему выбрал не самую удачную:

- Что это в витринах не видно продуктов?
- Витрина - реклама, а нам рекламы не нужно.

Потом - о сионизме. Не мог остановиться. Не знаю, как не получил дополнительного срока.

Наконец приехали. Москва. Специальная тюрьма КГБ, Лефортово. Я тут уже был. Сажает в камеру к заключенному, торговавшему наркотиками. Видно, их осведомитель. Пишу заявление начальнику тюрьмы: "Требую сообщить причину перевода в Лефортовскую тюрьму. В противном случае объявлю голодовку". Вскоре получил ответ: "О причине вашего перевода ничего сообщить не могу". Пишу снова: "Тогда отсылайте меня обратно!" Он опять отвечает: "Затребую инструкцию".

Может, открыли канал, по которому передавалась информация о моей зимней голодовке? Или провокация? От них всего можно ждать. А может, освобождение?..

Считаю дни. 22 февраля съезд КПСС. Если не освободят до начала съезда, мои дела действительно плохи. Устанавливаю для себя конечный срок - 18 февраля. Нервы напряжены до предела. Но держу себя в руках, не подаю вида, что волнуюсь. Внешне спокоен. В тюрьме, как в тюрьме.

18 февраля. Утро. Открывается дверь.

- Менделевич, с вещами!
- Одеяло брать? (Если брать, значит переводят в другую камеру.)
- Бери! Бери!

Так. Это не освобождение.

Вышел из камеры со всем моим скарбом и слышу:

- Зачем одеяло взял, дурак!

Никогда не думал, что так обрадуюсь окрику.

Быстро, почти бегом, в сопровождении конвойного поднимаюсь на третий этаж, в кабинет начальника тюрьмы. Одиннадцать лет не видел такой роскоши: полированная до блеска мебель, ковры. У двери на столе открытый чемодан, в котором лежат костюм и пальто. За большим столом - угрюмые толстомордые дядьки в гражданском. Сидят неподвижно, не улыбаются, и лица ничего не выражают. Вдруг одно из этих застывших изваяний оживает, встает и, держа перед собой лист бумаги, зачитывает: "Именем Президиума Верховного Совета СССР... вы лишаетесь советского гражданства за поведение, порочащее достоинство советского гражданина..."

- Вас немедленно выдворят за пределы Советского Союза, - добавляет гебешник, уже не глядя в бумажку.

- Слава Б-гу, - вырвалось невольно у меня.
- Чему радуетесь? Вот Солженицын плакал, когда ему сообщили о выдворении...
- Солженицына выдворили с его родины, а меня водворяете на мою. Вот я и радуюсь!
- Ладно! Прекратить разговоры! Вот тут распишитесь. На покупку одежды из ваших денег ушло 800 рублей.
- Неужели это тряпье так дорого стоит?

Молчание, а затем:

- У вас осталось еще 800 рублей, но выдать их сейчас не можем. Еще рано, банки закрыты.
- Верните мне деньги сейчас! Я требую! Это деньги мои!

Никакой реакции. Молчание. Начинается личный досмотр. Отбирают все, в том числе письма от отца и фотографии. На проверку.

- Не уеду, пока не вернете всего!
- Ничего! Уедете! Выдворим силой!

Потом меня заставляют переодеться в гражданский костюм, выводят в тюремный двор, дают серую шляпу и сажают в машину. По бокам эскорт милицейских мотоциклов. Движение перекрыто.

- Везем как президента, - насмешливо замечает кто-то из сопровождающих.

Короткая остановка в аэропорту под Москвой. Вдруг машина разворачивается и едет назад.

- В тюрьму? - спрашиваю, не в силах скрыть тревоги.
- Нет, прямо к самолету. Предупреждаем: в самолете ни с кем не разговаривать.

Поднимаемся по трапу. Меня сажают в первом ряду. Рядом со мной - огромный детина с мрачной рожей. Три часа полета. А за ними - десять лет и семь месяцев.

Самолет приземляется в Вене. Выходит пилот и объявляет:

- Гражданин Менделевич! Вас ждет Зингер Израиль.

Меня первым из пассажиров подводят к трапу. Внизу на летном поле стоит Израиль Зингер, представитель Эдгара Бронфмана, посол Израиля в Вене, работники Сохнута, фотокорреспонденты, журналисты. Внешне все выглядит торжественно и празднично, а в душе - пустота.

Оживляюсь только в гостинице для репатриантов из СССР. Зингер вручил мне тфилин и талит катан. Оказывается, когда ему сообщили, что он должен лететь в Вену с особым поручением по делу Менделевича, он обратился за советом к

Любавичскому ребе, и тот сказал: "Возьмите для него талит и тфилин".

Я тотчас же попросил показать, как надеть тфилин. Так, на тридцать третьем году жизни, в Вене, я впервые возложил тфилин.

В гостинице кто-то спросил меня:

- Куда ты едешь?

Я очень удивился:

- Как куда? В Израиль, конечно! Куда же еще?

- А здесь много евреев едут в Америку!

- Можно мне поговорить с ними? Я не стану их отговаривать, но скажу, что они совершают ошибку.

- Пожалуйста, говорите.

Все собрались в столовой. Меня, бывшего заключенного, зал поразил своим убранством, светом и чистотой. На блюдах - куриное мясо, гарнир. Одной такой порции хватило бы на десять зэков.

- Я хочу рассказать вам о себе, - начал я. - Когда мы шли на захват самолета, мы думали о том, что откроем путь для евреев в Израиль. Мысль о том, что каждый день заключения - плата за свободу еще одного еврея, давала нам силы выжить. Тот, кто едет мимо, наносит удар по общей борьбе и вредит тем, кто еще сидит в тюрьмах, - закончил я под аплодисменты всего зала. Но я обменял бы все эти аплодисменты на решение хотя бы одного человека повернуть в Израиль.

В самолете компании Эль-Аль "Вена-Тель-Авив" было мало репатриантов. Аплодировавшие мне направлялись к берегам Америки.

А я приближался к родной земле. Летчики пригласили меня в кабину, чтобы я смог первым увидеть Священную Землю. Но внутри у меня - боль. Так изголодавшийся видит пищу, но нет сил к ней притронуться. Во мне убили радость. Я был не в состоянии насладиться неповторимым моментом Возвращения.

Мама, Ривка, Ева, Саша... Закрывать глаза, чтобы не ослепнуть. Сдержаться, чтобы не упасть замертво.

Я вхожу в иной мир. Мне вручают удостоверение репатрианта. Встречают как солдата, вернувшегося с поля боя.

Тысячи друзей ждут меня. Как жаль, что не могу говорить с каждым, отвечать на вопросы. Как жаль, что нет сил радоваться...

А я так мечтал приехать сюда тихо и пешком дойти до Стены Плача. Личной встречи, встречи один на один со Страной не получилось. Я еще встречу с тобой, моя земля, с бурными Иудейскими горами, и наедине припаду к тебе. А пока - скорее к Стене Плача. Это мой долг: вернуться туда, откуда началось изгнание.

Б-г Авраама, Ицхака и Якова! Ты возвратил нас сюда. Так собери же всех сынов
Израиля с четырех концов земли и возведи вновь Иерусалим, город святой, в скором
времени и в наши дни! Амен!

Операция "СВАДЬБА"

Биография

Йосеф Менделевич родился в 1947 г., через два года после Катастрофы и за год до возрождения еврейского государства, на исходе субботы Нахаму. ("Утешайте"), в городе Рига. Назван в честь деда - хасида Нехемьи Йосефа.

Через десять лет, в 1957 г. в ходе хрущевской антиеврейской кампании был арестован его отец и семья оказалась в тяжелом положении.

В 16 лет, в 1963 г., пошел работать на завод учеником столяра.

В 1964 г. присоединился к движению по увековечиванию памяти евреев, убитых нацистами.

С 1965 г. учился в Рижском политехническом институте, работал инженером-проектировщиком.

В 1966 г. стал одним из создателей студенческой сионистской организации.

В 1969 г. явился одним из инициаторов создания общесоюзной нелегальной сионистской организации и стал редактором ее первого периодического издания "Итон". Организовал подпольный ульпан по изучению Торы.

В 1970 г. арестован на аэродроме под Санкт-Петербургом в составе группы захвата самолета, ставившей своей целью добиться массового выезда в Израиль. На "Ленинградском процессе" приговорен к 15 годам заключения за воздушное пиратство, к 15 годам - за государственную измену, к 7 годам - за сионизм. Откликом на этот процесс стало создание всемирного еврейского движения "Отпусти народ мой!", что, в свою очередь привело к массовой алии из Советского Союза.

В 1981 г. за поведение, "порочащее достоинство советского человека" был "изгнан" из советской тюрьмы в Израиль.

По приезду в Израиль жил в поселении Алон Швут и учился в йешиве Ар Эцийон. Являлся членом руководства поселенческого движения "Гуш эмуним" и принимал участие в обороне города Ямит. Учился в йешивах Махон Меир и Мерказ а-Рав, а также на высших раввинских курсах.

В 1982 г. стал одним из создателей первой израильской русской организации "Центр

информации", борющейся за освобождение советских евреев. По делам организации ездил по всему миру, неоднократно арестовывался. Служил в Иерусалимском полку резервистов.

В 1988 г. стал инициатором создания израильского центра "Маханаим".

В 1989 г. стал одним из создателей "Сионистского форума" - всеизраильской организации олим. В целях улучшения уровня преподавания иврита создал первый ульпан на русском языке при Туро Колледж, а также организовал курсы переподготовки преподавателей истории. Возглавил работу по созданию радиостанций, вещающих на русском языке и редактировал патриотическую газету. Создал иерусалимский центр по трудоустройству олим.

Баллотировался в Кнессет от национально-религиозной партии "Мафдаль".

Имеет звание магистра по еврейской истории. В Йешива Университи получил звание доктора "онорис кауза". Является автором ряда работ в области истории и Талмуда. Преподает в институте Махон Меир. Руководит Институтом еврейского искусства.

Живет в Иерусалиме. Отец семи детей.

Операция "СВАДЬБА"

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава первая

1 "Хумаш" - Пятикнижие Моисеево; первая из книг Священного Писания, которое называют Танахом. См. примечание к стр. 80.

2 "Шулхан Арух" - Кодекс еврейских религиозных законов, составленный раби Йосефом Каро (1488- 1575).

3 "Книга Судей" - одна из книг, которые входят в Танах. См. примечание к стр.80.

4 "Лех леха" - этими словами начинается первое повеление, которое Б-г дал нашему праотцу Аврааму: "Уходи из земли твоей и с родины твоей и из дома отца твоего - на землю, которую Я укажу тебе" (Берешит 12, 1).

5 "Пиркей Авот" - "Поучения отцов", сборник изречений мудрецов, который носит мировоззренческо-этический характер. "Пиркей Авот" является одним из трактатов Мишны.

6 Бялик, Хаим Нахман (1873 - 1934) - еврейский национальный поэт.

7 Жаботинский, Владимир (Зеэв) (1880-1940) - еврейский писатель и публицист, основатель ревизионистского течения в сионизме.

8 Ахад Гаам - Ушер Гинцберг (1856-1927) - выдающийся еврейский публицист, основатель духовного сионизма.

9 Пальмах - одна из частей еврейской подпольной военизированной организации "Хагана"; действовал в подмандатной Палестине в 1941 -1948гг.

10 Агада, пасхальная - повествование об исходе сынов Израиля из Египта, которое является неотъемлемой частью пасхального седера.

11 Халуц - пионер-поселенец; так называли юношей и девушек, которые до создания государства Израиль приезжали в -Эрец-Исраэль, чтобы здесь заниматься физическим трудом и участвовать в строительстве еврейского национального дома.

12 Трумпельдор, Йосеф (1880- 1920) - сын николаевского солдата, участник русско-японской войны 1904 г.; занимался организацией еврейской самообороны в России и подготовкой евреев к репатриации в Палестину. Т. был одним из организаторов и бойцов еврейских частей в британской армии в период Первой мировой войны.

13 Пуримшпиль - шуточное представление по мотивам "Мегилат Эстер", которое устраивают в праздник Пурим. См. примечание к стр. 57.

14 Ахашверош - один из действующих лиц пуримшпиля и "Мегилат Эстер". См. примечание к стр. 57.

15 "Мегилат Эстер" - один из пяти свитков, которые входят в Танах. В этом свитке излагается история Пурим и его читают в праздник Пурим.

16 Седер - пасхальная трапеза с чтением пасхальной Агады в первый, а в диаспоре и во второй вечер праздника Песах.

17 Лаг баомер - тридцать третий день отсчета, который ведется от Песах до Шавуот. В этот день прерываются (или прекращаются) траурные обычаи и устраиваются свадьбы.

18 Лехитраот - до свидания (иврит).

Глава вторая

1 Танах - двадцать четыре книги Священного Писания, которые подразделяются на три части: Тора (Пятикнижие), Пророки, Писания.

2 Сидур - сборник молитв на будни, субботу и праздники.

3 "...в отличие от Йосефа не брался разгадывать сны" - в Пятикнижии (Берешит гл.40 и гл.41) рассказывается о том, как Йосеф, сын Яакова, толковал сны царедворцев и самого царя, фараона.

4 Герцль, Теодор (Биньямин Зеэв) (1860-1904) - писатель и журналист, основатель политического сионизма.

5 Пинскер, Иегуда Лейб (1821-1891) - основатель палестино-фильского движения в России.

6 Борохов, Дов Бер (1881 - 1919) - идеолог социалистического сионизма.

7 Шма Исраэль" (Слушай, Израиль!) - название одной из важнейших еврейских молитв, первый стих которой в наиболее лаконичной форме провозглашает идею монотеизма.

8 "Гатиква" - национальный гимн государства Израиль.

Глава третья

1 Маккавеи, или Хасмонеи (Хашмонаим), освободившие Иудею от сирийского ига во втором веке до н.э., стали символом еврейского героизма.

Глава четвертая

1 "Хад гадья" - песня на арамейском языке, которую поют в конце пасхального седера.

2 Кидуш (Освящение) - благословение, произносимое над вином по субботам и праздникам.

Глава пятая

1 Малый талит -облачение, представляющее собой прямоугольник из ткани, к четырем углам которого прикреплены цицит.

2 Цицит -кисть из шерстяных нитей на талите, которая является отличительным знаком одежды еврея (см. Шмот 15, 38 и 39).

3 Хамец - квасное, которое запрещено есть и держать в домах на протяжении всех дней Песах в память об исходе из Египта, когда евреи не успели запастись квасным хлебом и ели опресноки (мацу).

4 "Зроа" - жареное мясо с костью; один из шести предметов, располагаемых на пасхальном блюде для ведения седера.

5 Гошана Раба - седьмой день праздника Сукот.
